

LATERNA
MAGICA





LATERNA MAGICA



Литературно-художественный,
историко-культурный альманах

Москва
Издательство «Прометей»
МГПИ им. В. И. Ленина
1990

ББК 84Р7—4
Л27

Laterna Magica. АЛЬМАНАХ. М.: ПРОМЕТЕЙ. 1989.
стр. 360.

Редакционная коллегия:

В. П. Ерохин (главный редактор), **В. Н. Букреев**
(заместитель главного редактора), **Г. А. Вомпе**,
Н. Д. Голованова, **А. В. Мень**, **Г. Ф. Пархо-**
менко, **Е. Б. Рашковский**, **О. А. Седакова**,
Г. В. Чиж, **Р. Б. Гершзон** (ответственный секре-
тарь).

Художник Е. Р. Соколов

Л $\frac{4702010201-302}{183(2)-90}$ без объявл.
ISBN 5—7042—0079—6

© Издательство «Прометей» МГПИ
им. В. И. Ленина, 1990
© Союз искусств «Laterna Magica»,
1990



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Союз искусств «Laterna Magica» выпускает свой первый альманах.

Мы перекидываем мост к той высочайшей цивилизации, какой являлась Россия в начале нынешнего века. Эта цивилизация была потеряна. Ей на смену пришла варварская культура, которая также, в свою очередь, была потеряна (ее последний всплеск называют временем застоя). Наступает новый этап эволюции — всеобщее одичание, наиболее отчетливо выраженное пещерной эстетикой авангарда.

Мы собираем под знамена Союза искусств всех тех, кому дороги традиции духовности и гуманизма, чей взор с надеждой устремлен в прошлое — живоносный источник преемственности культуры.





Ольга СЕДАКОВА
СТАРЫЕ ПЕСНИ
ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

Что белеется на горе зеленой?
А. С. П.

1. ОБИДА

*Что же ты, злая обида, —
я усну, а ты не засыпаешь,
я проснусь — а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.*

*Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно — дает Он волю,
у кого не нужно — отбирает.*

*Или жизнь меня не любила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережет в потаенном месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.*

*Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?*

*Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных...*

2. КОНЬ

*Едет путник по темной дороге,
не торопится, едет и едет.*

*— Спрашивай, конь, меня, что хочешь,
все спроси — я все тебе отвечу.
Люди меня слушать не будут,
Бог и без рассказов знает.*

*Странное, странное дело,
почему огонь горит на свете,
почему мы полночи боимся,
и бывает ли кто счастливым?*

*Я скажу, а ты не поверишь,
как люблю я ночь и дорогу,
как люблю я, что меня прогнали,
и что завтра опять прогонят.*

*Подойди, милосердное время,
выпей моей юности похмелье,
вытрани молодости жало
из недавней горячей ранки —
и я буду умней, чем другие!*

*Конь не говорит, а отвечает,
тянется долгая дорога,
и никто не бывает счастливым,
но несчастных тоже немного.*

3. СУДЬБА

*Кто же знает — что ему судили?
кто и угадает — не заметит.*

*Может, и ты меня вспомнишь,
когда я про тебя забуду.*

*И тогда я войду неслышно,
как к живым приходят неживые,
и скажу, что я кое-что знаю,
чего ты никогда не узнаешь.
А потом поцелую руку,
как холопы господам целуют.*

4. ДЕТСТВО

*Помню я ранее детство
И сон в золотой постели.*

*Кажется или правда? —
кто-то меня увидел,
быстро вошел из сада
и стоит, улыбаясь.*

*— Мир, — говорит, — пустыня.
Сердце человека — камень.
Любят люди, чего не знают.
Ты не забудь меня, Ольга,
а я никого не забуду.*

5. ГРЕХ

*Можно обмануть высокое небо —
высокое небо всего не увидит.
Можно обмануть глубокую землю —
глубокая земля спит и не слышит.
Ясновидцев, гадалек и гадалок —
а себя самого не обманешь.*

*Ох, не любят грешного человека
зеркала и стекла, и вода лесная:
там чужая кровь то бежит, как ветер,
то свернется, как змея больная:*

*— Завтра мы встанем пораньше
и пойдем к знаменитой гадалке,
дадим ей за работу денег,
чтобы она сказала,
что ничего не видит.*

6.

*Человек он злой и недобрый,
скверный человек и несчастный,
и кажется, мне его жалко,
а сама я еще недобрее.*

*И когда мы с ним говорили,
давно и не помню сколько,
ночь была и дождь не кончался,
будто бы что задумал,
будто кто-то спускался
и шел в слезах, и сам, как слезы —*

*не о себе, не о небе,
не о лестнице длинной,
не о том, что было,
не о том, что будет, —*

*ничего не будет,
ничего не бывает.*

7. УТЕШЕНИЕ

*Не гадай о собственной смерти
и не радуйся, что все пропало,*

*не задумывай, как тебя оплачут,
как замучит их поздняя жалость. —*

*Это всё плохо утешенье,
для земли обидная забава.*

*Лучше скажи и подумай:
что белеет на горе зеленой?*

*На горе зеленой сады играют
и до самой воды доходят,
как ягнята с золотыми бубенцами —
белые ягнята на горе зеленой.
А смерть придет, никого не спросит.*

8. СПОР

*Разве мало я живу на свете?
Страшно и выговорить, сколько.
А все себя сердце не любит,
ходит, как пленник по темнице —
а в окне чего только не видно.*

*Вот одна старуха говорила:
— Хорошо, тепло в Божьем мире.
Как горошины в гороховых лопатках,
лежим мы в ладони Господней.
И кого ты просишь — не вернется,
и чего ни задумай — не исполнишь,
а порадуется этому сердце,
будто птице в узорную клетку
бросили сладкие зерна —
тоже ведь подарок не напрасный.*

*Я кивнула, а в уме сказала:
помолчи ты, глупая старуха.
Все бывает, и больше бывает.*

9 ПРОСЬБА

*Бедные, бедные люди.
И не злы они, а тороптивы:
хлеб едят — и больше голодают,
пьют — и от вина трезвеют.*

*Если бы меня спросили,
я бы сказала: Боже,
сделай меня чем-нибудь новым.*

*Я люблю великое чудо
и не люблю несчастья.
Сделай, как камень отграниченный,
и потеряй из перстня
на песке пустыни.*

*Чтобы лежал он тихо,
не внутри, не снаружи,
а повсюду, как тайна.
И никто бы его не видел,
только свет внутри и свет снаружи.*

*А свет играет, как дети,
малые дети и ручные звери.*

10. СЛОВО

*И кто любит, того полюбят,
кто служит, тому послужат
не теперь, так когда-нибудь после.
Но лучше тому, кто благодарен,
кто пойдет, послужив, без Рахили,
веселый, по горам зеленым.*

*Ты же, слово, царская одежда,
долгого, короткого терпенья платье,
выше неба, веселее солнца.*

*Наши глаза не увидят
цвета твоего родного,
шума складок твоих широких
не услышат уши человека.*

*Только сердце само себе скажет:
— Вы свободны, и будете свободны,
и перед рабами не в ответе.*

1980

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

Посвящается бабушке

1. СМЕЛОСТЬ И МИЛОСТЬ

*Солнце светит на правых и неправых,
и земля нигде себя не хуже:
хочешь, иди на восток, на запад
или куда тебе скажут,
хочешь — дома оставайся.*

*Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку.*

*Кто знает смелость, знает и милость,
потому что они — как сестры:
смелость легче всего на свете,
легче всех дел — милосердьё.*

2. ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

*Во Францию два гренадера из русского плена
брели.
В пыли их походное платье и Франция тоже
в пыли.*

Не правда ли, странное дело? вдруг жизнь
оседает, как прах,
как снег на смоленских дорогах,
как песок в аравийских степях,

и видно далёко, далёко, и небо виднее всего.
— Чего же Ты, Господи, хочешь,
чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то
плеть.
Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно,
глядеть, —

и ладно. Чего не бывает над смирной и
грубой землей.
В какой высоте не играет кометы огонь роковой.

Вставай же, товарищ убогий! солдатам
валяться не след.
Мы выпьем за верность до гроба:
за гробом неверности нет.

3. НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

— С того дня, как ты домой вернулся

и на меня не смотришь,
всё во мне переменилось.

Как та вон больная собака
третий день лежит, издыхает,
так и душа моя ноет.

Грешному весь мир — заступник,
а невинному — только чудо.
Пусть мне чудо и будет свидетель,

*Покажи ему, Боже, правду,
покажи мое оправданье! —*

*тут собака, бедное созданье,
быстро головой тряхнула,
весело к ней подбежала,
ласково лизнула руку —
и упала мертвая на землю.*

*Знает Бог о человеке,
чего человек не знает.*

4. УВЕРЕНИЕ

*Хоть и все над тобой посмеются,
и будешь ты лежать, как Лазарь,
лежать и молчать перед небом —*

и тогда ты Лазарем не будешь.

*Ах, хорошо сравняться
с чёрной землей садовой,
с пестрой придорожной пылью,*

*с криком малого ребенка,
которого в поле забыли... —*

а другого у тебя не просят.

5. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*На горе, в урочище еловом,
на тонкой высокой макушке
подвязана колыбелка.*

*Ветер ее качает.
Вместе с колыбелкой — клетку,
с клеткой — дуплистую елку.*

*В клетке разумная птица
свистит и горит, как свечка.*

*— Спи, — говорит, — голубчик,
кем захочешь, тем и проснешься:
хочешь, бедным, хочешь, богатым,
хочешь, морской волной,
хочешь — ангелом Господним.*

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ

(стих об Алексее)

*Хорошо куда-нибудь вернуться:
в город, где всё по-другому;
в сад, где иные деревья
давно срубили, остальные
скрипят, а раньше не скрипели,
в дом, где по тебе горюют.*

*Вернуться и не назваться,
так и молчать до смерти.
Пусть они себе гадают,
расспрашивают приезжих,
понимают — и не понимают.*

*А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.*

7. ЖЕЛАНИЕ

*Мало ли что мне казалось:
что если кого на свете хвалят,
то меня должны хвалить стократно,
а за что — пускай сами знают;*

*что нет такой злой минуты
и такой забытой деревни,
и твари такой негодной,
что над нею дух не заиграет,
как чудесная дудка над кладом;*

*что нет среди смертей такой смерти,
чтобы силы у нее достало
против жизни моей терпеливой,
как полынь и сорные травы —*

*мало ли что казалось
и что покажется дальше.*

8. ЗЕРКАЛО

*Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? —*

*зеркальце вьется рядом,
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.*

*А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает —
лучше совсем не видеть:*

*жизнь ведь — небольшая вещица,
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы —
а смерть кругом нее, как море.*

9. ВИДЕНИЕ

*На тебя смотрю — и не тебя я вижу:
старого отца в чужой одежде.
Будто идти он не может,
а его всё гонят и гонят.*

*Господи, думаю, Боже,
или умру я скоро? —
что это каждого жалко?*

*зверей — за то, что они звери,
и воду — за то, что льется,
и злого — за его несчастье,
и себя — за свое безумье.*

10. ДОМ

*Будем жить мы долго, так долго,
как живут у воды деревья,
как вода им корни умывает
и земля с ними к небу выходит,
Елизавета к Марии.*

*Будем жить мы долго, долго.
Выстроим два высоких дома:
тот из золота, этот из мрака,
и оба шумят, как море.*

*Будут думать, что нас уже нет...
Тут-то мы им и скажем:*

*По воде невидимой и быстрой
уплывает сердце человека,
там летает ветхое время,
как голубь из Ноева века.*

11. СОН

*Снится блудному сыну,
снится на смертном ложе,
как он уезжает из дома.*

*На нем веселое платье,
на руке — прадедовский перстень,
лошадь ему брат выводит.*

*Хорошо бывает рано утром:
за спиной гудят рожки и струны,
впереди еще лучше играют.*

*А собаки, слуги и служанки
у ворот собрались и смотрят,
желают счастливой дороги.*

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*В каждой печальной вещи
есть перстень или записка,
как в условленных дуплах.*

*В каждом слове есть дорога,
путь унылый и страстный.*

*А тот, кто сказал, что может, —
слезы его не об этом,
и надежда у него другая.*

*Кто не знал ее — не узнает.
Кто знает — снова удивится,
снова в уме улыбнется
и похвалит милосердного Бога.*

Стихотворения из
ВТОРОЙ ТЕТРАДИ,
не нашедшие в ней себе места

ПИР

*Кто умеет читать по звездам
или раскладывать камни,
песок варить и иголки,
чтобы узнать, что будет
из того, что бывает, —
тот еще знает немного.*

*Жизнь — как вино молодое.
Сколько его ни выпей,
ума оно не отнимет
и языка не развяжет.
Лучше не добивайся.*

*А как огни потушат
и все по домам разойдутся
или за столом задремлют —
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещаешься.*

ДРУГАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*Спи, голубчик, не то тебя бросят,
бросят и глядеть не будут,
как жница оставила сына
на краю яменного поля.
Сама жнет и слезы утирает.*

*— Мама, мама, кто ко мне подходит,
кто это встал надо мною?
То стоят три чудные старухи,*

*то три седые волчицы.
Качают они, утешают,
нажуют они мелкого маку.
Маку ребенок не хочет,
плачет, а никто не слышит.*

СТАРУШКИ

*Как старый терпеливый художник,
я люблю разглядывать лица
набожных и злых старушек:
смертные их губы
и бессмертную силу,
которая им губы сжала,*

*(будто сидит там ангел,
столбцами складывает деньги:
пятаки и легкие копейки...
Кыш! — говорит он детям,
птицам и попрошайкам —
кыш, говорит, отойдите:
не видите, чем я занят?) —*

*гляжу — и в уме рисую:
как себя перед зеркалом темным.*

БУСЫ

*Лазурный бабушкин перстень,
прадедовы книги —
это я отдам, быть может.
А стеклянные бусы
что-то мне слишком жалко.*

*Пестрые они, простые,
как сад и в саду павлины,
а их сердце из звезд и чешуек.*

*Или озеро, а в озере рыбы:
то черный вынырнет, то алый,
то кроткий, кроткий зеленый —
никогда он уже не вернется,
и зачем ему возвращаться?*

*Не люблю я бедных и богатых,
ни эту страну, ни другие,
ни время дня, ни время года —
а люблю, что мнится и винится:
таинственное веселье.
Ни цены ему нет, ни смысла.*

ПУТЕШЕСТВИЕ

*Когда кончится это несчастье
или счастье это отвернется,
отойдет, как высокие волны,*

*я пойду по знакомой дороге,
наконец-то, куда мне велели.*

*Буду тогда слушать, что услышу,
говорить, чтобы мне говорили:*

*— Вот, я ждал тебя — и дождался;
знал всегда — и теперь узнаю.
Разве я что забуду? —*

*Каждый хочет, чтоб его узнали:
птицы бы к нему слетались,
умершие вставали живыми,
звери зверят приводили,*

*и медленно катилось время,
как молния в раннем детстве.*

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

1.

*— Пойдем, пойдем, моя радость,
пойдем с тобой по нашему саду,
поглядим, что сделалось на свете!*

*Подай ты мне, голубчик, руку,
принеси мою старую клюшку.
Пойдем, а то лето проходит.*

*Ничего, что я лежу в могиле, —
чего человек не забудет!
Из сада видно мелкую реку,
в реке видно каждую рыбу.*

2.

*Что же я такое сотворила,
что свеча моя горит неясно,
мигает, как глаза больные,
бессонные тусклые очи? —*

*Вспомню — много; забуду — еще больше.
Не хочу ни забывать, ни помнить.
Ах, много я на людей смотрела
и знаю странные вещи:
знаю, что душа — младенец,
младенец до последнего часа.*

*всему, всему она верит
и спит в разбойничьем вертене.*

3.

*Женская доля — это прялка,
как на старых надгробьях,
и зимняя ночь без рассказов.
Росла сиротой, старела вдовой,
потом сама себе постыла.*

*Падала с неба золотая нитка,
падала, земли не достала.
Что же так сердце ноет?
Из глубины океана
выплывала чудесная рыба,
несла она жемчужный перстень,
до берега не доплыла.
Что в груди как вьюга воет?*

*Крикнуть бы — нечем крикнуть,
как жалко прекрасную землю!*

4.

*Кто родится в черный понедельник,
тот уже о счастье не думай:
хорошо, если так обойдется
под твоей пропащей звездой.*

*Родилась я в черный понедельник
между Рождеством и Крещеньем,
когда ходит старая стужа,
как медведь на липовой ходуле:
— Кто там, дескать, варит мое мясо,
кто мою шерсть прядет-мотает? —
и мигали мелкие звезды,
одна другой неизвестней.*

*И мне снилось, как меня любили,
и ни в чем мне не было отказа,
гребнем золотым чесали косы,*

на серебряных санках возили
и читали из таинственной книги
слова, — какие — я забыла.

5.

Как из глубокого колодца
или со звезды далекой
смотрит бабушка из каждой вещи:

— Ничего, ничего мы не знаем.
Что видели — сказать не можем.
Ходим, как две побирушки.
Не дадут — и на том спасибо.
Про других мы ничего не знаем.

6.

Были бы мастера на свете,
выстроили бы часовню
над нашим целебным колодцем
вместо той, какую здесь взорвали..

Было бы у меня усердье,
шила бы я тебе покровы:
или Николая Чудотворца,
или кого захочешь...

Подсказал бы мне ангел слово,
милое, как вечерние звезды,
дорогое для ума и слуха,
все бы его повторяли
и знали бы твою надежду... —

Ничего не надобно умершим,
ни дома, ни платья, ни слуха.
Ничего им от нас не надо.
Ничего, кроме всего на свете.

7.

*По дороге длинной, по дороге пыльной
шла я и горевала —
знаешь, как люди горюют?
Когда камень поплывет, как рыба,
тогда, говорю, и будет
для души моей жизнь и прощенье.*

*Поплывет себе камень, как лодка,
легкая при попутном ветре,
расправляя золотые ветрильца,
пестрые крапивницыны крылья,
золотыми веслами мелькая,
по дальнему шумному морю.
И что было, того не будет:
будет то, чего лучше не бывает.*

8.

*Ты гори, невидимое пламя,
ничего мне другого не нужно.
Всё другое у меня отнимут.
Не отнимут, так добром попросят.
Не попросят, так сама я брошу,
потому что скучно и страшно.*

*Как звезда, глядящая на ясли,
или в чаще малая сторожка,
на цепях почерневших качаясь,
ты гори, невидимое пламя.*

*Ты лампада, слезы твое масло,
жестокого сердца сомненье,
улыбка того, кто уходит.*

*Ты гори, передавай известье
Спасителю, небесному Богу,
что Его на земле еще помнят,
не всё еще забыли.*

(Молитва)

*Обогрей, Господь, Твоих любимых —
сирот, больных, погорельцев.*

*Сделай за того, кто не может,
все, что ему велели.*

*И умершим, Господи, умершим —
пусть грехи их вспыхнут, как солома,
сгорят и следа не оставят
ни в могиле, ни в высоком небе.*

*Ты Господь чудес и обещаний.
Пусть всё, что не чудо, сгорает.*

* * *

ГОРНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Вике Навериани

*В ореховых зарослях много пустых колыбелей.
Умершие стали детьми и хотят, чтобы с ними сидели.
Чтоб их укачали, и страх отогнали, и песню допели:
— о сердце мое, тебе равных не будет, усни.*

*И ночь надо мною и так надо мною скучает,
что падает ключ, и деревья ему отвечают,
и выше растут, и, встречаясь с другими ключами...
— о сердце мое, тебе равных не будет, усни.*

*Когда бы вы спали, вы к нам бы глядели в окошко.
Для вас на столе прошлогодняя сохнет лепешка.
Другого не будет. Другое — уступка, оплошка.
— о сердце мое, тебе равных не будет, усни.*

Там старый старик, и он вас поминает: в поклоне
как будто его поднимают на узкой ладони.
Он знает, что Бог его слышит, но хлеба не тронет —
и он поднимает ладони и просит: возьми! —

усни, мое сердце: все камни, и травы, и руки,
их, видно, вдова начала и упала на землю разлуки,
и плач продолжался, как ключ, и ответные звуки
орешник с земли поднимали и стали одни. —

О, жить — это больно. Но мы поднялись и глядели
в орешник у дома, где столько пустых колыбелей.
Другие не смели, но мы до конца дотерпели.
— о сердце мое, тебе равных не будет, усни.

И вот я стою, и деревья на мне как рубаха.
Я в окна гляжу и держу на ладони без страха
легчайшую горсть никому не обидного праха.
О сердце мое, тебе равных не будет, усни.





Василий МОКСЯКОВ

ЧАСТЬ ДУШИ

(из книги «Русские ночи»)

С утра понедельник был, а потому тяжелый день. Моя очередь подошла лопаты точить, да Витька напильник домой унес — пилу править. Ругались с ним, а работали тупыми лопатами. Ночью мороз был — сверху прихватило, так поначалу ломом брали, опять же ругались. Витька с Петром с похмелья — злые, все утро собачились, не унять. Пиво в ларьке, как назло, в выходной все выпили, и в магазин не отойдешь — спозаранку нести начали — так они до обеда аж почернели. Да и клиент до обеда все тощий шел, больше пятерки никто не кинул, голь или куркули — поди разберись. Правда, я уж давно заметил, что в понедельник до обеда самый скудный клиент. На то причина, конечно, есть какая-то. На Еврейском, там всегда калым ровный — в накладе не останешься. Только дают все одина-

ково — как сговорились. Витька рассказывал: они цену заранее узнают. Оно, такое, конечно, понятно при их связях. Только по мне скучно это для рабочего человека. Да что по мне — вон и Витька оттуда к нам сбежал. «Тоскливо, — говорит, — и на могилах не пьют». Это уж точно. Нет у них такого понятия. А вот у нас, особенно на Пасху, любо-дорого. И яйца крашеные, и пасха, и куличи, вербы, свечки. Ну, и пьют, конечно. Да и не только на Пасху, иные и сороковку здесь справляют. Алкаши из местных повадились было. На халяву пройтись. Только мы их гоняем. Тоже ведь совести у людей нет. Одно дело убогие, что «Христа ради», тех даже участковый не трогает, а то — здоровые мужики. Срам! Мы и то на свои пьем, а ведь все при здешнем деле.

А всего нас здесь пятеро: Витька с Петром, я, Санька — недоросток глухонемой и бугор наш — Антон. Антон, так тут же и живет — хибара своя за конторой, фамильная. Он, сказать можно, потомственный работяга здешний. Вся семья, пока живы были, тут кормилась. А уж Антону судьба выпала — еще пацаном в яму свежую свалился, ногу сгубил и остался с малолетства инвалидом в жизни — хочешь не хочешь, к месту прирастешь. Однако и всю войну прошел по специальности: и своих, и чужих в землю прятал. Где только не был — пол-Европы лопатой исковырял.

С Антоном хорошо, хоть в деле строг, но справедлив, человека понимает, и в конторе его уважают. Вот и сегодня, за лопаты не бранил, а, против того, Витьку с Петром осаживал за ругань, но к обеду на час раньше отпустил похмелиться: «Бегите, черти больные, поправляйтесь!» Те, понятно, зашустрили — только их и видели. Как ушли они, мы еще двоих устроили да обедать собрались. Не успели лопаты припрятать — еще одного несут. Я как глянул, аж муторно стало, знать бы наперед — с ребятами за водкой лучше ушел — терпеть не могу, когда детей, противно. Антон знает про меня, махнул: «Иди, мол, вдвоем с немym управимся».

Пошел в бытовку. Стаканы помыл. Колбасу нарезал, хлеб. К мраморщикам ходил, покурить стрельнул — все равно тошно. Уж наверное, понедельник — тяжелый

день. Посидел, покурил. Витька с Петром пришли, видать, поправились: с лица сошли и глаз очистился. Ожили — скалятся. Антон с немым подошли. Умылись, сели обедать. Витька водку достал, разлил. Немой мычит — стакан неполный, жаден до водки, меры не чувствует, а в пьяни — буйный, цепляется ко всем, поди, разбери его: то ли сказать чего хочет, то ли ударить — как не русский.

Русского, того водка любит. Русский не со зла пьет, похмелье чит, каяться умеет. Ему с круга спиться трудно. А коль и спился, все он тут на своем месте. Другое — татарин, калмык или еще какой прищурый народ. Того забирает сразу и в дурь клонит, язык теряет, а без языка дурная кровь боком выходит: спивается скоро и ходит чума-чумой, любому не ко двору.

Грузин умный: у него вино свое, водку не пьет, мясо ест, гордый, его спить тяжело.

Еврей, тот водки боится, пить опасается, его разом на век напугать можно. А коль вошел во вкус — жалчее его нет: и животом он слаб, и совесть его гложет — перед своими стыдно, а с круга спился — помер, не с вина сгорел — тоска съела.

А стало, никто, как русский, к водке не лежит, о других врать не буду, не знаю. У немых же, вроде нашего, свой Бог, я им не судья.

Выпили по стакану. Закусили. Витька с Петром совсем отошли: после еды в сон потянуло, то к здоровью. Немой разошелся, гулькает, как ребенок, за одежду тянет. А Антон, против того, помрачнел; курит, не вынимая. Он, вообще-то, не охотник лясы точить, а в последние дни, так слова не выпросишь. Болезнь, может, какая мучит?

Однако, обед к концу. Антон встал, немного по шапке, часы ему тычет — кончай базар! Витьку с Петром растолкал, те ворчат, матерятся под нос, пригрелись, разморило. Я со стола смахнул, бутылку припрятал, одежду поправил — готов, пошли.

На участке тихо, клиентов не видать. Антон разметил новые шурфы бить. Разделились, начали. В понедельник, да после обеда, в работе самое злое время. День,

считай, прожили, а впереди, как подумаешь, еще целая почти неделя: оттого и ярость в труде. Немой от бессловесности своей совсем свирепеет, так Антон ему отдельный шурф дает — бесись в одиночку. Ну, он и упирается на отшибе, мычит, слюной брызжет: не подходи! Витька с Петром тут же неподалеку стараются. Разломались помаленьку, вспрели, телогрейки скинули, похмелье из них потом выходит. Мы с Антоном тоже бойко начали. Хотя Антон всегда как заводной, нельзя сказать, что суетится, а уж начнет кидать, так и чешет на одном дыхании без перекура, не человек — механизм.

Однако, глаза боятся — руки делают. Мы с Антоном шурф пробили. Второй начали. Да с разгону и его махнули без перекура. Антон, было, третий размечать взялся, да Витька с Петром подошли, тоже управились — курить думают. Антон лом в насыпь воткнул, телогрейку накинул — не остыть бы. Отошли чуть штабелем, сели, закурили. Штабель этот, считай, с весны сложен. В конторе надумали забор у новых участков справить, завезли тес, да так и кинули. Ну, и тащат, кому не лень. Совсем почти растаскали. Оно и верно, жаль ведь тес, а надо будет, другой завезут.

Петр схватился было немного звать, да Антон рукой махнул — пусть его ковыряется, тише будет. Покой сегодня после обеда, ни одного не поднесли. Это бывает иногда. Я тут четвертый год, да до этого на Немецком лет шесть отсчитал — бывает такое затишье в деле. Ну что ж, и ей, косой, перекур положен. Курим молчком. Антон в землю уперся, Витька портянку перематывать взялся, Петр голову закинул, ворон считать уперся, его дело молодое.

И — стук! Словно поленом по подушке. И еще! И еще! Как бочку в погребе кантуют! Я на Антона скосился, а тот белым лицом, шапка на земле, всеми глазами на него выкатился. А немой — шары на лбу, лопату выронил, трясется и руками в землю машет. Я и подумать не успел, Антон зверем со штабеля сорвался, упал, лопату подхватил — и к нему. Я за ним подхватился. Антон пулей шурф перемахнул мимо него, и ну, соседний холм раскидывать во все стороны. Да

как закричит страшным криком: «Давай! Пособляй!» Как тут все смешались — не помню. Как кроты бешеные, в могилу ту врылись. И немой, и Петька, и Витька без сапога, с босой ногой. А снизу вдруг опять — стук, стук, — глухо, утробно. И Антон хрипит не своим голосом: «Давай! Давай!»

За всю жизнь так не кидал землю, да уж и не буду, наверное. До сих пор не пойму, как я сердцем не задохся в своих годах, да как Витьке ногу голую не порубали лопатами в толчее. Только вырвали мы гроб из земли руками без веревки, стояком — и крышку долой, к свиньям собачьим! Я на него и не глянул тогда, свалился боком на насыпь и ловлю кислород всеми дырками. Только вижу — Антон покойника оседлал, грудь ему мнет и в рот дует. Я глаза прикрыл, отдыливаюсь. Лежу почти жмуриком, а ухом все чувствую: и как Антон пыхтит, как ребята на подхвате стоят, немой мычит только, и вроде задохнул Антон в него воздуху и сердце слышал. Опять мне его в тот момент не видать было. Как отпустило меня зачуток и отлегла дыхалка, Антон с ребятами уж нести его суетятся. Прямо в ящике; крышкой от ветра прикрыли и подхватились. Тут и я сбoku подлез помочь, а Антон, как голос потерял, шипит шепотом: «Задами давай, ко мне».

К тому времени контора уже закрылась, да мраморщики ушли. Пустая территория, смеркается. Никто не видел, как мы его за конторой задами через пятый участок к хибаре Антоновой пронесли. Шибко шли, почти бегом. Антон дверь не запирает — кто полезет? Так сходу и занесли через сени, через кухню, и прямо на постель вместе с ящиком. Да и тут мне не удалось полюбопытствовать — Антон всех в кухню вытеснил и дверь запер за нами. Кухня у Антона — одно название: этакий шурф деревянный метра на полтора — не повернуться. Вот и топчемся мы на месте и табак курим. Немой тут же всех цепляет за спецовки, мычит да в глаза норовит заглянуть. Только мы тогда и друг на друга не глядели, немного отпихивали и табаком давились, как сто лет не курили. Сколько тут времени прошло, не могу сказать, порядочно. Уже темно совсем стало, и Витька свет вклю-

чил. Вдруг дверь в комнату настежь, и Антон на пороге. Без телогрейки, рубаха нараспашку, волосы взбешенные на голове, лицом черен.

— Кончается он, — выдохнул и к косяку спиной. Закаменели мы тут на момент, что надгробье мраморное. Вот здесь Витька, как пробка бражная, выскочил и в голос, криком:

— Да что ж, мать вашу! Врача надо!

И опрометью в сени. Как Антон рванется за ним. Немого с ног сбил, Витьку в сенях у самого выхода за загривок перехватил и в зубы. Ох, тяжелая рука у Антона. Загрел Витьку в темноту, аж дом вздрогнул. А Антон его в сенях нашарил, на кухню подмышки приволок, опустил на пол и ко мне. А печаль стоит в глазах, как слезы, и голос сбитый, тоненький:

— Никитич! Нельзя врача. Может, водочки? А, Никитич?

Чувствую, что все на меня, ждут, и делать что-то надо. Ну, думаю, помогай Бог! Телогрейку скинул, Витьке подняться помог. Вижу — не сердится, только щека в крови. Всех, кроме Антона, в сени спровадил. Газ зажег, кастрюльку подыскал и к Антону: «Давай водку». Подогрели мы ее на газу в кастрюльке, не сильно горячо. С плиты сняли — и к нему в комнату. Гляжу, устроил его Антон на постели своей, а ящик порожний рядом валяется вверх дном, только крышка в стороне. Поставил я кастрюльку на ящик и пригляделся. Правду скажу, не жилец он мне показался, а страшен, и впрямь в гроб краше кладут. Серый какой-то, худющий и возраст не понять, одно видно — не молод. Но не долго я с духом собирался. Махнул Антону; одеяло с него скинули, одежду сняли. Странно мне тогда глянулось — один костюм без белья. Ну, да ладно, начали мы его теплой водкой растирать, долго терли, семь потов с меня сошло, и Антон, уж на что двужильный, запарился. Ребята замаялись ждать, совались было, да Антон их обратно гнал.

Однако, чувствую, вроде не зря пыхтел, теплеет он и лицом не такой серый. Принес Антон ложку. Налил я в нее водочки и в рот ему накапал немного. Обождал, еще

капнул. Вдруг глотнул он и вздох сделал. Я ухом к сердцу. Слышу — стучит. Слабо, неровно, но стучит. Антон тоже приложился, услышал, мне подмигнул. Растерли мы его еще, остатками из кастрюльки, укутали потеплее. Прислушались — дышит, как спит, и в лице, вроде, краски живой прибавилось. Ну, дай-то Бог! Антон лампу газетой прикрыл от света, и вышли мы к ребятам. Заждались. Застыли, у газа греются. Вскочили, на нас — как, мол? Антон у печки присел, дровишек с пола наклал, затопил бумажкой от газа, раздул, дверцу прикрыл. Покачал головой: «Живой вроде». А я по голосу вижу — не сомневается. Ребята тоже поняли — лыбятся. Немой заквакхал и чуть не вприсядку. Антон встал. Немого унял. Фонарь с полки стянул.

— Давай, ребята, на участок. Устроить все, как было, а мы с Никитичем закусить соберем.

Ушли. Я картошки начистил, варить поставил, хлеба нарезал. Антон с подполу капустки достал, литр водки. Трезвый человек всегда водку в доме держит, на случай. Печка разошлась, теплом потянуло, дух картофельный пошел. Антон тут же рядом шевелится, дров еще поднес, пол замел, стаканы ополоснул, все вроде чином, без суеты, а сам нет да нет — в комнату. Я улучился, подсунулся за ним, послушал. Дышит наш, сопит живым воздухом. Картошка подошла. Слил, выложил. Только стол оформил, ребята подошли. Разогрелись, парят, телогрейки подмышкой. Разобрались, скамью из сеней принесли. Антон знак дал, и сели. Приняли по первой, капусткой подавились, вторую опростали, закурили, а разговору нет. Другим разом, уж и Витька с Петром перевздорились бы, и немой чего откаблучил, да и мы с Антоном слово за слово жизнь пожевали. А тут сидим без голоса, как у дядиной тещи на блинах. И странно. Вроде все, как всегда. И картошка, и водка, и сидим обычно, и уж по сто пятьдесят пропустили, но ни хмеля, ни похмеля, словно кино показывают. Будто усадили артистами, высветили на стену и смотрят нас из темноты, и ждут, ждут, что дальше. А нам на свету ни деться, ни сказаться. И как бы тут разрешилось, не знаю, да случай помог. Немой со скамьи на край сдвинулся, поближе

к стакану, видать, да не усидел и съехал задом об пол. Петр вскочил его поддержать, скамью облегчил, и Витька со своего края загремел вместе с тарелкой. Грохот, шум, немой кудахчет, Витька матерится, а на ушах капуста. Прорвало нас всех разом, как трубу сточную, закатились, не уймешь, до дурной слезы. Долго ржали, но облегчились. Кино ушло, и опять мы вроде людей. Понемногу унялись, скамью краем к стенке уперли. Витька капусту с лица очистил. Антон спохватился — занырнул в комнату. Вернулся скоро, лицом спокоен, порядок. Уселись крепче. По третьей пропустили, и разговор появился. Слово за слово, да только у всех на уме одно, и спрос весь с Антона. Он первый дело понял. К нему и подступили. Обселся Антон на своем табурете, стакан отодвинул, закурил, отдохнул дымом и начал:

— Для каждой специальности есть свое соображение: и по токарному, и по дереву, и кто по военной части. Учатся люди, книжки читают, дело свое и сделать, и объяснить смогут. А на нас со стороны глянуть — чего проще, бери больше, кидай дальше, неквалифицированный труд, одним словом, каждый может. Но и у нас свой подход есть. Хоть и книжек о нем не написано, а все мы при нем ежедневно, и вмещаем каждый с годами по соображению души. И если по сути, то наш брат не могильщик по-обычному и не землекоп по конторской ведомости, а последний смерти свидетель. Все вроде свое дело сделали: и врачи, и конторщики, и государство, и родственники, а наш последний взгляд и первый гвоздь в крышку. Вот тут ты и свидетель, что смерть с человеком делала, что от него оставила. И что в землю скрыть положено. Здесь подход наш профессиональный и обозначается. Ведь останки-то тоже разные бывают.

Известно, что дело мое мне наследственное от роду. Как себя помнить начал, больше мертвых перевидал, чем живых. Конечно, и от отца, и от деда толк принял, но больше своим разумом присмотрелся и так думаю, что останки смертные могут разные значения иметь. Разные, что ли, категории. И таких категорий на мой ум приходится четыре:

1. Покойник
2. Труп
3. Мертвец
4. Летрагический сон

Вот покойник. Эта самая правильная смертная категория. Самая, что ли, наша. И в названии смысл. Как вот ты могильщик, или кто другой, перевозчик ли, истопник. В самом названии смысл дела указан. Так и тут. Покойник при покое утверждён. Сам в нём пребывает, ему предписан, ему и служит. И главное условие, чтоб покойник определился, есть естественная смерть. Чтòб скончался человек своим путем, или, как раньше говорили, «почил в Бозе». Вот в милиции, машиной кого задавило, преступление ли какое, так и в протокол покойником не запишут — потерпевший. Труп — и все тут. И не скажут, скончался, а — трагически погиб. Основной же труп война даёт. Страшное дело. Большое нарушение правильной смерти.

Вот и мертвец. Категория эта жуткая, и от неё весь страх кладбищенский. И если труп насильственный больше к покою склоняется, то мертвец и покоем не принят, и жизни лишился. Самоубийца есть первый мертвец. Их раньше и хоронили-то отдельно. Нельзя было. Покой нарушается и погосту беспокойство. Мой дед ещё говорил: «С мертвеца — самый упырь». Я не встречал, лишнего не скажу. Но и дед жизнь прожил, врать не станет. А наш случай последний. Летрагический сон. Загадочное дело. Научно неподвластная причуда организма. Вроде бы умер человек; но по всем медицинским признакам — нет в нём жизни, а в самом деле спит мертвецким сном. И сон этот много времени длиться может, целые годы, и сроку ему точного нет. И так со смертью схож, что при всех приборах современных врачи обознаться и похоронить могут. А чтоб без приборов такое почувствовать, особый глаз нужен. У отца моего был, и прадеду дано было. Прадед, тот при давнем царе, за свой глаз, из крепостных вышел и вольную получил. У большого барина на погосте летрагическую дочь распознал. А отец мой с такого глаза до времени в землю слег. От души своей и от дара своего родового пострадал. Перед войной

дело было. Я уже в года свои вошел и при отце полным помощником старался. Большого военного начальника хоронили. Машины наехали, цветов горы. И разузнал отец в начальнике сон летрагический, и хоронить не дал. Увезли его тогда вместе с гробом к главным врачам и там аппаратами разбудили. Ну, и оказался начальник этот врагом народным и вредителем государства, хотел смертью своей летрагической правосудие обмануть и кары еозмездия избежать. Отца долго органы таскали, даже в тюрьме держали. Но выяснили, и оказался отец главным разоблачителем. Даже в газетах печатать хотели и орден партийный дали. Только отец с того времени как бы душой сломался, хиреть начал, слег и года не прожил. Тяжело болел; все просил орден партийный назад властям снести. Мать уж было собралась, да помер батя. В тот же год и мать за ним пошла от простуды. Здесь и лежат. Помолчал Антон, подпалил заново папироску, Витьку за плечо троонул:

— Ты, Витюш, прости, что я давеча ударил, как ты за врачом кинулся. Кто их знает, как власть рассудит. Все выйти может, мы уж сами как-нибудь, а там видно будет. Я ведь, честно сказать, еще третьего дня, как хоронили, в сомнение вошел. Сейчас ведь больше все в больницах кончаются, редко кто по-домашнему. Глянул тогда на него — ни покойник, ни труп, а что не мертвец, так это уж точно. Да только впервые со мной такое, себе не поверил, два дня мучался.

Налил Антон, стакан пододвинул, всех оглядел, на него склонился, и глаз хитрый:

— А только Санька — главный герой. Он самим собой лучше любого миноискателя подземный стук отличил. Я по нему все и понял.

Разошлись за полночь. Один немой остался. Да и куда ему идти? Ведь, если правду сказать, то он по зарплате у нас не числится. От себя кормим. А дома его только по двадцатым числам и вспоминают. Мать сама к Антону ходит. Стыдится, стерва, а ходит. Как, мол, мой, может, наработал что? Ну, и отстегиваем по червонцу с рыла. У нее, кроме Саньки, еще трое оглоедов сопливых, а мужика нет; жалко.

Петька в общежитии трется. По молодости ничего, вроде. А Витька с бабкой у переезда живет. Матерая старуха, банщицей служит. А у меня семья плотная. Мы с бабой, дочь с зятем, да двое внуков в дошкольных годах. Квартиру в позапрошлом году получили. А что мне с той квартиры? Ни сесть, ни лечь! С утра до ночи бабы шебуршатся с детьми да шпыняют тебя, по чем попало. А если как до ночи не обернулся, то домой и не сунься, детей разбудишь, живьем спилят. Раньше в одной комнате жили, а все тише было. Люди, они от хорошей жизни звереют, особенно бабы. А может, и надо так? Может, тут закон природной жизни? Ведь вот, взять мужика. Ну, отгулял он свое, обсемействовался, детей наплодил и отсуетился. Остался как бы не у дел. У баб, наоборот, дела, дети, внуки, хозяйство, а ты... Одна тебе цена: гони рубль немеряный да молчи в тряпочку.

Вот и мне на шестом десятке обломилось: лопать погост да в бурю с мясниками забивай. А о буре особо. Нет во мне запойного расположения в организме. И не сказать, что здоровьем не вышел или не берет меня, нет, а только так от природы случилось, что обошлось с водкой в жизни. А буря со мной еще в детстве приключилась.

Жил в нашем бараке Вовка Шершавый, одногодок мой. Шпана с колыбели. Родители с утра до ночи на заводе пахали, а он сам по себе к жизни приживался. По всему району шастал, во все бочки затычкой мерился. Глядь-поглядь, и приспособился вскорости к карточному делу. Да такую сноровку вдруг оказал, что не только пацаны окрестные, но и взрослые мужики в сомнение ударились. И не махлевал вроде, карт в рукав не прятал, а обчищал всех вкруговую. Перла ему карта как заговоренная. Видать, такое его счастье с рождения. Стыдно сказать, а завидовал я ему по-черному, до надрыва слезного. Чего-чего только не делал: ночами не спал, колоду дрочил, карты метил, а только против Шершавого ни в раз мастью не вышел. Чесал он меня, почем зря. Так я тогда сокрушился, что чуть с ума не свихнулся и рук на себя не наложил от обиды. Однако, вышло другой стороной. Не помню уж, в какой класс мы пошли, а пришел в нашу

семилетку директор новый. От гражданской войны партийный инвалид, нестарый еще и без глаза. Ну, новая метла, оно известно, начал порядок наводить и накрыл Шершавого за игрой. С родителей Вовкиных какой спрос, пятилетку тянут без просыпу, ну, тот за самого взялся с пристрастием: кайся-колись, легче будет. Юлил, вертелся Шершавый, да делать нечего — выложил ему про счастье свое игровое. «Стой, — кричит директор, — я от педагога Макаренки возрос и воспитательный прием имею, я тебе покажу “счастье”, тащи колоду!» Ну, Вовку на такое дело два раза просить не надо было: скинул ботинок, вынул потайную колоду, и понеслось у них. Без передыху до ночи резались, и вычесал Шершавый директора по всем мастям. Не стерпел директор такого посрамления воспитательного, взъярился. «Нет, — кричит, — я кавалерист буденновский, от вражеской пули членом пострадавший, а педагог Макаренко — великой системы человек. Не будет твоего счастья, а объявляю тебе правильный многодневный турнир по международному классу.

Шершавый — ученик подневольный, куда ему деваться. Расчертил директор графики многодневные по всем правилам, и со следующего утра пошло у них соревнование. Заперлись на ключ в кабинете директорском и начали. Тут всю школу как кондрашкахватила, любопытно всем до чесотки: и детям, и взрослым. Два дня еще кое-как занимались, а потом так и уроков не стало. К тому, вроде бы, и повод законный: челюскинцев встречать. Да какие там челюскинцы, с утра до вечера все по школе маются, шепчутся, спорят, по рукам бьют да норовят под дверь подслушать. А там тишина, дым папиросный из щелей валит да фишки об стол шлепаются. Чем бы все кончилось — неизвестно, да кто-то сигнал дал. Приехали четверо на машине, отколупнули кабинет, турнир порешили и директора увезли. Силком его в машину пихали, а он все кричал, руками махал и Шершавому бубновой мастью грозился. Вовка тогда под шумок смотался, да недолго гулял. Захомутали и отослали прямо к педагогу Макаренке. Только тот с Шершавым в карты меряться не стал, а засадил его в рабочий цех «лейки»

фотографические клепать. Так до самой армии там и ковырялся. Тут вскоре война случилась и немец попер, воевать пришлось.

И вот, под Орлом, что ли, прищучил его в окопе директор одноглазый. Он там по партийной линии комиссарил. Увидел Шершавого, затрясся весь аж, вцепился — давай турнир кончать. А вокруг снаряды землю роют да пули поют. Ну, Шершавый и тут с фишкой не расставался. Достал из-под гимнастерки карты, прикрылись они шинелькой, под бруствер притулились и продолжили. Но обернулось счастье Вовкино, проиграл он комиссару одноглазому первый и последний жизненный раз. Довершил директор воспитательный прием и педагога Макаренку не посрамил. От восторга такого вскочил комиссар на бруствер во весь рост, махнул наганом и пошел в атаку за Родину. И была ему первая пуля, пал смертью героя.

А Шершавого в том бою опять же карты выручили: попала пуля в колоду да увязла в ней, и вышла Шершавому контузия вместо смерти, правда, и плен вышел. Три с лишним года наблюдал Европу в клеточку: и камень колот, и металл точил, выжил до победы. Только со свободой заминка получилась. Попал Вовка к американцам, тоже лагеря, но не в пример немецким: отъелся, окреп, да как-то подсел к охране глянуть, как они фишками стучат. Игра не наша, мудреная, «покер» называется. Но Шершавый с лета все понимал, пригляделся и коночек в долг выпросил. Те и роздали на него на свою задницу. Обул их Шершавый по самые уши. Ну, и пошел у них тут дым коромыслом. Американцы — народ ярый, с международным самолюбием. Уязвились! Слух пошел, зарядили к Вовке в барак чуть ли не делегациями. Расцвел Шершавый подсолнухом, график расчертил, расписание вывесил и пошел чесать американцев по всем мастям. Наступил тогда в бараке Шершавый коммунизм. Мануфактуры, харчей, водки ихней... чем хочешь ешь. Гуляют все без просыпу, а Шершавый знай колоды стругает да с американцев стружку спускает. Дошел слух до главного генерала. Тот адъютантов выслушал и вспыл — закипел: «Не верю, — кричит, — в такой позор

нации. Давай машину!» Сам поехал. Прикатил и впрямь видит: войско его в очереди стоит, а Шершавый всех по порядку облегчает. Отправил генерал очередь на гаубвахту, а самого сунул в машину и с собой повез. Привез к себе, всех выгнал и давай Шершавого с глазу на глаз пытаться да заманивать. А Шершавый и рад бы сказаться, да не в чем. И так, и эдак вертелся генерал, и сулил, и грозил, только не мог поверить в Шершавое счастье, прием подозревал. Наконец видит, не колетса Вовка ни в какую, и говорит: «Ну, ладно, не хочешь сознаться, я тебя, сукина сына, все равно на чистую воду выведу и в тюрьму упеку по законам. Сейчас вызову друга своего, английского войска генерала. Он по этой игре первый специалист в мире и книги написал, он тебе покажет “кузькину мать”». И давай по телефону названивать. Назвонил. Приехал генерал английский. Пожилой уже мужик, высокий, а сухой до костей лица и строгий с виду, ужас! Однако, поклонился он легонько Шершавому, с генералом американским честью обменялся и кладет на стол две колоды. Шершавый с перепугу и крап на рубашке не проверил, так сели. Оформил их Вовка к утру подчистую. С петухами последний банк сорвал. Американец от ущемления гордости весь китель на себе растерзал с орденами, всех матерей перечислил, а английский генерал и с лица не сдвинулся. Одно «О!» сказал, встал, расплатился наличными, честь американцу отдал, Шершавому чуть пониже поклонился и отбыл. Отпустил американец Вовку без последствий личных, но к бараку строгий караул поставил. Да что Шершавому караул, когда к нему большие офицеры поперли. Но тут подошла политика. Стали наши своих военнопленных назад вытребывать. И подписал американский генерал Вовку в первый эшелон от своей обиды. Ему, говорят, английский генерал в харю почти плюнул. Так, мол, жентельмены не поступают. А он утерся и поступил. Принцип свой выдержал. Стали Шершавого оформлять, а у него барак от добра ломится, наиграл. Выделил ему генерал отдельный пульман. А куда денешься, у них частная собственность превышает личности. Провожали Вовку, как короля какого. Простил он долги на дорогу, а полковой оркестр

музыкой расплачивался. Генерал же английский к поезду ящик со спиртным прислал. Отъехал Шершавый на Родину. Ох, и далеко ему ехать пришлось. Как границу переехали, вытряхнули его из пульмана, повязали и засудили в Сибирь на аховый срок. Слава Богу, не расстреляли!

Вот какой оборот судьбы достался человеку. А мне на всю жизнь от этой судьбы страдание отчеркнулось. Как увезли тогда от нас Вовку Шершавого к Макаренке-педагогу, словно вынули что из меня. Будто отыграл у меня Шершавый все устремления сердца, в ботинок с колодой схоронил и с собой увез неведомо куда. И получилось мне затмение детства и вялость всей жизни. А ведь и фронт был, и семья, и внуки народились, но глухо все внутри и отзвука нет! Оцепенелое мое существование — водкой не прошибешь. Одна «бура» и осталась для душевной надежды. Тому же скоро года три будет, как подписался я к мясникам в «Гастроном» на это дело. А в последний год так зарядил через день, как на дежурство. Смена их такая азартная. Два брата полурусской породы. Нарубят за день деньгу и всю ночь стучат на разделочной плахе в мясном подвале. Уж не помню, как и снюхался с ними, ну да дурак дурака... Баба моя вначале бычилась, ворчала, в потом и рукой махнула — без тебя свободней. Ей что — главное, рубль пришли вовремя, так я присылаю. Вот и сегодня их смена, уж заждались, наверное, в подвале давным-давно, а не несут меня ноги, нет внутри расположения, и странно это. Ой, как странно. К переезду вышел. Пересек пути. Тут на пригорке бункер бетонный от теплосети и трубы с температурой. Взобрался, подсел под трубу. Пригрелся, закурил. И — стук! — словно поленом по подушке. И еще! И еще! Как бочку в погребке кантуют. Господи, что ж это? Господи, да неужто? Да ведь задохнется. А ноги-то, ноги где? Но тише, тише, ведь слушать, слушать надо. Не поспеешь! И мрак! Нет, вон точка светит, вон еще, и еще. Да это ж звезды. Ох, и звездно ж мне! А стук? Есть и стук, ровный, частый, чуть с металлом. Товарняк это у станции. И еще! Гулко, с придыхом. А это за переездом на авторемонтном кузня дышит.

И еще, и еще! Едко так, внахлест. Да это ж мясники на плахе разделочной в «буру» хлещутся. Господи, неужели конец глухоте, неужто прорезалась жизнь моя оцепенелая? Неужто, Господи!!!!

Чуть рассвело, а я уж у хибары антоновой лопаты точил да подпилоч к макушке прикладывал. Знатно приложился к трубе у теплосети — шишка с кулак. А подпилоч у мраморщиков увел. Антон с немым тоже, видать, немного спали, шебуршатся внутри, воду греют. Но, кажись, порядок у них. Антон на звук у окно глянулся, меня признал, кивнул, лицом спокоен. Витька с Петром, как сговорились, подошли — тоже, знать, не спится. Витька у меня подпилоч отнял, сам взялся. Что ж, его очередь. Сели с Петром курить. Вскоре Антон хибару отколупнул, чай пить зовет. Вошли, сели. Антон чай набурил, в комнату скосился: «Вы уж, ребята, сегодня без меня, а Никитич за старшего. Сами понимаете». Как не понять! Чай выпили, инструмент подобрали, пошли. Немого чуть не силком взяли, все остаться норовил.

Во вторник, вообще-то, самый труд. С понедельником разобрались, 'похмелье в народе улеглось, проспались, вроде, а вина осталась. Оттого смирение в труде и усердие. Мы тоже люди общие, упираемся, а гвоздь свербит. Немой уж пару раз намыливался соскочить; перехватывали, возвращали.

Во вторник клиент дружный, особой толчеи нет, а всласть не покуришь. И, как закон, все баб несут, редко, редко мужик затешется. Я на этот счет такую мысль имею. Что хоронят на третий день, дело известное, стало быть, во вторник покойник воскресный. А правильной бабе кроме как в воскресенье и помирать некогда, все заботы. А мужик все больше во вторник загибается, от вины своей воскресной и усмирения душевного, его, значит, в пятницу устраивать будем.

Однако, обед. Немой, как из рогатки, сорвался. Да и Витька с Петром подхватились, даже лопаты не припрятали. Сам инструмент схоронил и тоже за всеми. Напрямик,

через старые участки проскочил, быстро подошел. Ребята уж у хибары, у дверей топчутся, шебуршатся между собой, заперто. Просунулся к ним, об дверь ухом послушал. Ходит Антон по хибаре, даже вроде голос слышать. Обождали немного, под окном поскреблись, невтерпеж. Антон занавеску откинул, в окно глянулся, рукой отмахнулся: не до вас, мол. Отошли, на дровах пристроились, сгоняли Витьку в магазин: сухомяткой обошлись и без водки. На участок втроем вышли: немой как припаялся к двери, не оторвешь, оставили. До вечера кое-как проковырялись; немного наработали. Хорошо, раньше впрок шурфов набили, а то завтра среда и не хватить может. Времени не дождались, часа на полтора раньше завязали. У Антона дверь настезь, печка топится, немой дрова колет, а сам Антон у плиты колдует. Стол на всех собран, но водки не видать. Нас углядел, кивнул заходить. Телогрейки скинули, ополоснулись в углу, сели. Витька табурет под себя сграбастал, оно надежней. Антон немного привел, усадил. Картошку молчком съели, а с чаем Антон сам голос подал. И лицом подобрался, а руки томятся промеж собой и ложку мнут.

— Вот что, ребята, трезвое наше дело, и повязаны мы здесь вкруговую. Тут и совет общий нужен, а уж как решите, так и уговоримся. С самого начала особый случай нам приключился, и к нему еще осложнение есть. Одним словом, пришел он в чувство и сознание, жив будет, а вот разумом сломался. Так, вроде, все понимает, что видит, только память начисто смыло и речи нет. Может, шок такой временный, а может, и на все время. Мне в войну видеть случалось, врачи не гарантируют.

Сломал-таки Антон ложку, на стол бросил, к стенке откинулся.

— На мое мнение, нельзя нам его открывать! Одно дело, если б он сам, своим сознанием волю выразил. А тут? Кому он в своем положении нужен? Обуза! Да даже, если не капать на людей зря. Смирились уж, схоронили... и вдруг... Да и вообще... Пусть уж лучше здесь со мной будет. Скажу, родственник дальний лечиться приехал, кому какое дело. А вы ведь трепаться не будете? Ведь правда, ребята? А?

Сколько лет с Антоном работаю, первый раз его такого вижу. Сжался весь, и голос жалкий, просительный. Я и рта не успел приоткрыть, как Витька из себя сорвался и через стол Антона за грудки: «Да что ж ты, гад! Что ж ты нас, за сук держишь? За падлу последнюю? Я, может, ночь не спал, думал... да и Петька тоже... Вместе ж копали... Он, может, теперь мне как брат родной, какой ни есть. А ты — “трепаться”; да как подумал?..»

Еле отцепили его с Петром, к месту притиснули. Антон рубаху обдернул, ворот поправил, а руки шалят. Встал. — Прости, Вить! И вы, ребята, тоже... Я ведь не в обиду... Так уж... на случай... спасибо вам. — И горлом задрожал. Усмирились. Достал Антон водки из погреба, огурчиков подрезал. Приняли по малой и уговорились обо всем. И как промеж собой держаться, и как отвечать, если спросят. Понемножку растеплились промеж собой. Размякли. Всяк соседу услужить норовит. Немой совсем растекся — щебечет чего-то, ластится ко всем, и все его привечают. Одним словом — душевность взаимная и разговор соответственный.

И от этой душевности, слово за слово, и до самой души договорились. Есть ли она в человеке, а если есть, то как с телом повязана, и куда потом отходит. Институты мы не кончали, по науке сказать не можем, а тоже жизнь живем и соображение свое имеем, каждый по возрасту. Антон вначале все слушал больше, а потом и его зацепило. Крякнул, запалил папиросу новую и говорит:

— Что душа в человеке есть, верный факт. Как там за смертью сложится, знать никому не дано, а вот в жизни такой момент явиться может, что и сомнений не будет. Мне вот явился. Так было дело. Как война началась, меня вначале по непригодности не тронули, но в 42-м призвали по профессии. Потребовался. А до того времени, считай, все потери под немцем оставались. Досталось, конечно: и на дальних подступах, и на Степном, но сколько под Курском народу навалили — не приведи Бог! И днем, и ночью зарывали. Толлом рвы по сотне метров рвали, да штабелями по 12 рядов выкладывали. И без техники — все для фронта, а мы, считай, в тылу. И вот как-то уж за полночь свалился наш взвод вздремнуть в

подлеске еловом. Наковырялись за день — ни ног, ни рук, рухнули, хоть самих зарывай. На фронте любой сон в пол-уха. Сплю я, значит, мертвецки, а слышать слышу. И вот чудится мне — самолет над нами невысоко гудит. Гудит, а не улетает: кружит да кружит. Наш самолет. Мы своих по голосу узнавали. Вон Никитич воевал — знает. Вьется, стало быть, этот самолет над нами, а мы спим. И я сплю, но только тяжело мне во сне как-то. Тревожно. И вдруг, чувствую, зовет меня кто-то, и не по имени, и не в голос, а словно изнутри, как взглядом, что ли. Встрепенулся от сна, фонарик электрический из-за голенища вырвал и высветил. И что ж вижу? Стоит в луче летчик в комбинезоне, в шлеме, пронзительно в меня смотрит и говорит: «Братишка, друг, сложи скорее костер на поле, бензин весь вышел, не сяду — разобьюсь, а полный самолет раненых». Вскочил я разом, растолкал своих, выбежали мы из подлеска на поле и на ровном месте запалили солому. И как занялась она огнем, сразу самолет на посадку пошел. Прокатился, сколько ему положено, и встал. Подбежали мы к нему, окружили, фонариками светим. Открывается люк и выпрыгивает из него первым мой летчик — и к нам. Шлем сорвал, сам смеется, плачет: «Ой, братишки, спасибо, уж погибать думал, бензин весь утек, а у меня раненые».

В этот момент подъехала колонна наша основная с начальством, погрузились мы срочным приказом и покатили на новый участок. И уж в дороге пришло вдруг ко мне, что не мог тот летчик сам собой спуститься и помощи просить, нет на то природных законов. А сошла ко мне душа его в минуту смертной опасности и поперек всем законам другие души спасла. С той поры поверил я в душу живую и до сих пор не сомневаюсь.

Примолк Антон, задумался, и мы за ним замечтались. А чуть спустя Витька голос подал:

— Прав Антоныч! Чтоб мне сыро было, прав! Есть душа. И после смерти есть. С кем хошь, на что хошь помазать могу. И случай скажу, доказательный. Как раз после армии пахал я на подшибниковом. И токарил в нашем цеху мужик один. Пожилой уже, а активный, сука, ужас. Въедливый и правильный до блевотины. Ко всем цепляет-

ся, во все суется, из ребят душу выматывал наизнанку. А чуть не по нем — жаловаться. Сильно партийный был. Ну, он силу почувствовал и вконец обнаглел. Ни житья от него, ни проходу. Довел людей, да и сам дошел. И вот как-то в ночную смену точили мы срочный заказ. План горел, ну, и подкинули нам расценки чуть повыше. Упираемся. А нашему и тут больше всех надо: обложился заготовками, скорость предельную поставил и гонит. Но зарвался в горячке. Забыл деталь в патроне закрепить, да врубил станок. Ну, скорость аховая, а болванка, она физику знает, сорвалась с патрона от центробежности своей и со страшной силой напрямик нашему в лоб. Он, естественно, с копыт долой, тапочки в сторону, а душу в потолок отрыгнул. Помер, значит, на месте. Так и быть бы ему покойником, да наука не дала. Как раз в то время учинили у нас при заводе медицинское начинание. Круглосуточное дежурство особых врачей для мертвого оживления. Ну, у нас до этих пор до смерти никто не зашибался, так они от безделья зачахли почти. А тут ЧП. Мигом прилетели, засиделись, видать, вконец, стосковались; взяли они нашего в оборот свирепым образом. И что бы вы думали? Оживили гада! Конечно, травма крепкая, не меньше чем полгода в больнице отвалился. А как выписали, ноги в руки и напрямик в партком. Там все и получилось. Я тогда с секретаршей партторговской путался, от нее все и знаю. Одним словом, приковылял он туда — и к главному парторгу. Тот ему навстречу выскочил, по имя-отчеству зовет, с выпиской поздравляет, под руку подпирает. А наш дохромал до стола и, ни слова не сказав, партбилет из кармана да аккуратненько на стол. Парторга чуть столбняк не хватил. Выкатился всеми шарами и сказать не может. А наш застегнулся да к выходу. Но тут парторг оправился, перехватил его у двери, назад вернул, суетиться начал.

— Да как же, мол, так, Иван Степанович? Да почему так, какая причина?

А наш оглядел его с ног до головы и спокойно ему говорит:

— А так вот. Известно вам, что был я мертвый совсем. А того не известно, что был я в тот момент там, — и вверх

пальцем указал. — И сказали мне там, чтоб я все ваше возвратил по принадлежности. Так что примите и прощайте, пожалуйста.

Развернулся и потопал. Уж и дверь приоткрыл, еще чуть — и ушел бы, да тут парторг спохватился.

— Стой, Иван Степанович. Подожди. Постой!

Подбежал к нему, за рукав уцепил, склонился и просит шепотом:

— Иван Степанович... а что там? А?

Поглядел на него Иван Степанович, вздохнул:

— Не велели сказывать!

Только это и ответил. Отцепил рукав и ушел с концами.

Домой никто не пошел, все здесь и легли. Принес Антон сенник, одеял старых, а под голову телогрейками обошлись. От печи тепло и в тесности — не в обиде, да только не спится мне. Полежал с часок, потомился да выбрался до ветра.

Прохладно, но сухо, а звездно в небе опять — ужас, и месяц народился. А мрака нет, от света небесного чисто все вокруг и приглядно. Вот и дом, и поленница, и топор в бревне, а дальше... а дальше, может, и мрак и темень, да только не нужно дальше-то, совсем не нужно. Повело меня вдруг, как голова закружилась. Рукой стену нащупал, оперся. Чувствую, поднялось что-то во мне к сердцу, к голове, пухнет, распирает, сейчас прорвется. И прорвалось! Слезами из глаз хлынуло, не удержать. Как ливнем пролило, отхлынуло, и чисто стало. Словно стекла старые омыло, ополоснуло, и свет пошел. А там-то, там за стеклами... батюшки, да это ж детство мое, и барак, и школа, и Вовка Шершавый с колодой, а вот и фронт, и семья, и погост наш, и Антон с ребятами, а дальше... а дальше и не нужно вовсе. И никогда нужно и не было. А все мое всегда при мне было, со мной. И ничего не крал из души моей Вовка Шершавый и с собой не увозил. И нет на нем вины, и ни на ком нет. А просто была глушь и слепота в душе, а теперь нет.

А оказался он — «гунн»! С утра спохватились, как звать будем. Послали Витьку на участок. Мигом обернулся,

табличку казенную тащит. А на ней: «В. А. ГУНН». Вот и поди разбери: Владимир или Валентин... (и годы). И фамилия странная. Как быть, не в контору же бежать узнавать? Антон табличку держит, за ухом чешет, как сомневается. Витька подсунулся:

— Фамилия-то, Антоныч, не наша, еврей, что ли?

Антон отмахнулся, губу пожевал:

— Нет, не еврей, но тоже древний народ.

— Что за народ?

— А гунны. Были такие сильно свирепые военные татары доисторических времен.

— Ишь ты?!

Ну, гунн так гунн! Тем и окрестили, не сговариваясь. Так и осталось.

Два первых дня он все спал больше, Антон с ним сидел, а мы вчетвером копались. Правда, немой чаще у Антона торчал, ну да и без него справлялись. Обедать теперь к Антону повадились, а уж после отбоя, само-собой, все туда.

Через неделю, что ли, и встал он. Слабый еще, ветром качает, а ничего, переставляется. Не сам, конечно, помогаем. По очереди ходить учили. Да еще собачились между собой, чей черед. Честно сказать, я своих-то в детстве не очень нянчил, больше баба, а тут... старею, видать! А впрочем... вон и Витька с Петром туда же! А интересный он: хоть и худющий, ноги дрожат, а головой крутит, тарашится на нас, как младенец. Да младенец и есть, считай, новорожденный. Петр вон даже погремушку приволок. И вот как-то улыбнулся он нам в первый раз. За всех не скажу, а меня проняло до нутра, чуть не прослезился, да и Антон, по-моему, тоже.

С того дня крепко на поправку взял. Не сказать, что прибавился в теле, а в кости укрепился, дрожать перестал, а вскорости и сам пошел, своим ходом. Не шибко, а все сам.

Только прав Антон оказался. Не вошел он в память и говорить не стал. Не оправился до конца. А ведь если подумать — поди оправься с такого — ужас. А так понимает все и с собой справляется, вот только бреет его Антон сам. Характером тихий оказался и ласковый ко

всем, а уж с немой водой не разольешь. Всё друг с дружкой возятся, шебуршатся, колготятся промеж собой, как воробьи. А так посмотришь — наука: вроде убогие, без языка, и в такой согласии нашлись, а другие при всем своем — хуже зверья какого, даром что мату полон рот. Иным с языком даже хуже, взять хоть директора нашего: как на должность заступил, совсем дикий кавказец был, по-русски балакать не мог, нутром объяснялся, и ничего, а объясзычился — освирепел вконец — и в контору не взойдешь. Да Бог с ним, с директором. А вот Витька с Петром сильно заметно поунылись. Бывало, так густо лепят — у покойников уши осыпаются, а сейчас как стесняться стали, неловко вроде перед Гунном нашим, даже с похмелья себя осекают. Да как бы и пить меньше стали; чудно поверить, а правда. И прямо сказать: всем нам от Гунна душевное улучшение случилось и смягчение жизни. Злость, что ли, спала, совесть ли прорезалась, поди разбери, а только я такую мысль имею. Как отпустил его сон летрагический, вернулась к нему душа обратно, но не полностью, а частью какой-то, чтоб только жизнь в теле прилично обозначить, а остальными частями между всеми нами распределилась. И от этой части каждому наполнение душевное произошло. Так вот! И со стороны глянуть приятно: мы втроем шурфы бьем помаленьку, а Гунн с немой тут же рядом у насыпи тихонько колупаются в песочек, радуются, и нам тоже радость. А было такой радости всего одна весна и одно лето до осени.

Не проснулся он как-то поутру. Во сне и отошел, не мучился. Не добудился его Антон, как ни будил. Три дня лежал, не трогали, надеялись, будто тени мертвые молчком топтались, а немой как сел у него в головах, так и завис, словно каменный. А в воскресенье уж весь признак пошел и надежды не стало. Обмыли, как положено, собрали. Антон белье свое дал чистое, а Витька костюм принес, новый почти. Достал Антон из сарая ящик его же, не успел стопить по теплоте времени; вычистил, крышку подправил, обивку, уложили. А как темнеть начало, пошли мы с Петром на участок, яму его обновили. Понесли — уж совсем темно было и дождь пошел. Немого в

хибаре заперли от греха, вконец зацепенел малый, как столбняк хватил. До места вчетвером донесли. Фонарь забыли. Витька пачки папиросные от всех собрал, жег их спичками, а мы устраивали, как могли. Опустили, засыпали, постояли немного и побрели по сторонам.

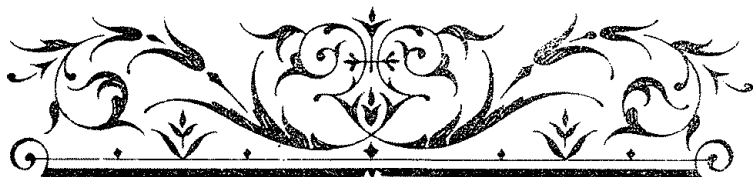
И куда меня ноги несли, где таскался до ночи глубокой — не вспомнить. А только мрак и дождь, и грязь по ногам. Тягучая. По кустам ломился, бежал, падал: не встану, думаю, умру. Однако встал. На кварталы вышел, асфальт почувствовал, огляделся. Дождь поутих, а тьмы не прибавилось. Вот и жильё вокруг, и окна, а все черное, без просвета, без проблеска. Сонный народ хуже мертвых, и нет в нем ни слова, ни просыпа. Ну хоть бы одна сука не спала, хоть бы кто в ночи тревожился и свет палил. Нет! Тишина и сон, и глушь беспросветная. Но вот хрустнуло, стукнуло — и еще, и еще, и чаще пошло. Да это ж мясники в подвале в буру секутся. Хлещут картами по колоде со всех сторон, пластают их в остервенении своем... и все!

Господи! Неужто это и есть жизнь человеческая в ночи Твоей, Господи!!

А с утра понедельник был...

1978 год. Июнь.





Джордж ОРУЭЛЛ

ЛИТЕРАТУРА И ТОТАЛИТАРИЗМ

В начале своего первого выступления я сказал, что наша эпоха не является критической*. Это — эпоха торжества партийности над беспристрастностью, время, когда особенно трудно признать художественные достоинства книги, с идеями которой вы не согласны. Политика (в самом общем смысле этого слова) овладела литературой в большей степени, чем это обычно бывает; благодаря этому воочию стала видна борьба, которая всегда происходит между личностью и обществом. Именно в тот момент, когда представляешь, как трудно быть честным, непредубежденным критиком в эпоху, подобную нашей, начинаешь понимать, что угрожает всей литературе в наше время.

* Выступление по радио, которое состоялось 30 апреля 1941 г.

Мы живем в эпоху, когда независимая личность перестает существовать — или, может быть, следует сказать, когда личность расстается с иллюзией своей независимости. А во всех наших суждениях о литературе, и прежде всего о критике, независимая личность присутствует как данное. Вся современная европейская литература — я говорю о литературе последних четырех столетий — строится на представлении об интеллектуальной честности или, говоря другими словами, по-шекспировски, — «быть верным самому себе». От писателя мы в первую очередь ожидаем искренности: он должен писать то, что он действительно думает и чувствует. Самое плохое, что мы можем сказать о произведении искусства, — это заявить, что оно неискреннее. Сказанное, пожалуй, больше относится к критике, чем к художественной литературе, в которой некоторая поза и манерность, даже фальшь не играют особой роли до тех пор, пока писатель искренен в главном. Современная литература личностна по самой своей сути. Любое произведение либо является правдивым изображением того, что думает и чувствует автор, либо лишено какой бы то ни было ценности. Я уже сказал, что это представление для нас — почти само собой разумеющееся, но стоит только выразить его словами, как становится ясно, какая опасность угрожает литературе. Ведь наша эпоха породила тоталитарное государство, которое не предоставляет и, по-видимому, не может предоставить личности свободу. При упоминании о тоталитаризме сразу же вспоминают Германию, Италию и Россию, но я считаю, что должна учитываться возможность распространения этого явления на весь мир. Период свободного капитализма, несомненно, подходит к концу: государства одно за другим вводят у себя централизованную экономику, которую одни предпочитают называть социалистической, другие — государственно-капиталистической. В связи с этим исчезает экономическая свобода личности и, в большей степени, ее свобода делать то, что она хочет: выбирать для себя работу, беспрепятственно переезжать с одного места на другое. Но до сего дня никто не предвидел последствий этого процесса. Никто не осознал, что исчезновение экономи-

ческой свободы как-то повлияет на свободу мысли. Социализм обычно представляли как некий облагороженный либерализм: государство возьмет на себя заботу о материальной жизни людей, избавит их от нищеты, безработицы и т.д., но не будет вмешиваться в их духовный мир. Искусство будет процветать так же, как оно процветало в либерально-капиталистическую эпоху, даже сильнее, потому что будет покончено с экономической зависимостью художника.

Теперь, когда факты налицо, приходится признать, что эти представления были совершенно неверны. Тоталитаризм уничтожил свободу мысли до степени, немислимой в какую-либо из предшествующих эпох. Причем важно понимать, что контроль над мыслью носит не только негативный, но и позитивный характер. Тоталитаризм не только запрещает вам говорить, даже думать об определенных вещах, — он прямо предписывает, что вы должны думать, он создает для вас идеологию, он пытается управлять вашими чувствами, навязывает вам модель поведения. И, насколько это возможно, он изолирует вас от внешнего мира, запирая в искусственном пространстве, где нет возможности для сравнения. Тоталитарное государство стремится контролировать мысли и чувства людей в не меньшей степени, чем их поступки...

Вопрос, который важен для нас, заключается в следующем: может ли литература выжить в таком обществе? Мне кажется, ответ будет краток: нет, не может. Если тоталитаризм победит в мировом масштабе, то литература умрет. И нельзя будет отделаться верными, на первый взгляд, словами, что закончила свое существование лишь послевозрожденческая европейская литература. Существует несколько серьезных различий между тоталитаризмом и идеологиями прошлого, как западными, так и восточными. Наиболее важное заключается в том, что идеологии прошлого не изменялись или, по крайней мере, не изменялись быстро. В средневековой Европе церковь предписывала вам, во что вы должны верить, но она позволяла вам иметь одни и те же убеждения от рождения до смерти. Вас не заставляли в понедельник думать так, а во вторник — иначе. Это справедливо сегодня по

отношению к традиционным идеологиям. Круг мыслей правоверного христианина, буддиста, мусульманина или индуса ограничен, но постоянен, а в область его чувств религия не вмешивается.

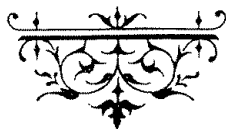
Относительно тоталитаризма справедливо обратное. Особенности тоталитарного государства состоят в том, что, осуществляя контроль над мыслями, оно не задает их раз и навсегда. Тоталитарное государство вырабатывает догмы необходимо, так как необходимо абсолютное повиновение массы, но смены их избежать нельзя — она диктуется нуждами политики. Тоталитарное государство, объявляя себя непогрешимым, в то же время отрицает самое представление об объективной истине. Например; каждый немец до сентября 1939 года должен был относиться к русскому большевизму со страхом и отвращением, а после — с восхищением и симпатией. Если Россия и Германия начнут войну, что они вполне могут сделать в течение ближайших нескольких лет, то должна будет произойти не менее коренная перемена. Таким образом, предполагается, что чувства немца, его симпатии и антипатии изменяются мгновенно, если это необходимо. Едва ли я должен пояснять, каково влияние такого манипулирования сознанием на литературу. Ведь творчество в значительной степени определяется чувствами, которые не всегда можно контролировать извне. Конечно, легко писать то, что требует данная идеология, но настоящее творчество возможно лишь тогда, когда человек **чувствует** правдивость того, что он пишет; одного творческого импульса, без такого ощущения, недостаточно. Все факты говорят за то, что внезапные эмоциональные перемены, которых тоталитаризм требует от людей, психологически невозможны. И это — главная причина, заставляющая меня думать, что, в случае победы тоталитаризма во всем мире, то, что мы называем литературой, исчезнет. И на практике тоталитаризм, кажется, уже достиг таких результатов: итальянская литература находится в глубоком упадке, а в Германии она почти прекратила свое существование. Сожжение книг — самая показательная сторона в деятельности нацистов. И даже в России не произошел тот расцвет литературы, которого

некогда ждали, а большинство талантливых русских писателей кончают жизнь самоубийством или исчезают в тюрьмах.

Я уже сказал, что эпоха либерального капитализма, несомненно, подходит к концу, и поэтому можно заключить, что я считаю свободу мысли также обреченной. Но я так не думаю, и в заключение просто скажу, что я верю в то, что литература не прекратит своего существования. Эта надежда основывается на существовании немилитаристских стран, в которых либерализм пустил глубокие корни, таких, как Западная Европа, Америка, Индия, Китай. Я верю — может быть, это не более, чем надежда верующего, — что, хотя будущее неизбежно за обобществленной экономикой, эти страны сумеют создать нетоталитарный социализм, при котором, несмотря на исчезновение экономического индивидуализма, останется свобода мысли. Во всяком случае, только на это могут надеяться те, кто любит литературу, Всякий, кому она дорога, всякий, кто понимает, какую роль она сыграла в человеческой истории, должен также осознать жизненную необходимость сопротивления тоталитаризму, угрожает он нам извне или изнутри.

[Выступление по службе вещания для заграницы Британской радиовещательной корпорации. Напечатано в журнале «Listener» в номере от 19 июня 1941 г.]

Перевод с английского.
Публикация Н. И. Будаевой
(Ленинград)





Сергей ГРАЖДАНКИН

БОРБИКРЕНА

(СНЫ СТАРОЙ КРЫСЫ)

I

*Одиноко брела к своей матери старая крыса,
К изначалу путей Борбикрена седая спешила.*

*Как лоскут паутины, во тьме ее призрак белеет,
И рюкзак за спиною, как грома далекого призрак.*

*Это шепоты трав:
«Борбикрена, стой!
Отдохни до утра, —
Мы с тобой, мы с тобой!»*

*Это шепоты листьев:
«Останься, старушка!
Что ты в темень стремишься,
Старых мыслей пастушка?»*

*Это шепот стволов:
«Борбикрена, замри!
Покачайся без слов
До прихода зари.»*

*Это шепоты тучи,
Ее влажные сети,
Ласки прядей летучих:
«Мы одни в целом свете!»*

*Сквозь все вздохи и шепоты ночи, дождя бормотанье
Шла и шла Борбикрена, привычно мечту оживляя,
Меж высоких стеблей осторожно ступая, дремала:
То стонала во тьме, то шептала с улыбкой о чем-то.*

*Сын Борбикрены, кудрявый Тригорий,
В подвале выращивал тайные корни.*

*Тригорий с корнями водил хоровод.
Одна из корней полюбила его.*

*С Борбикреной в то утро сынок не простился,
В зимний сад он по лестнице темной спустился,*

*Там подругу свою откопал,
Ее белое тело во тьме целовал...*

*Вновь зовет Борбикрена пропавшего сына:
«Мой котенок, вернись, Борбикрена простила!»*

*Вот она на песчаную вышла поляну,
Свет бежит по усам, от рыдания пьяным.*

*Видит — голая дева сидит
На ступнях своих белых. — Мертва? или спит?*

*Улыбнулась? — нет, нет, свет играет!
По песку Борбикрена тихонько ступает.*

*Перед девой начертаны мелко значки.
Борбикрена устawiлась деве в зрaчки.*

*Тут из девичьих глаз налетел ветерок,
Бобрикрене в глаза заметая песок...*

*На берегу песчаного карьера
В миг очутилась Борбикрена.*

*Над озером прозрачным пляшет ветер.
Тригорий плещется в волнах, в их свете.*

*Вот на берег он в брызгах выбегает,
А девка белая его назад толкает,*

*И оба падают, хохочут...
Железом синим по небу грохочут...*

*О поваленный ствол Борбикрена в дремоте споткнулась,
Громыкнув рюкзаком, пробудилась и чутко застыла.
Всё в тумане. В объятых дождя тишина, как невеста.
Только вдруг разговор молодой к Борбикрене пробился.*

*В такую ночь, как эта,
Не спят одни
Старики и поэты.
Вы им сродни?*

*Продайте нам вашу старость,
Не пожалеете!
А усталость
Бросайте на ветер.*

*Нам, все равно, по пути,
Не беспокойтесь!
Все мы в пути,
Все мы гости.*

Хозяйка этого берега,
Где вы шли,
Этот берег нам зверила...
Вот мы и пришли!

Видите огонек! —
Этот свет
С ваших ног
Снимет пару десятков лет.

На туманный огонь Борбикрена с друзьями свернула.
По краям его в нитях дождя серый сумрак клубился,
Создавая и пряча резные карнизы строенья,
За которым река свое черное тело струила.

Разглядела теперь Борбикрена троих провожатых,
Их глаза и накидки их цвета теченья речного.
Платья птицы, змеи, стрекозы — их наряд составляли.
И добры и одеты со вкусом изящным все трое...

Из-за белых морей,
Из тех розовых стран,
Распустил паруса
Мой корабль-туман.

Мой корабль летит
Из тех розовых стран,
А за ним по волнам
Облаков караван.

Из тех розовых стран,
В трюмах тех облаков,
Ветер белых морей,
Все цветы тех садов.

Замедляют свой ход,
Пристают корабли
Из тех розовых стран
У осенней земли.

*От зари до зари
И до самой весны
Песни белых морей
От причалов слышны.*

*Голос смолк. Борбикрена бледнее тумана стояли.
Эту песню ей мать напевала под пологом снежным,
Эту песню певала под вьюгу сама Борбикрена...*

*Вот бежит! второпях огибая кротовые кучи,
Вот ступеньки, мосточек и терем на сваях,
Двери — настезь!.. Тут силы старушку покинули разом.*

*Вот кружатся карты,
Как плавно танцуют!
Здесь гости играют,
Хозяйка вистует.*

*Танцуют снежинки ее поцелуев,
За даму Крестей их полет голосует:
Стелите постель,
Разводите по спальням гостей.*

*Говорит насекомое Туз:
«Я Вам снюсь.
Хоть в летах и с брюшком, но не трус, —
Охранять Вашу спальню берусь
И сыграю за Вас:
Музыканты! — трефовый вальс».*

*Завлекает Хозяйка гостей
В терем снов всех мастей.
Преподносит король королеве Крестей
Всех мастей новостей,
Козырей прозапас...
— Громче вальс!*

Согревает крестовый альянс
Тайных мыслей пасьянс,
Всю колоду, всех нас
и —
И раз, два, три — раз...

2.

На подушках из трав водяных Борбикрена очнулась.
Чуть светает, свеча, и Тригорий сидит в изголовьи.
Улыбнулась, Тригорий вздохнул, и слова их смешались.

...
... Помнишь, мама: зима, старый ельник,
Ты со мной на руках и Отшельник.
Я в дупле у него ночевал,
Он три ночи меня врачевал...

Затянулось мое излечение,
Заманил меня старец в ученье.
Я искусство его изучил,
Свод наук, их замки и ключи.

Не один я добился причастья,
Много нас, все искали участия,
И свое отраженье искал,
Кто в воде, кто в корнях, кто средь скал...

Солнце встало, а мы и не чаем!
На восточной веранде за чаем
Все сойдемся, и снова вдвоем
Мы с тобою о нас попоем...

И Тригорий свечу загасил и покои оставил.

Из постели своей Борбикрена, как дева, порхнула,
Рюкзачок отыскала, в его тесноте покопалась,
Причесалась, умылась и дверь, как страницу, открыла
И притихла... А птицы на пиршестве утра кричали!

*У меня в травяных коридорах
Каждый кузнечик так дорог!*

Тайное делаю явным всегда.

*Никогда, никогда
Я не строю гнезда.*

*Каждый птенчик, как рыбка, в яичке!
Ах, как дивно сияют их личики!*

*Тень ли, шорох уронит беда —
Явное сделаю тайным всегда.*

*Пусть хохочут цветочные венчики —
Я люблю золотого Кузнечика.*

*Ветер мой! Золотая звезда!
Он живет в мире гнезд, в городах.*

*Там вонючие спят человечки,
Ими правит король — мой Кузнечик, и*

*Мне поет о любви человеческой
Мой сверчок, мой солнечно-вечный!*

Тело его поет всегда.

*Ну, когда? О, когда
Он покинет свои города?!*

*Где плакучие ивы ветвями воды доставали,
Там веранда висела, под нею кувшинки качались.*

*Стол плетеный накрыт на просторном помосте,
И гостей безмятежные позы на кружеве кресел.*

*Как костер золотой, на столе самовар, и Хозяйка
На дымящийся чай серебро кипятка проливает.*

*На веранду от берега мост травяной протянулся.
За перила держась, Борбикрена по стеблям шагала.*

*Жизнь — это мостик висячий,
Света и тени создание.
Шатки перила удачи,
Зыбки ступицы сознанья.*

*Только вперед продвиженье
В жизни нам служит порукой,
Ветер, моста натяженье,
Вера в союзе с наукой.*

*Чайка ли с берега взмыла? —
К нам Борбикрена шагает,
Держит поводья-перила,
Ветром она управляет. —*

Борбикрену Хозяйка целует и рядом сажает...

*Ночь туманна, темна,
До краев переполнена снами;
Берег утра — иная страна,
Вы пристали к нему вместе с нами.*

*Спит на веслах роса,
В камышах наши лодки приткнулись,
Только снов, только снов голоса
Вместе с птицами в хоре проснулись.*

*Так Хозяйка стола, гребешок в волосах поправляя,
Хор вела. В самоваре, как в зеркале, все отражались.*

*Гребешок деревянный,
Праправнук полена!
Ты зачем полюбил
Вещмешок Борбикрены? —*

*Одинокого сердца
Жестяные елки*

*И ума одинокого
Шпильки, заколки?*

*Что же делать? — Так случилось!
Солнце в блюдечке лучилось.*

*Тайных мыслей подружка,
Голубая заколка,
Лишь блестела лукаво,
Не смутилась нисколько.*

*Непутевая внучка
Сапожного шила!
Ты зачем, озорница,
Гребешок присушила?*

*Что же делать? — Так случилось!
Солнце в блюдечке лучилось.*

*Им любить да нас прощать,
Да вареньем угощать!*

*Всем хорош наш женишок,
Хороша невеста.
Как у овоща свой срок,
Так у вещи — место.*

Кто за песней не мог усидеть, в пляс летел прямо с места.

*Облака, вы, облака,
Белые рубашки!
Что в ладонях ручеек,
С милым я в овражке.*

*Звезды синие очей
Мне ночами снятся.
Просыпаться не хочу,
С милой расставаться!*

*Не осеннюю порой
Паутинка по ветру,
От руки моей любовь
Улетела поутру.*

*Так шутили и пели за чаем беспечные гости.
Средь гостей мать и сын улыбались, веселью внимая,
Через стол свои взгляды сцепляя, как двое влюбленных.*

*Наконец, вереница гостей через мост потянулась,
Вместе с криками птиц голоса их в траве потерялись.
Мать и сын среди кресел, как уточки две, примостились.*

*... Видно, мама, уж так суждено нам:
Покидать материнское лоно,
В эстафете огней угасать,
Чтобы новый огонь воспитать.*

*Ты от матери свет получила
И сама этот свет мне вручила —
Жизнерадостный солнечный свет,
Ни тоски, ни печали в нем нет.*

*Но томит нас печаль; эта сила —
Воссиянье иного светила.
И Отшельник направил мой след
По лучам в тот немеркнувший свет.*

*Не глаза правят светом, а зреньё
И упор на свое отраженьё.
Я свои отыскал удила,
Меня Белая Дева вела.*

*За болотом, в бору над холмами
Мы сходились, Отшельник был с нами.
Он учил нас водить хоровод,
Различать, где просвет, где проход.*

*Но однажды в туманной погоде
Не сдержали мы цепь в хороводе.
Я один затерялся в живых,
Черный Месяц унес остальных.*

*Меня змеи в ту ночь охраняли,
Мою нить на клубок свой мотали.
Только я этой тайной владел, —
Так Отшельник читал мой удел...*

*Стрелы света напор свой теряют,
Если стрелы свои заостряют.
Нас давно уже ждут в терему.
От разлук не уйти никому.*

*Не спеша, друг за другом на берег они перебрались,
Вышли в поле. Тригорий задумчиво белые складки
Кружевного платка на плечах Борбикрены всё гладил.
Ветер пел, мать и сын всё молчали, шаги замедляя.*

*Внимание, внимание!
Сужайте свои зрачки,
Имейте одно желание —
Уединяйтесь, дурачки!*

*Не верьте братьям, не верьте —
Возможность одна,
Одним пожеланием мерьте
Все вещи до дна.*

*Любимые мысли немедля
Отбросьте, вплоть до последней.
Припомните житие Емели:
«Веленье щучье — мое хотенье!»*

*Откройте на ветер двери!
Приглашаю вас, дураков, —
Выпьем ваше доверье
На пиру сквозняков!*

Борбикрена на сына смотрела и вдруг, словно праздник,
 Словно ветер, его обняла и к реке потянула.
 Вот ступеньки, мосточек и терем крылатый, —
 Двери настезь! — Огни на столах, хор гостей их
 встречает.

Меж зеленых берегов
 Небо отражалось,
 У камней, у валунов
 Пена колыхалась.

Страна
 Зелена,
 Шелковитая трава.

Не у берега белье
 Бабы полоскали,
 Над холмами в облаках
 Гуси пролетали.

Страна
 Зелена,
 Шелковистая трава.

Не белье на шестах
 На ветру трепалось,
 Стая белая гусей
 В волны опускалась.

Страна
 Зелена,
 Шелковистая трава.

Как на самой быстрине
 Острова стояли,
 Трубных песен вожака
 Гуси ожидали.

*Страна
Зелена,
Шелковистая трава.*

*Не весенняя река
Зелен лед ломает,
Цепь крылатая гусей
В небо улетает.*

*Страна
Зелена,
Шелковистая трава.*

*Широко от порога пошла Борбикрена по кругу.
Хор умолк, гости хлопали, музыка вилась в стропилах.*

*Как береза по осени листья на листья роняет,
Так движенья свои Борбикрена по кругу роняла.*

*На ходу рюкзачок свой походный она подхватила,
Распустила тесьму и гостей очередно дарила.*

*Выйду в поле я широкое,
Стану я на самый краешек.*

*Как во поле том Ночь-матушка
Во широком пораскинулась,*

*Из парчи шатер расставила,
Облака кругом — палаточки.*

*По тому по полю с краешку
Путь-дорожка уместилась.*

*Уж поставлю я палаточку
Да у самой той дороженьки.*

*Станут дни ко мне захаживать
Да гостинцев мне принашивать.*

*Не сердчай же ты, Ночь-матушка,
Что стою в твоих владениях.*

*Ты прими моих подарочков,
Свет-гостей моих остаточки,*

*А палаточку матерчату
Оставляю я наследнику.*

*Голубая заколка Хозяйке досталась под хохот.
Гости с криками тотчас плясунью на воздух подняли,
Пронесли анфиладой покоев на красную пристань,
В лодку цвета зари осторожно ее усадили.*

*Молчаливы леса. —
Где же птиц голоса?
Где цветы, что цвели?
Где они? Где они?*

*Потихоньку ушли.
Потихоньку усни,
Засыпай,
Баю-бай.*

*Молчаливы леса. —
Где же птиц голоса?
Где цветы, что цвели?
Все вернулись они,*

*Потихоньку пришли.
Потихоньку усни,
Засыпай,
Баю-бай*

*От причала веслом Борбикрена легко оттолкнулась,
И течение реки ее дум ручеек подхватило.*

*А над крышами терема в небе цветы распускались
Разноцветных огней — фейерверк в честь Хозяйки, в
честь гости!*

*Муж ушел в города, я одна, я одна.
В третий раз машет гривую красной луна.*

*У Хозяйки в дому
Я очей не сомкну.*

*Кто-то ставень отнял,
Занавеску поднял,*

*На пол прыгнул, затих...
Что за тень? Что за стих?*

*Все в проеме стоит. —
Вы, Хозяйка? — молчит.*

*Я к окошку в потемках бреду наугад:
Не Хозяйка стоит — лишь один Ее взгляд...*

*От закатных краев синей тучею мост надвигался,
На клубящемся гребне народ человеческий толпился.*

Кто-то крикнул: «Вон дохлая крыса плывет по течению!»

*И мальчишки с моста ее путь возбужденно следили
И с размаху комочки конфетных бумажек бросали.*

1986





Анна БЕРНШТЕЙН

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

I. СЕНА

Однажды я шла по Москве и увидела человека, сверлящего стену. Красная кирпичная стена окружала двухэтажный каменный особнячок. Эта стена была вся усеяна маленькими, с копеечную монету, дырочками. Кирпичи тряслись, и, казалось, вот-вот сооружение рухнет.

— Зачем вы стену сверлите? — спросила я.

Важный толстый слесарь как раз кончил сверлить одну дырку и переходил к другой.

— Французы приедут, — ответил слесарь. И кивком головы указал на большой транспарант, на котором крупными буквами было написано: «К приезду французской делегации благоустроим город».

— Понабегут, поналезут, как тараканы, а нам дырки сверлить,.. мать их... — смачно выругался слесарь.

— Не понимаю, при чем здесь французы, — удивилась я.
— Чтобы они через эти дырки на дом глазели,.. мать их...
В среду перед получкой какие-то архитекторы притащились, говорят, мол, дом этот самый красивый, самый роскошный на улице. Нужно, мол, его показать французам, мать их., если захотят. А как его покажешь? Кругом вот, забор. Вот начальник ЖЭК и велел к вечеру всю стену изрешетить. Чтобы французы, мать их., через дырки могли пялиться, глазеть.

И старый слесарь еще ожесточеннее принялся сверлить стену.

— Как бы из-за этих дырок стена не упала, — сказала я.

— А что, вполне возможно, что и упадет, — согласился слесарь. — Прямо на дом и упадет...

— Ой, а ведь из-за этой стены дом тоже рухнет, — вдруг догадалась я.

— Без всякого сомнения, — подтвердил слесарь.

И вдруг я все поняла. Стена повалится на этот дом. Этот дом упадет на соседнюю пятиэтажку, пятиэтажка — на девятиэтажку, и в конце концов все дома в Москве повалятся друг на друга, как карточный домик.

— Неужели вся Москва разрушится! — высказала вслух я догадку.

— Разрушится, — подтвердил слесарь. — Это уж точно. А все из-за французов,.. мать их... — и он снова длинно выругался.

И вдруг послышался веселый хохот, доносившийся из палисадника возле дома.

— Ой, ведь там люди!

— А то как же, — сказал слесарь, переходя к следующей дырке. — Люди лучше жить стали, вот и гуляют.

— Их нужно предупредить! — снова закричала я, — чтобы от стены отошли.

— Правильно, — согласился слесарь. — Вот вы и предупредите, а мне некогда.

И он снова вгрызся сверлом в стену.

Через полуотворенную калитку я вошла в палисадник. Первым делом мне бросился в глаза старичок, качающийся на детских качелях.

— Ух! Ух! Ух! — радостно визжал старичок, высоко

взлетая на качелях. — Эй! Что, тоже кататься собралась? Старичок приостановил качели и уставился на меня.

— Удивительно! — вырвалось у меня.

— Удивительно, что старый дед на качели уселся, — хихикнул старичок. — А вот так и получилось. В детстве-то мне никогда не удавалось покататься, качели другими детьми всегда заняты были. А вот вышел на пенсию и наверстываю упущенное. Качели-то свободны. Дети всегда в школе, теперь уж не качаются.

— Ваш дом разрушиться может. Стена скоро упадет, — предупредила я старичка.

Но старичок уже не слушал меня. Он снова взметнулся ввысь, громко ухая от радости.

Ко мне робко подошла высокая худая женщина с большими испуганными глазами.

— Вам цветочков не надо? — спросила она.

— А почему вы здесь продаете, а не на улице? — удивилась я. — Здесь же у вас народу почти нет.

— А на улице милиция торговать цветами запрещает, — вздохнула женщина. — А сюда к нам милиция не ходит.

— Идемте отсюда, а то дом рухнет.

— Я бы пошла, — ответила мне женщина. — Но боюсь, вдруг кто-нибудь у меня цветочки все же купит. Месяц назад у меня целый букет одна дама приобрела.

И тут я увидела волосатые загорелые ноги, торчащие посредине клумбы. Это был крепкий смуглый мужчина, стоящий на голове.

— Пойдемте стену спасать, — предложила ему я.

— Внимание, я йог, — услышала я магнитофонный голос и увидела рядом с йогом, на клумбе, маленький кассетный магнитофончик. — Вы мне мешаете сосредоточиться. Просьба до пяти не беспокоить. — Я посмотрела на часы. До пяти оставалось еще много времени.

— Помогите! — закричала я, обращаясь ко всем вместе людям в палисаднике. — Спасайтесь! — стена палисадника равномерно качалась во все стороны под монотонное гудение сверла.

Старичок весело качался на качелях, женщина ходила с цветами, а йог коротенькими волосатыми ножками посредине клумбы болтал.

Я снова выбежала на улицу.

— Ой, падает! — закричала я и заткнула уши.

Раздался страшный грохот.

Когда я открыла глаза, то увидела возле себя обломки стены, а дальше, как картонные домики, валились друг на друга высокие московские дома. Они падали беззвучно, один за другим.

А над обломками возвышался слесарь, который продолжал неистово, громко матюкаясь, сверлить поверженную стену.

— Сейчас-то вы зачем сверлите? — закричала я первое, что пришло в голову.

— А французы... нужно успеть все высверлить до вечера. А то прогрессивки не будет... — Потом он на секунду остановился, оглянулся по сторонам и добавил: — Перекусить бы мне, да столовка развалилась. Придется без обеда ишачить,.. мать их.., этих французов. — И он продолжал сверлить.

А дальше стоял на голове, окруженный обломками домов, волосатый йог. Он был погружен в созерцание.

2. АПЕЛЬСИНЫ

Я шла по Москве и вдруг поняла, что заблудилась... Дома были незнакомые, и главное, я все время выходила к одному и тому же месту. А именно, к дому номер четыре.

Это был дом номер четыре по Большому Могильцевскому переулку. В сетке я несла покрытые ярким глянцем оранжевые апельсины.

Апельсины для Марии Петровны. Мария Петровна — наша бывшая сотрудница. На Новый год ей всегда дарили апельсины от ее бывших сотрудников.

Визит к Марии Петровне — мое общественное поручение. Мой, как говорится, последний шанс. Если я хорошо справлюсь с этим заданием — начальство оставит меня на работе. Интересно, какой вкус у апельсинов. Ведь я их никогда не ела. За ними всегда выстраивается гигантская очередь на несколько дней. Да и стоят они, как половина моей зарплаты.

И вдруг я поняла, что дом номер четыре по Большому Могильцевскому переулку есть тот самый дом, в котором живет Мария Петровна. Я ужасно обрадовалась, что не надо переходить улицу. Потому что переходить улицу я не могу. По этой причине все время опаздываю на работу. Машины у нас в городе снуют туда и сюда без остановки. Они мчатся с гигантской скоростью. Многие переходят улицы при помощи шеста, перепрыгивая на другую сторону тротуара, а некоторые покупают дорогие светофоры.

На этих светофорах горит только один зеленый свет. Машины при виде зеленого света останавливаются — и пешеходы быстренько могут перескочить на другую сторону.

Но такой светофор стоит чуть ли не всю месячную зарплату, и я это себе позволить не могу.

Я вошла в грязный подъезд дома номер четыре по Большому Могильцевскому переулку и поднялась по лестнице.

— Кто там? — раздался голос из-за двери.

— Это я, Марья Петровна, — и назвала свою фамилию.

— Вот вам от Деда Мороза, — пошутила я и вручила старушке кулек с апельсинами.

Старушка недоверчиво уставилась на кулек.

— НЕ БЫВАЕТ ДЕДА МОРОЗА! — вдруг закричала она громким, пронзительным голосом. — И муженек мой это подтвердит. — И старуха потащила меня к висевшей на стене фотографии в черной рамочке, обрамленной цветами.

— Ваш муж умер? — удивилась я.

— Считай, уже три года. Он ко мне по ночам приходит.

— Приходит? — не поверила я.

— Женщина должна держать мужчину при себе, что бы с ним ни произошло! — сурово отчеканила старуха.

Совершенно ошарашенная, я выскочила на улицу.

По дороге на работу никаких происшествий со мной не случилось, если не считать демонстрантов. Одетые в белые плащи, со странным изображением на груди, они медленно, под барабанный бой двигались по улице. Моя подруга Ляля из отдела кадров всегда говорит, что

встреча с ними приносит несчастье. Ее брат даже защитил по ним диссертацию. Кто они и что им надо?

Брат заметил, что у них на груди изображена фигура сказочных существ, которых в старину называли демонами. Отсюда, как он считает, и пошло название «демонстранты». Только он никак не мог объяснить значения слова «странты». Если бы не демонстранты, в городе можно было бы спать спокойно. А так они постоянно маршировали по улице под громкий барабанный бой. Они даже сквозь стену просачивались. Однажды я заснула — и вдруг рядом со мной появился демон-странт. Он начал громко стучать у меня под ухом, а потом взял и исчез. Брат Ляли развивает гипотезу, что они инопланетяне. Но я не верю. Ведь все говорят, что инопланетян не бывает.

Однажды брат Ляли ухватил демонстранта за плащ. Плащ с изображением демона остался у него в руках, а сам демонстрант исчез.

В вестибюле нашего института — объявление: собрание по поводу аморального поведения сотрудницы Г. Сотрудница Г. — это я.

Мне хочется бежать. Но за мной уже идут двое сотрудников — МНС из планового.

В большом зале человек пятьдесят.

Председатель собрания:

— Слушается дело сотрудницы Г. по обвинению в распространении недозволенных слухов.

И вдруг рядом с председателем я вижу бывшую сотрудницу, а ныне пенсионерку Марию Петровну.

— Она сегодня распространяла слух в моей квартире, что существует Дед Мороз! — завопила Мария Петровна, потрясая в мою сторону кулачками.

— Я пошутила! — попыталась оправдаться я.

— Хороши шутки! — заметил председатель. — Вы знаете, как у нас в Москве караются те, кто верит в Деда Мороза.

Я страшно испугалась. Дело в том, что у нас в Москве запрещено играть в игрушки и особенно, почему-то, верить в Деда Мороза.

В детстве я верила в Деда Мороза, верила, что он придет

в белых санках на тройке лошадей и привезет мне подарок: зеленую елку, разукрашенную свечами и игрушками. Каждый год безуспешно ждала его и никому не говорила об этом.

— Мой покойный муж тоже ужасно возмутился! — продолжала кричать Мария Петровна. — Он сказал, что нельзя верить во всякую ерунду.

— Ваш покойный муж? — переспросил председатель. — Ну да. Он ко мне каждую ночь приходит, — охотно начала рассказывать Мария Петровна. — Женщина всегда должна держать мужчину по ночам при себе, что бы с ним ни произошло.

— У нас в государстве запрещено верить во всяких покойных мужей! — решительно заявил председатель. — Предлагаю лишить по этому поводу Марию Петровну апельсинов и выгнать ее с нашего собрания. — Помощник председателя вытащил из рук Марии Петровны апельсины, и двое рослых МНС вытолкнули ее из зала, хотя она и сопротивлялась, крича, что это несправедливо. Апельсины мгновенно были распределены между помощниками председателя, и их тут же съели прямо с кожурой. В зале зашумели обиженные, которым не досталось апельсинов.

— Внимание! — позвонил в колокольчик председатель. — Продолжаем разбирать дело сотрудницы Г. Предлагаю за распространение ложных слухов о Деде Морозе уволить сотрудницу Г. с работы. Кто за — прошу поднять руки.

Собрание проголосовало единогласно.

— А еще лишить ее путевки! — пискнул мой непосредственный начальник, который всегда меня недолюбливал за опоздания.

И тут я пришла в полное отчаяние. Дело в том, что я всю жизнь мечтала поехать на море. Двадцать лет тому назад я подала заявление о путевке на юг. И вот недавно мне предоставили путевку вместе с билетом.

По телевизору я как-то видела южное море. Я знала, что на юге всегда тепло и можно купаться.

Когда-то в детстве бабушка мне рассказывала, что в Москве не всегда шли такие холодные морозящие дожди,

как сейчас. И что у нас тоже когда-то было лето, но этого времени я уже не застала.

— Отдавай путевку! — закричали мои сотрудники. Множество рук потянулось ко мне. И тут я заплакала. Я поняла, что никогда не увижу моря. Ведь на теплый блаженный юг можно было уехать только по путевке. Без предъявления путевки не продавали билеты ни на самолет, ни на поезд.

Председатель выхватил у меня из рук путевку и ликующе поднял над головой.

— Теперь ты никогда не поедешь на море! — радостно завопил он. И даже запрыгал от удовольствия.

— Ура! — восторженно отозвались все сотрудники и зааплодировали.

И мне вдруг представился настоящий Дед Мороз, который может все, даже отвезти меня на море.

И случилось чудо: открылась дверь и вошел настоящий Дед Мороз с большим мешком, в котором звенели яркие игрушечные украшения для елки.

Он подошел прямо ко мне и сказал:

— Идем, я отвезу тебя на море, — и вытащил из мешка путевку на юг.

Сотрудники застыли с вытаращенными от изумления глазами. Председатель от ужаса упал в обморок.

А Дед Мороз посадил меня в быстрые санки с бубенцами, и белые лошади понесли нас по мокрому городу.

Вот мы проехали сквозь взвод барабанящих демон-странтов. Люди открывали окна и с изумлением высовывались наружу.

А синее, густое от теплоты море ослепительно блестело на солнце, тихо качая волнами. И море ждало, ждало нас. И мчались под морозящим, колючим, холодным дождем санки, запряженные тройкой белых лошадей со звенящими колокольчиками.

— Эй, посторонись! — кричал Дед Мороз. — **МЫ ЕДЕМ К МОРЮ!**



Марианна ВЕХОВА

БУМАЖНЫЕ МАКИ

(Отрывок из автобиографической повести)

В детстве я много думала о смерти, потому что в больнице, где я лежала, часто умирали люди. В то, военное время все госпитали и больницы были забиты, поэтому умирающего не увозили в отдельную палату, не отгораживали ширмой.

Бывало, что умершая женщина некоторое время лежала на своей кровати, укрытая простынею. И все больные говорили шепотом, ходячие не шаркали тапочками, не стучали, входили в палату как-то крадучись. Иногда кто-нибудь, особенно смелый, подходил к мертвой, отгибал простыню на ее лице и смотрел. Другие в ужасе отворачивались и жаловались, что теперь покойница будет к ним ходить по ночам. Это общее чувство страха и почтения к смерти завораживало. Я не пыталась в испуге отмахнуться от мыслей о смерти — ребенку еще не свойствен-

на умственная трусость, дети не ищут спасения в уклончивости; все кажется, что вот-вот поймешь, разгадаешь эту тайну, еще не верится, что человеческий ум не всемогущ. Я с трепетом слушала разговоры о смерти, воспоминания о разных снах и явлениях привидений, о покойниках и приключениях на кладбищах. В длинные-длинные зимние вечера в разгар войны в сибирском городе в больнице шли эти разговоры, и они мне врезались в память. Потом я лежала в детской больнице, и больше никогда не участвовала в таких потрясающе увлекательных, в таких задушевных разговорах.

Затаишься, стараешься не дышать громко — только бы не вспомнили, что здесь я, ребенок, и не перестали рассказывать вполголоса в темноте... Свет сэкономили, и в больнице лампочки то горели вполнакала, то совсем гасли, и мы проводили вечера без света. Бывало, кто-нибудь расщедрится и выставит на свою тумбочку свечу, и вышивальщицы и вязальщицы с рукоделием присядут поближе к маленькому огоньку. Их тени мирно движутся по стенам и потолку, чье-нибудь лицо вдруг выступит из темноты и снова спрячется, а свеча лопочет острым язычком с серым хвостиком копоти. А за группой сгорбленных фигур окна сверкают от толстого инея, разукрашенного лунной, — голубыми и зелеными елочными блестками.

Если свет в палате не зажигали, то не закрывали окна шторами затемнения, и можно было сколько угодно смотреть на холодные квадраты окон, за которыми шла роскошная лунная ночь.

Неужели привидения мерзли на снегу и на ветру в своих длинных белых саванах? Ни одно не заглянуло к нам в окно, хотя я ждала их отчаянно. Старалась не заснуть, боролась со сном, как только могла, но всегда засыпала, не дослушав до конца очередной страшный рассказ. Зато днем в тихий час я могла сколько угодно размышлять, буду ли я после смерти привидением, доживу ли до таких лет, что стану бабушкой, и если умру старой, родят ли меня снова маленькой девочкой? Это мне казалось совершенно естественным: родиться, жить, состариться, умереть и вновь родиться... Но какой я буду

в той, новой жизни? Неужели точно такой же, как сейчас, и буду лежать в гипсовой кровати, и меня будет мучить боль в спине? А страшно ли умереть? Как это — совсем ничего не видеть, не слышать, не чувствовать?

Там, в больнице, фантазия начала у меня работать вовсю. Мне уже было пять лет, а я не могла ходить и бегать, брать в руки разные предметы, узнавать игры, разглядывать дома и деревья. Изо дня в день я видела одно и то же: беленые стены палаты, кусок неба в окне, нянечек, сестер, врачей и больных. Предметы тоже были одни и те же всегда. Тарелка, ложка, поильник с дудочкой. Я научилась есть лежа, поставив тарелку на грудь, и ничего не проливать, не ронять крошек. Больше нечему было учиться. А ведь ребенку надо беспрестанно что-то усваивать, открывать, обучаться новому и новому. И меня спасла от привычки к скуке и праздности страсть размышлять и фантазировать.

Повернув лицо к стене, покрытой побелкой, я могла лежать спокойно, как будто уснула, а на самом деле — сочинять интересную историю о трещине в стене, которая, хоть и была едва заметна, все же в самый светлый день хранила внутри темноту. И, наверное, в этой темноте жил таракан со своей семьей. Он разговаривал с детьми, шевеля усами. И они ему отвечали усиками. Они боялись света, но им очень хотелось посмотреть, что это такое — свет? И они тихонько подглядывали одним глазком и удивлялись... С ними происходили всякие приключения... Но приключения эти вдруг потеряли для меня интерес. Одной больной дали почитать Гоголя — «Вечера на хуторе близ Диканьки». И теперь мы каждый вечер, дрожа от страха и наслаждаясь, слушали Гоголя.

Да, мертвецы и бесы у Гоголя были не чета нашим больничным! Наши рядом с ними меркли. Они тихо струились над могилами в темную ночь, наводя страх на одинокого позднего путника, они возникали колеблющимся видением в ночной избе или на пустой дороге. Стучали в окно, сообщая о чьей-либо смерти. Самое страшное, на что они были способны, — это приходиться ко вдове, приняв облик ее покойного мужа, а когда она,

наученная мудрой бабкой, вдруг разгадает обман и сотворит крестное знамение, мертвец или бес обязательно исчезнет со злобным хохотом.

Совсем уж мелкие бесы хулиганили ночью в избе, как мальчишки: что-то передвигали, топали по потолку, скреблись, скрипели дверями, дули в лицо или завывали, кликая беду. Иногда они обливали водой перепуганную одинокую бабу, оцепеневшую от страха в темноте. Или подсовывали на пути бегущего мужика грабли, которые стучали его по лбу. Роняли хомут на старуху, выползшую ночью по нужде. Но главное их занятие было — пугать одинокого путника. Заманивать в болото или в яму, сбивая с дороги в метель. И еще развлекались, наводя порчу на девку или молодуху.

Конечно, все это было страшно.

Но уж если не поддашься страху или тоске, можно от любого, даже самого хитрого и злого беса откреститься. Но о таких чудящах, как Басаврюк и колдун у Гоголя, никто из нас и не слыхивал.

Меня больше всего поразили даже не мертвецы с когтями, вросшими в землю, с длинными бородами и волосами (живыми волосами у мертвых! они растут и растут сами по себе!). Конечно, жутко было даже представить себе, как они со стоном встают из разверстых могил и смотрят пустыми глазницами на лунную реку с замерзшей на ней лодкой.

Я не дышала от ужаса, когда Катерина, обезумев, металась по ночному лесу, и ее волосы путались в ветвях, и души некрещеных младенцев хохотали и катались в широкой крапиве! Эта широкая крапива! Она стелилась ковром, и по серебристому от луны ворсу этого ковра катился страшный, визжащий клубок...

Когда я еще ходила, я видела травы и деревья, но через год лежания в больнице представление о крапиве и березе стало неконкретным. Воспоминание, грёза, поэзия...

Книжек с картинками для детей у больных не было. Поэтому я могла воображать что угодно, слыша о «широкой крапиве». Голубоватая, прозрачная душа Катерины, которую вызвал колдун, для меня была гораздо реальнее, чем крапива...

И у Гоголя, и у моих сопалатниц было одинаковое отношение к миру. Все в этом гармоничном мире сосуществовало рядом: люди, русалки, домовые, черти, ангелы... Ангелы защищали от нечистой силы, которая только и стремилась вторгнуться в жизнь людей и сделать ее нечистой, и похитить душу грешника для ада. Человек оказывался всегда свободен сделать выбор: или отдаться своей страсти или желанию и попасть во власть нечистого, или обратиться за помощью к Ангелу-хранителю или к самому Богу, к святому или старцу. И тогда спасение приходило немедленно. И было, как награда за верность!

Конечно, этот мир был гораздо интересней, чем холодный, ненаселенный мир тех, кто спорил, утверждая, что Бога нет, нет ангелов, нет нечистой силы, нет души у человека, а только тело.

Даже вопроса такого — есть Бог или нет — не было, раз существуют видимые и невидимые силы и активно участвуют в общей жизни. И я чувствовала себя оскорбленной, как бы — ограбленной, когда меня в детстве пытались убедить, что никакого Бога нет, раз нельзя его исследовать и доказать материальным способом. Конечно, у меня не было аргументов даже для самого примитивного спора. Я просто обижалась, огорчалась, и мир для меня терял всю прелесть в том виде, в каком представлял его атеист. Мне говорили, что Гоголь все придумал, потому что он — писатель, а у писателей в голове одни фантазии. Смерть оказывалась просто какой-то черной чертой, обрывом. За чертой было — НИЧЕГО! НИЧЕГО невозможно себе представить!

У Гоголя и у простодушных женщин, окружающих меня, мир был устроен не только гармонично, но и разумно: жизнь человек проживает не зря, не для того, чтобы стать кучей червивого праха, удобрением для трав, а для того, чтобы многому научиться и многое узнать для дальнейшей жизни, когда душа оторвется от тела. Это так логично! Человек рождается беспомощным. Для того, чтобы он выжил, ему нужны заботы и труды других людей. А когда он вырастает, сам трудится для других и учится их любить. И после смерти все эти труды и зна-

ния не теряют своего значения, а благодаря им, душа продолжает жить в радости или в скорби. Получается, что ты сам строишь свое будущее существование, от твоих стараний зависит твое будущее — радостное или мучительное. Это вовсе не воспринималось как корыстное стремление заслужить награду в будущем за свою теперешнюю добродетель. Это был закон, по которому строилась логика жизни.

Когда я повзрослела, стала замечать, как удивительно многообразно добро. Каждый человек добр по-своему. Сколько оттенков у каждого доброго чувства и побуждения. Поэтому циничный умник часто ошибается, когда пытается истолковать логику поведения доброго человека.

Человеческая доброта красива. Нет двух одинаково красивых духовно людей. Черты лица ничего не значат, когда одухотворены добротой и умом. А типы злобы очень похожи. Как будто построены по одной схеме. И маски злобности отлиты по одной форме. Всегда можно предсказать поведение злого интригана или циника, или карьериста. Правда, трудно предвидеть поведение злого глупца. Но что уж говорить о глупцах... Их можно избегать. И все же у меня сложилось представление, что структура добра сложна и может варьироваться бесконечно, а структура зла примитивна, груба, какие бы изощренные побудительные причины ни приписывали злу умные люди.

Итак, мы лежали в своей тихой палате, читали Гоголя и болтали, а за стенами шла голодная военная зима.

Нас старались подкармливать, ведь все мы были туберкулезные, а тогда считалось, что туберкулезников надо усиленно кормить. Я помню, как однажды я отказалась от какой-то каши, все-таки у лежачих больных аппетит плохой. Няня стояла возле моей кровати с тарелкой в руке и уговаривала меня поесть.

— Слышишь, по радио дядька воет: «хочу-ууу хлеба-аа!», — сказала она. — Ешь, давай, а тот этот дядька прибежит и отнимет!

Радио в палате никогда не выключалось. Всегда ждали каких-нибудь сообщений. И не все люди нуждаются

в тишине, многих больных тишина угнетала бы, а радио отвлекало от печальной сосредоточенности на своих бедах.

Я тоже привыкла к радио и не замечала его, только пение и музыка привлекали мое внимание. Это была главным образом классика, арии из опер и оперетт и народные песни. Правда, песни были не совсем народные, советские композиторы приложили к ним руку, но что-то традиционное, старинное сохранялось. В народные хоры брали крестьян с хорошими голосами, среди популярных эстрадных певиц были исполнительницы народных песен. В тот раз, когда няня пугала меня голодным дядькой, по радио пела Русланова. Своим мощным голосом она умела передавать это основное настроение русской песни — тоску, от которой, кажется, сейчас задохнешься или сердце остановится. Даже в самых разудалых плясовых я слышу не радость, а отчаянное веселье — веселье от отчаяния, когда человек так устал от своих горестей, что решил махнуть на все рукой и развеять грусть — тоску, утопить ее в песне, дикой пляске с визгом. Разрядился — снова можешь терпеть...

И тоску и безнадежность, и тревогу и усталость испытывали тогда чуть ли не все женщины в тылу, и они очень любили Русланову и ее песни.

Я любила все то же самое, что и окружающие меня женщины, их любви и неприязни питали мою душу — все они были моими матерями, и я безраздельно им доверяла.

Но и тоска, и тревога были для меня другими. Заунывная русская песня связывалась в моем воображении с бесконечными снегами, сумерками над снежным полем, где нет ни огонька впереди, ни надежды согреться и поесть. По такому полю мы шли, когда наш поезд с эвакуированными куда-то исчез, растаял с печальным гудком в вечерющем морозном воздухе. А мы, группа женщин с детьми, остались со своими городскими чемоданами на истоптанном голубом снегу. Везде, куда ни помотришь, только снега, бесконечные, мягкие волны, белые, наливающиеся синевой. Всемогущие взрослые растерялись, всплакнули и пошли по узкой тропе через

поля, изнемогая под тяжелой ношей из чемоданов и младенцев, закутанных в одеяла. Все мы оказались маленькими в огромном снежном пространстве, в тишине. Не стучали колеса, не гудела печка. Ни разговоров, ни плача, ни песни. Тишина.

Как тяжело мне было идти по следам больших ног! Они были слишком глубокие: мне — по колено. Валенки сминались с ног, холодно в валенках и мокро, когда они полны снега.

Наш путь казался бесконечным. Мы выбивались из сил, а деревни все не было.

Где осталось все наше: дом, игрушки, кроватка с теплым одеялом и куклой на подушке? Где папа? Мой мир исчез. Остались снежные поля, где быстро темнело и поднимался ветер, от которого вся белая равнина задымилась. В этой равнине я была никому не нужна, могла утонуть в снегах вместе с другими детьми и женщинами...

Больные женщины любили петь. Они вкладывали в свое пенье всю душу, всю горечь, страх, надежды, от их пения всегда хотелось плакать. Разве это забудешь? Зимние сумерки — от них окна наливаются чернильной синевой, а все вещи в палате и лица — сереют, становятся печальными. И кто-то запеваёт низким голосом, но в нем звучат слезы, песня вот-вот оборвется, тут ее подхватывают другие, сначала неровно, не в лад, но вскоре песня выравнивается, взлетает, воспрянув, и долго и нежно кружит над темно-голубым от сумерек потолком.

Опускались черные шторы затемнения. Загоралась голая лампочка на сером проводе в центре потолка, и песни кончались.

Вечерами женщины гадали. Это была общая страсть. Гадалка сидела на своей койке, а вокруг толпились в нетерпении больные. У каждой было свое горе. Но главное: что там, на фронте, с братом, мужем, сыном, племянником, женихом... Гадание большей частью раскладывалось на крестового короля или «вальта». Больше всего боялись близости к королю или «вальту» пиковой дамы. Дама пик означала смерть.

Если женщина, которой гадали, вдруг видела, что ей слишком часто выпадает дама — смерть, начинала пла-

кать, убиваться, гадалка ей говорила: — А ты не плачь, не прикликай горе! Ты молитву Божьей Матушке читай... — И повторяла в благоговейной тишине свою молитву:

*Пречистая Божья Матушка, Мария,
Где спала-почивала? Я спала-почивала
У Господа Бога за престолом,
Под белою пеленою
Горела неугасимой свечою,
Мало спала, много снов видела:
Нашего Христа распинали,
На головушку дерновый венец надевали,
По ручкам, по ножкам гвозди убивали.
Пошла Матушка Мария во царские двери.
Заплакала-зарыдала.
Не плачь, Матушка Мария!
Твой сын третий день на распятьи.
Схорони его во сырой земле,
И расступится мать-сыра земля,
И твой сын из могилы выйдет,
Из земли на третий день встанет,
И матушку родную обнимет!*

Женщины верили, что когда нахлынут отчаяние, тоска, надо их срочно гнать, чтобы не накликать беды. Надо звать Божью Матушку, уж она-то поможет, отведет черную тучу, что висит над головой.

Женщины пытались вспомнить приметы, что предвещали войну. Не могла она начаться так, без предупреждения, всегда перед большой бедой появляются знаки, которые надо понимать...

— А у нас перед тем, как случиться войне, вот что было. Лежит старший брат на кровати с женой, отдыхают. Жена уснула, а он смотрит — к нему подходит фигура — кто-то лохматый, лица не видать. Подошел и стал гладить брата. И гладит, и гладит... Брат не утерпел, спрашивает: — Ты к худу или к добру? — Лохматый отошел и гудит: — К худу-ду-уу! К ху-ууду-уу! И на другой день началась война. Брата сразу мобилизовали, он

пропал без вести... Где лежат его косточки?

— А у нас-то! Это со мной было. Все ушли на поля, я сижу за столом, вышиваю. Вдруг кто-то на печке как зарыдает! И рыдает, рыдает! Громко! Я настрополила уши, слушаю, потом как выскочила, как дверью хлопну! И пока наши не пришли, я сидела на крыльце. Оказалось, войну объявили...

Эти и другие рассказы я собрала много позже, тоже в больнице, тоже в костно-туберкулезной, где лежали подолгу. Не могла я так подробно запомнить все разговоры тогда, в пять лет. Но об одной боли люди говорят похожими словами...

«Я войну, знаешь, за что не люблю? Война есть война, но зачем они людей мучали? У нас одна женщина бежала на мельницу; за семь километров, у ней пять детей ждало, она бежала муку смолоть. А у немцев машина взорвалась. Они увидели, что женщина бежит через поле, засекли ее и нашли. И потом повесили. Но не за шею, а — представляете — за челюсть!»

«Мужики воюют, а зачем дети страдают?»

Этот же вопрос задавали женщины и в те дни моего детства, когда в далеком от войны Омске рассуждали о войне. И подходили ко мне, жалели меня и задаривали меня кусочками сэкономленного сахара, обрывками бантика — кто чем мог. Они считали, что Бог сразу же учитывает все добрые дела и воздает добром. Вот они сироте дали сахар, и их мужьям или сыновьям кто-то даст гостинец. А может быть, даяние матери ответит пулю от родного человека...





Елена ОГНЕВА
СТРАСТИ ГОСПОДНИ

Тайная вечеря

1

*Весело циновками
Пол устилать,
Скамьи расставлять,
Тебя ждать.*

*Стою и жду:
Вот Ты войдешь,
Глазами мои глаза
Найдешь.*

*За сердце рванул
Страха зверь:
Открылась дверь.
Спрячусь ли теперь?*

*К чему страх?
Мое сердце давно
В Твоих глазах,
Мое сердце
Давно в Твоих руках.*

2

*Вот Ты препоясался
И стал служить:
Нам всем по очереди
Ноги мыть.*

*Разве я это стерпеть мог?
«Вовек не умоешь моих ног!»
«Тогда не имеешь части со мной!»
«Господи, всего меня умой!»*

3

*Пир к концу идет.
Кто там встает
Во главе стола?
Чашу Твоя рука
Подняла:*

*«Это Моя Кровь».
Господи, как бессильна наша любовь!
Последний кусок
Ты разломил:
«Это Тело Мое»*

И кончился пир.

24 ноября 1982 г
Москва

Ученики

*Мы крепко спим. И аромат вина —
И хлеба вкус — недавняя отрада —
Сном скованы, и странно вплетена
В сон память смутная оливкового сада.*

*О, дрожь во сне! О, сердце! О, смятенье!
Ты будишь нас. Ты — здесь. И Твой укор
Под шелест сада в глубь души ушел.
И снова — глух наш полуночный сон.*

*И пот, и кровь. Так тяжело все во сне.
Иль вся тоска пригрезилась мне?*

*Мы крепко спим. И канули слова,
Как в омут, в сон. И видятся едва
За трауром листвы, за сонью глаз
Твои глаза, глядящие на нас.*

Уж близок час.

*7 сентября 1982 г. Н. Д.**

Иуда

«... Ни лобзания Ти дам, яко Иуда...»

*Стремительно хлеб
В соль обмакнул.
Стремительно вышел.
В голове гул
Страшных слов:*

*«Делай скорее,
Что сделать готов».*

* село Новая Деревня Пушкинского района Московской области

*Скорей идти,
Идти, не стоять.
Скорее дело начатое кончать.*

*Стремительно объятье,
Скор поцелуй.
«Радуйся, Равви!»
В голове — гул
Тысячи голосов.*

*В траве не слышно шагов.
«Зачем ты пришел, друг?»
И — тихое движенье рук.
Остановился вдруг.*

*Куда спешить?
Кого ненавидеть? Кого любить?
В сердце Иуды
Не проникнет свет
Никогда, ниоткуда.*

У Иуды сердца нет.

4 октября 1982 г. Н. Д.

Отречение Петра

*Дрожь и холод всю ночь.
Терпеть уж не в мочь,
Поближе к теплу костра...
«Ты был с Ним вчера?»*

*Трижды дан ответ:
«Нет!»
Внезапный взгляд.
Поздно!*

*Где путь назад?
Поздно ты пропел,
Петел!
Ведь я трижды ответил...*

22—23 ноября 1982 г.
Москва

Крестный путь

*Кровь на каждом шагу
Твоего пути.
Устал Ты, Господи,
Крест Свой нести.*

*Венок Твой колется,
Струями пот.
Кто любовью его
С чела оботрет?*

*Мне ль у Креста
Твоего стоять,
Где стояла Мать?
Только бы выстоять.*

Только не упасть...

13—14 октября 1982 г. Н. Д.

Снятие со креста

*Внезапно отяжелело
Измученное тело.
Недвижность и холод —
Разве это Ты?*

*Кто сковал Твоего лика
Живые черты?
Несовместимо —
Смерть и Ты.*

*Рыданье стынет,
Беззвучен вздох.
Пеленой Тебя одели
С головы до ног.
До самых окровавленных ног.*

15 октября — 1 ноября 1982 г.
Москва

Pietà

«Не рыдай Мене,
Мати...»

*Всего, чего Ты хотел,
И Я хотела.
Но вот легло Мне на руки
Окровавленное тело.*

*Это Ты, Кого я родила,
Кого жизнь у Меня отнять не могла.
Но Ты Сам Себя предал
Своей судьбе.*

Как же Мне не рыдать о Тебе?

23 ноября 1982 г.
Москва

Положение во гроб

*Тяжелое тело
В пещеру положили.
Наспех тяжелым
Камнем прикрыли.*

*Тяжело безумие.
Что мы совершили?
Разве можно схоронить
Любовь в могиле?*

*Разве Твоя любовь
Вокруг не цветет?
Разве есть мертвые?
Разве Ты — мертв?*

15 октября 1982 г. Н. Д.

* * *

*«Крест — хранитель всей вселенной!»
Поклоняемся Кресту.
Над толпою вдохновенной
Крест воздвигнут в высоту.*

*Снова язвы гвоздиниче
На стопах Твоих, Иисус,
Снова красна рябина,
Снова Тебе молюсь.*

*Снова Ты заушаем,
Снова в Тебя плюют.
В сердце моем, распинаемую,
Снова Любовь пою.*

*Крест, над миром вознесенный!
Как избыть нам пытки ад?
Крест, хранитель всей вселенной!
Ты закрыл пути назад.*

27 сентября 1982 г.
Воздвижение Креста Господня.
Москва

Сошествие во ад

*И свет, и тень.
Но как, скажи, сошел Ты в темь,
Где света нет?
Ты — Суций Свет?*

*И стены ада
Не взорвались. И чистая ограда
На ветхих праотцев прохладой
Истекла.*

*И проросла
Травую черною земля.
И стон проник до дна,
Надежда где погребена.*

И упряднилась тьма.

22 ноября 1982 г.
Б. М. Скоропослушница



О ЕЛЕНЕ ОГНЕВОЙ

Елена Александровна Огнева умерла в Преполовение Пасхи 1985 года. Мы хоронили ее на Ваганьковском кладбище. Мы пели ей «Христос воскрес» и все пасхальные стихиры. И пел, почти заглушая нас, соловей в листве черемухи. И скорбно звучал саксофон, впервые выводя звуки в день ее смерти написанной пьесы — «Пылающие стрелы». И все мы были пьяные от горя и ошеломляющей реальности Воскресения.

А когда на 9-й день мы с дочкой зажигали красную свечку, укрепив ее на большом щелястом, сером от 20-летнего — под всеми дождями и снегами — стояния, вросшего в землю, ставшем почти деревом — Кресте (20 лет ее вдовства, и Крест — ее, с выжженным огненным именем: «Огнев Борис Алексеевич, архитектор и художник»), в листве и ветвях, и шорохе крыл, где все было — возносимый огонь (лиственный, воздушный, пеяние весеннего тока от травы и земли), — ветром принесло фразу — говорили, похоже, кладбищенские работники: «Тут хоронили знаменитого джазового музыканта». Уже — легенда (под именем — не своим: мужниным; как юродивая Ксения Петербургская).

Страстные стихи Елены Огневой — картинки-станции, подобные изображениям Крестного пути — страстей Спасителя, какие можно увидеть на стенах в костеле, — просты и документальны, как само Евангелие. Это то, о чем Марина Цветаева мечтательно провозвещала, — нечто, большее литературы, превосходящее, преодолевающее литературу, стихи — больше поэзии.

Она прожила недлинную жизнь — всего около 60 лет, и душа ее была мудрая — и совершенно детская: «... Но Звезду Твоею все детство мое я играла...» (детство: вся жизнь).

Стихи пришли поздно, в конце жизни (в последние 3—4 года). Это было настойчиво и неотвязно. Елена Александровна писала статью о Рильке и его издателе Киппенберге. И она жаловалась мне по телефону, что вдруг пошли стихи — мешают, отвлекают от статьи. «Не знаю — что с ними делать?»

Она не считала себя поэтом и была очень неуверенна в себе, пыталась следовать советам завзятых «литераторов», которые упрекали ее в шероховатости, необструктивности, советовали то тут, то там заменить рифму на более благозвучную или рифмовать там, где у нее — ассонансы. Слава Богу, что по моему настоянию не стала ничего исправлять, оставляя стихи так, как они были услышаны ею, оставив втуне поэтические заботы о благозвучии.

Авангардные стихи. Опережают возраст и время — и отбрасывают ниточку-связь к первохристианской, катанкомбной простоте и красоте.

В ее последнюю Пасху мы были вместе, и я была первым зрителем сделанного совместно слайд-фильма «Страсти Господни» (мы с братом делали музыку, Е. А. читала. Зрительный ряд, ею подобранный, я увидела впервые). Она составила его из того, что больше всего любила: Равеннские мозаики, Рублев, Микельанджело, Лурдские скульптуры. Вся полнота христианства — в картинках, как и в звучании. Пример: «*Pietà*» (католический образ) — а в стихи вплетено эпитафией стоящее — из песнопений русской службы Великой субботы: «Не рыдай Мене, Мати». («Как же Мн^е не рыдать о Тебе?»). Каждый стих — картинка, страшное кино, страшный документ. Он же — и молитва, и размышление, медитация. Документально и ярко, и страшно — изнутри: изнутри страдающего Господа, изнутри — и в ужасе, в страхе и возможности отречения, в горестном осуждении — учеников. Тогда — и сквозь века, через всю историю человечества, ученичества (человечество, так трудно обучающееся христианству)...

Человеком она была веселым и легким. На людях.

Образование: биолог. Ее вынуждали донести на отца, профессора-историка (его среда — средневековье, Германия), когда она училась на филфаке в университете. И она ушла на биологический и стала орнитологом. «Посмотрите на птиц небесных...»

В храме была — при огне (свечах). Огненная икона: Казанская, ее письма — в правой стене у алтаря, и мало кто помнит, что эта большая, приметная икона писана

была Е. А. Огневой. А я каждый год на Рождество зажигаю живой свечной огонь на ее елке (у меня рождественские игрушки из дома Елены Александровны — еще до самой первой мировой войны).

Год назад я перепечатывала ее стихи для друзей, и как-то очень-очень заскучала по ней, соскучилась — как можно в детстве соскучиться.

Белой тенью (это была она) за ширмы, за пианино метнулась неспешно.

Она подпевала нам на собственной панихиде (дома), когда мы с кладбища вернулись. Я слышала рядом, прямо к уху, ее фальшивый голос. В тот день я и познакомилась со старушкой, дружившей с ней все детство (потом их жизнь развела на десятилетия, и встретились за полгода до смерти Елены Александровны — на Ваганьковском кладбище; случайно — каждая пришла к своим родственникам — и узнали — через десятилетия — друг друга, и, уже миновав друг друга на тропинке — обернулись и назвали по имени). А познакомились они вот как. Девочка (не Е. А., другая) — гуляла во дворе и увидела в одном из окон дома на Б. Бронной елочные огни, горящие на елке свечи. А елки в то время были запрещены, и это было настоящим риском. И вот девочка по окну определила расположение квартиры и отправилась в дом, где горела рождественская елка. В дом Елены Александровны.

...Та елка в окне. Тот крест, горящий (он сгорел, ушел в бесплотность), и теперь ее тело придавлено мертвым камнем в земле — заботами хозяйственных доброхотов, полагающих мрамор вечнее дерева. Сгорел тут же, как только на его место водрузили плиту, а его прислонили рядом, к ограде. Я узнала его, видя курящийся остов в мусорной куче. Но другим зрением, более очевидным, вижу его горящим вертикально, как он и стоял, в трепете и шорохе кладбищенской листвы, ангельских и птичьих крыл, горящий и несгорающий. Та белая тень, метнувшаяся неспешно за ширмы. И — ее ответ, во сне — духовнику, спросившему: каково было — переходить грань умирания: — «У меня той памяти нет».

О. Ерохина



Венедикт ЕРОФЕЕВ

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

1.

Я вышел из дому, захватив с собой три пистолета, один пистолет сунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню, куда.

И, выходя в переулок, я сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струй и душевредительство. Божья заповедь “Не убий”, надо думать, распространяется и на самого себя (не убий себя, как бы ни было скверно), — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день — вне заповедей. “Ибо лучше умереть мне, нежели жить”, — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так».

Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи

распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца — тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, которые меня чуть-чуть подогревали, — тоже исчезли и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попрдержало бы меня на этой земле. Она уходила — я догнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благоволенная, останься». Она повернулась, плюнула мне на ботинок и ушла навеки. Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня это не получалось. Я истреблял себя полгода. Я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома над головой я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флерд'оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, останавливался у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ни был ты, доставший мне эти три пистолета, — будь четырёхжды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа вся распухла, слезы текли у меня и спереди, и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь освежающее, например, такое:

Ренан сказал: „Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности“. Изящно сказано, но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет. И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), и пламенный пошляк Хафиз сказал:

„У каждого в глазах своя звезда“. А вот у меня ни одной звезды ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: „У каждого в душе должен быть свой комиссар“. У меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не поднимаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий — не помню, откуда, — из всех трех, разом выстрелил во все виски — и опрокинулся на клумбу с душой, пронзенной навывлет.

«Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них нет больше ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а, может, не только пена. «Спокойно, тебе остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии. Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню, кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: „Анималиа омниа пост соитум опресси сунт“, то есть „каждая тварь после соития бывает печальной“, а я вот постоянно печален, и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский сказал: „Одним глазом я уже не вижу ничего, а другим — лишь очертания любимой женщины“. А я не вижу ни единым глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: „В этом мире явлений...“» (Тьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы). Я дернулся два раза и зашагал дальше в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает, что еще.

Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи, — так подумал я и постучал: «Отвори мне, Павлик». Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал. «Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи».

«О, я ненадолго. Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике!» Я взгромоздился к нему на пуфик и умолял: «Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волокни все!»

Он ответил: «Не дам».

«Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты куда лечи бленоррею».

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару генококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, придурка, ни одного генококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я что-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду сделать что-нибудь после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (о нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял на меня все свои брови и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной: «А Василий Розанов сказал: „У каждого в жизни есть своя Страстная неделя“. Вот и у тебя...»

Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная

неделя, и на ней семь страстных пятниц. Как славно! Кто он такой, этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном. «О чем ты думаешь?» — спросил я его. Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

3.

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал подмышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутылку с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

— Более махрового, более одиозного — тоже нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая! Мракобес?

— «От мозга до костей» — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил. Царство ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое.

— В какой-то степени, да.

— Волшебный человек! Как только у него хватило желчи и нервов, и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небызызвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном компоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Николай Катков, Константин Победоносцев «простер свиные крыла», Лев Шестов, Дмитрий Мережков-

ский, Фаддей Булгарин («не то беляк, не то поляк»), Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин «по Невскому бежит собака», Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо.

— Да, славная женщина, Софья Соломоновна Гордо. Относительно «банды» я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутылку с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, — и непривычно, и неточно; Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше, как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по стороне, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, об этом я, допустим, тоже знаю от нашей классной наставницы Беллы Борисовны Совнер, женщины с дивным... (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, потвоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я уйду.

— Умер, как следует. Обратился в истинную веру часа за два до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконал, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4.

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я раз-

вернул наугад и начал читать с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина:

«Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо „давать читать“. Книга, которую „давали читать“, — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и библиотеки — суть публичные места, развращающие народ, как дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь шла не о развратницах-книгах, а просто о развратницах:

«Можно дозволить очищенный род проституции „для вдовствующих замужних“, то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развратными ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняка.

А потом я повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?» «Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». У обскуранта — и вдруг томится душа? «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем поговорить).

«Только горе открывает нам великое и святое». «Боль всепредметная беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того

тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, „состав не выдержит“». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?» «Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда. Грусть — моя вечная гостья». «Смех никого не может убить, смех придавить только может. Терпение одолеет всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля». «Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда не отходи».

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью).

«Русское хвастовство и русская лень, собиравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция». И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах: «И пишут, и пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, «страдалец», царям земли напоминать о Христе):

«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишко, не Спенсеришко в 20 томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад? Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку надо драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких разговоров с ним нельзя было водить? Что просто следовало вывести за

руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять?» (Как это может «страдалец» — вонять?)

И о графе Толстом:

«В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю их души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их „философия и публицистика“. Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водичке какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает и опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения: «За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитывать кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и брeнная — тоже уснула.

И когда духовная проснулась, брeнная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно:

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете

и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

(А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал).

Войдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным роздал по подзатыльнику.

(О, шельма, — сказал я, путаясь в восторгах).

А он, между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся на канапе и шепотом спросил:

«Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?»

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

«Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно, или ты всю ночь путался с б...ми?»

«Путался, и даже с тремя. Мне дали их вчера почитать, потому что мне было скверно. „Книга, которую дают читать...“ и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретисцем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...» Меня прорвало, и я на память пересказал свой вчерашний день, от пистолета до ползучего гада. И тут он пришелся мне совсем уже по вкусу, мой гость-нумизмат:

его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и о Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, что еще высказать, чем высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в 3000 слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но подробнее я не знал), о Павлике Морозове и о разрезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустил плечи. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине. А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

Когда израильтяне ездили на юг к измаильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг к измаильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старый Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми,

не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь, а если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми? Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно»,

6.

И тут меня прорвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменялось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по заграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли и перевешались. И, наверное, слава Богу, остались только простые, честные и работающие. Г...на нет, и не пахнет им, остались только брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подышаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кашей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умяляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев.

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань говорить околесицу...

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут говорить околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное поведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, один я только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал троих девок и с десятков мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони дупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого нет ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и то только потому, что у меня изжога и на спине два пупырышка...

(«Хо-хо, — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — природный идиот. Вернее, нет, мы разнимся как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придури от глубокой припи . . нутости (100000 тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мою душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и сказочного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумий уйду, у меня есть опыт в этом, и у меня под рукой яд, благодарение Богу. — Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давась от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной минуту, а потом сказал:

7.

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук

сто тридцать невольных, позаботься сначала о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть место и для твоей (как ты сладостно выразился) припи..нутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того: «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли». Он же постоянно правдив. Благо тебе, если увидишь его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежутков. Все было недавно. И оставь свои выпренности, все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь снова домом молитвы. «Но нежная идея переживает железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и повернуть в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное — никогда не разрушится, — одно благородное».

Он мне еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось лет десять до того, все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помой, переполняло чрево и душу, и просилось вон — оставалось прибежать к самому проверенному из средств: изблевать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишушей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после этого я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозга — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен вне всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего в эрц-герцога Франца-Фердинанда пулю. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрц-герцога, собственно, и ничего бы не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитезируется?

Я ответил бы: «Чувствую. Теитезируется».

И ответил бы иначе, чем еще позачера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и бляенье, бляенье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемежку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерственных образцах и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. «Неумело» «благоворить» и «по пустякам анафемствовать».

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?»

Я не знаю лучшего миссионера, чем повалившийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя: «О вздохе, о свиньях? Вздох богаче царства, богаче Ротшильда, вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К „Вздоху“ Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох, у них нет — вздоха».

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

а где терновый венец, и гвозди, и мука.

И если придется, я защищу все это, как сумею.

И если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это в самом деле так, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей, и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случилось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся неизблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки, уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение», — если все это мне скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларация человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в Европе) ни одна мелочь не застилала глаза.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозго.бателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто **УСПЕТЬ ДОНОСИТЬ СВОИ БАШМАКИ**.

Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать цену и суметь отвратиться от всех них. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть понаторевшим в пустячной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от той **ГИГАНТСКОЙ ЛЖИ** — (все дурни знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им,

засранкам, ответу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства, у масштабных преступников глаза не шевелятся. У лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его когда-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто не знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех). Эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего он и не позабавится иногда языческими кунштюками, если бы это, допустим, и в самом деле были только кунштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсии в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там его и без того каждая собака знает. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы — каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салоп, с книгами подмышкой. В такой поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами подмышкой. А я вот пошел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До 30 лет, после 30 — какая разница? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Он успел, правда, откусить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою мамá атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навывторяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше от темени до подошвы ног!»

(Прелестная формула).

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из

дому, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно. Если вам, что ни день, — хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе). В вашей грамотности и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях, — будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты. Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проб...ь Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятья. Меньше было бы заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдки? Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы пройдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру подлые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал вот сейчас на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили Созвездия.

Июнь 1973 г.





Лилит КОЗЛОВА

РИМСКИЙ СЕМИНАРИСТ И СКАЗОЧНЫЙ МЕДВЕДЮШКА

*(По поэтическим следам второй книги стихов
Марины Цветаевой)*

Проникаясь — проникаю.
Марина Цветаева

Волшебный фонарь, второй цветаевский стихотворный сборник, с начала 1912 года — уже 77 лет, — не привлекая внимания исследователей, мирно пылится в фондах крупных библиотек. Стихи там, за малым исключением, не датированные, многие — с виду — юношески, даже порой детски незрелые, иногда лишь упоминаются в печати, но не удостоиваются ни публикации, ни серьезного анализа. Это — цветаевские «древние века». Но период, когда многие из них появились — декабрь 1910 — ноябрь 1911 года, — настолько значим для Марины, что одно это уже делает их интересными — зеркалом тех переживаний, событий, решений. И — рассеянные среди разных других — в «Волшебном фонаре» есть и стихи, адресованные Максимилиану Волошину.

Цветаева и Волошин. Когда называют эти два имени рядом — возникает образ почвы — и дерева: они познакомились, когда Волошин уже состоялся, определился, нашел себя, а Марина — еще только наметилась. Волошин оказался той благодатной почвой, на которую она ступила в сложный переломный момент своей жизни. Если попытаться сразу охватить значение Волошина для будущей выдающейся поэтессы — Поэта, — то станет ясно, что тут двумя словами не обойдешься. Это источник ее поэтической уверенности: в газетной рецензии сразу так оценил ее стихи! Источник ее — на всю жизнь — литературных интересов и ряда поэтических образов. Это — на многие годы — ее духовный отец и наставник, собеседник, адресат — и товарищ по походам, ее добрый «сказочный медведюшка», с которым делишься и советуешься — о взглядах на мироздание — не о поступках. Это — источник радости и поворота ее в сторону жизни: ему «я обязана ... целым рядом блаженных лет (от лето) в его прекрасном суровом Коктебеле». Он повернул — произвольно — и ее женскую судьбу: ведь со своим будущим мужем она познакомилась именно там, в гостях у Волошина. При каких обстоятельствах ему, 33-летнему поэту и художнику, 18-летняя гиназистка вручила свое первое детище — только что вышедший «Вечерний альбом», — сейчас сказать трудно. Дарственная надпись — как поэт поэту, на равных. В ней она благодарит за прекрасное чтение о Вилье де Лиль Адане, поэте 19 века. Подписано — «Марина Цветаева», и дата — 1 декабря 1910 года. Этот экземпляр первой книги Марининых стихов по сей день хранит карандашные пометки — следы работы над ней Волошина. Его реакция была быстрой и эмоциональной. По горячим следам прочтения он отзывается не только блестящей газетной рецензией, но и стихами, которые присылает по почте после первого посещения дома Цветаевых:

*К вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать*

*От страниц Вечернего альбома!
(Почему альбом, а не тетрадь?)*

*Ваша книга — это весть оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо — есть!*

Самое главное было названо — чудо! Это было узнавание родственной души, разница в возрасте для него роли не играла.

Марина, хотя и «разрывается от восторга», получив «первые хорошие стихи», но чувствует пока себя неловко, скованно, настороженно: незнакомый — кто знает?.. И вот через несколько дней поэт — поэту отвечает тоже стихами:

*Безнадежно—взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя и Вам нужны игрушки,
Потому я и боюсь ловушки,
Потому и сдержан мой привет.
Безнадежно—взрослый Вы? О, нет!*

*Вы дитя, а дети так жестоки:
С бедной куклы рвут, шутя, парик,
Вечно лгут и дразнят каждый миг,
В детях рай, но в детях все пороки, —
Потому надменны эти строки.*

*Кто из них доволен дележом?
Кто из них не плачет после елки?
Их слова неумолимо—колки,
В них огонь, зажженный мятежом.
Кто из них доволен дележом?*

*Есть, о да, иные дети — тайны,
Темный мир глядит из темных глаз.*

*Но они отшельники меж нас.
Их шаги по улицам случайны.
Вы — дитя. Но все ли дети — тайны?!**

Как это настороженное стихотворение перекликается с другим — «Только девочка» из «Волшебного фонаря»:

*Я только девочка. Мой долг
До брачного венца
Не забывать, что всюду — волк,
И помнить: я овца.*

*Мечтать о замке золотом,
Качать, кружить, трясти
Сначала куклу, а потом
Не куклу, а почти.*

*В моей руке не быть мечу,
Не зазвенеть струне.
Я только девочка, — молчу.
Ах, если бы и мне*

*Взглянув на звезды, зная, что там
И мне звезда зажглась,
И улыбаться всем глазам,
Не опуская глаз!*

Не сразу ли после первого посещения Макса в ней засветилась робкая надежда на счастье?

Возникшая дружба, по всем данным, стала эмоциональным выходом для обоих: Макс приносил и присылал Марине всё новые книги, Марина, впервые столкнувшись с жизнью и ее проблемами, — шла изливаться и советоваться к «своей единственной приятельнице, старшей ... на двадцать лет». Это была Лидия Александровна Тамбурер, шутиливо прозванная Драконной.

* Публикация В. Купченко. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1975 год. Л., 1977.

О чем они говорили? Что волновало юную Марину? Судить об этом нам помогают некоторые ее стихи «до-коктебельского» периода, вошедшие в «Волшебный фонарь» и написанные именно в эти месяцы. Они легко отличимы — позже звучание ее лиры резко изменилось и из неопределенного, сомневающегося, беспомощно-минорного перешло в Коктебеле в жизнеутверждающий мажор.

После своей первой платонической любви к отвергнутому ею В. О. Нилендеру, Марина уже год тяжело переживает свой «крест» самоотречения, испытывает «глубокое недоверие к настоящей реальной жизни», не верит — и все же верит в возможность счастья — потому что забрезжил рассвет — с появлением Макса. Вот такая напряженная, мятущаяся душевная противоречивость, болезненный самоанализ — и в ее стихах:

*До первой звезды (есть ли звезды еще?
Ведь всё изменяет тайком!)
Я буду молиться — кому? — горячо,
Безумно молиться — о ком?*

*Молитва (равно ведь, о ком и кому!)
Растопит и вечные льды.
Я буду молиться в своем терему
До первой, до первой звезды!*

(«До первой звезды»)

А вот стихотворение «Два исхода»:

*Со мной в ночи шептались тени,
Ко мне ласкались кольца дыма,
Я знала тайны всех растений
И песни всех колоколов, —
А люди мимо шли без слов,
Куда-то вдаль спешили мимо.*

*Я трепетала каждой жилкой
Среди безмолвия ночного*

*Над жизнью пламенной и пылкой,
Держа задумчивый фонарь...
Я не жила, — так было встарь.
Что было встарь, то будет снова.*

Но — противовесом этому мрачному предчувствию — вторая часть этого стихотворения, где чей-то голос снова повторяет всё — слово в слово, — обращаясь к ней, и сулит ей выход из тупика жизни:

*... Ты не жила — так было встарь.
Что было встарь, — не будет снова.*

В тот период Марина считает, что быть счастливым — «глупо и даже неприлично», — об этом мы узнаем из ее письма к Максу, написанного почти год спустя — 28 октября 1911 г. А вот и стихи — «Если счастье...» с посвящением своей собеседнице, Л. А. Тамбурер:

*Если счастье стукнет в дверь
Через годы иль теперь,
Я «войди» ему. поверь,
Не отвечу!*

*Если счастьем я нужна,
Пусть померзнет у окна,
Пусть заслужит (чья вина?)
Эту встречу.*

*Если счастья голос тих,
Если речь его, как стих,
Лаской каплей дождевых
Бьется в крышу —
Я подумаю: «Не мощь
В этих звуках: это дождь
Прилетел из темных роц».
Не расслышу!*

*Если счастья голос горд,
Как воинственный аккорд,
Если мощен он и тверд
Властью ада, —
Я скажу ему: «Ты зверь,
Ты на жертву рвешься в дверь!
Этих ужасов, поверь,
Мне не надо!»*

(*Не окончено*) — так значитесь в книге Марины.
Ей же, ее старшей поверенной, Тамбурер, посвящена
«Жажда»:

*Наше сердце тоскует о пире
И не спорит и все позволяет,
Почему же ничто в этом мире
Не утоляет?*

*И рубины, и розы, и лица, —
Все вблизи безнадежно тускнеет.
Наше сердце о книги пылится,
Но не умнеет.*

*Вот и юг — мы томились по зною...
Был он дерзок, — теперь умоляет...
Почему же ничто под луною
Не утоляет?*

Как общая тональность и смысл этих стихов перекликается с письмами Марины Максу Волошину из Гурзуфа в апреле 1911 года, где она провела месяц до Коктебеля, поглощая книгу за книгой: «Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умешь и хочешь жить сам» (18 апреля). (Сравним: «*Наше сердце о книги пылится, Но не умнеет*»).

Та же смятенность, что и в стихах, — в другом месте того же письма: «Я мысленно всё пережила, всё взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю

еще нераспустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит, я не могу быть счастливой? Искусственно „забываться“ я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно — не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад. Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Я мучаюсь и не нахожу себе места...» (18 апреля).

Или вот строки о море, которое уже столько дней перед глазами, и мысль — черпнуть сил из его необъятности — так заманчива: «Я смотрю на море — издалека и вблизи, опускаю в него руки — но всё оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя. Сделаться волной? Но буду ли я любить его тогда?» (6 апреля 1911 г.).

Как предвосхитила Марина этими размышлениями о волне самое себя, ту, которая позднее, в 1920 году, разразится ликующим: «Я бренная пена морская!» А пока она обращается к морю с молитвой:

*Солнце и звезды в твоей глубине,
Солнце и звезды сверху, на просторе.
Вечное море,
Дай мне и солнцу, и звездам отдаться вдвойне.*

*Сумрак ночей и улыбку зари
Дай отразить в успокоенном взоре.
Вечное море,
Детское горе мое усыпи, залечи, раствори.*

*Влей в это сердце живуя струю,
Дай отдохнуть от терпения — в споре.
Вечное море,
В мощные воды твои свой беспомощный дух
предаю!*

(«Молитва морю»)

Такая же измученность — и в «Молитве лодки» — молитве о тихой гавани.

И — мысли о прошедшем детстве, когда они с сестрой, младшей Асей, уютно росли в «розовом домике» — ограниченном мире своего дома в Трехпрудном:

*Меж великанов-соседей, как гномик,
Он удивлялся всему,
Маленький розовый домик,
Чем он мешал и кому?*

*Чуть потемнеет, в закрытые ставни
Тихо стучит волшебство.
Домик смиренный и давний,
Чем ты смутил и кого?*

*Там засмеются, мы смеху ответим.
Фея откроет Эдем...
Домик, понятный лишь детям,
Чем ты грешил, перед кем?*

*Лучшие радости в них погребли мы,
Феи нырнули во тьму...
Маленький домик любимый,
Чем ты мешал и кому?*

(«Розовый домик»)

Отошло беспроблемное детство, а у жизни — столько вопросов!.. На них даже Макс не в силах ответить... Отодвинутость от жизни пронизывает всё Маринино мировосприятие. Сидя в Гурзуфе на скале над морем, она переносится в отрочество, вспоминает Марилю, «девочку в розовом платье» — подругу своего 13-летия и скорбит о прошедшем «апреле» (эти стихи датированы).

Но вот 5 мая 1911 года Марина, наконец, в Коктебеле. Всё вокруг — новое, Макс — «совершенно новый, неузнаваемый... Макс легенды, а чаще сплетни, ... Макс ... „хитона“, ... Макс сандалий, ...Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки госте-

приимства, Макс — Коктебеля» («Живое о живом»). И — много гостей Макса, из которых первым ей встретился ее будущий муж, Сергей Эфрон: «он сидел на скамеечке перед морем: всем Черным морем!» — вспоминает она через 25 лет в письме к А. Тесковой.

Всё новое, все — новые, Макс — и тот не такой, как в Москве, — а Марина прежняя: скованная, «дикая», измученная сомнениями и тоской, робеющая при всякой новизне. Практически такая же, как при первой встрече с Максом, о которой — через 21 год — вспоминала: «Под дозором этих глаз я, тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь — личное, сплошь — лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с роستانовского «Орленка», о Сарре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж...» («Живое о живом»).

Первый день в Коктебеле, первые знакомства. Это могло выглядеть примерно так.

Первый вечер — среди людей, не в одиночестве. Впервые не за книгой, а за разговорами — с шутками, смехом, гаданием — обычными занятиями в молодежной компании тех времен. Всё это так непривычно для Марины — и воспринимается таким обыденным, заурядным. И — когда разошлись по своим комнатам — как результат — усталость, опустошенность, недовольство собой: поступилась своими высшими принципами, дала вовлечь себя в пустую суету, «предала Христа». А ведь можно было и помолчать — или уйти к себе.

И вот настроение выливается в стихи — сразу, сгоряча, на свежей эмоции.

Только так можно представить себе появление стихотворения «Итог дня», родившегося явно из «до-коктебельского» мировосприятия.

*Ах, какая усталость под вечер!
Недовольство собой и миром, и всем!
Слишком много я им улыбалась при встрече,
Улыбалась, не зная зачем.*

*Слишком много вопросов без жажды
За ответ заплатить возлиянием слез.
Говорили, гадали, и каждый
Неизвестность с собою унес.*

*Слишком много потупленных взоров,
Слишком много ненужных бесед в терему,
Вышивания бисером слишком ненужных узоров,
Вот гирлянда, вот ангел... К чему?*

*Ах, какая усталость! Как слабы
Наши лучшие сны! Как легка в обыденность
ступень!*

*Я могла бы уйти, я замкнуться могла бы...
Я Христа предавала весь день!*

С образом «терема» мы уже встречались — это замкнутый мир Мариного одиночества («До первой звезды»). Она так недовольна собственными «потупленными взорами» и «ненужными беседами» на — только ей — в ее «терему»! — интересные и значимые темы. И даже становится обидно за Максовых гостей, когда дальше Марина заводит речь, по существу, о «метании бисера»... И — подтверждением правильности такой трактовки — слова: «Вспомните бисер и свиней!». Эту реплику приводит в своем рассказе «Волшебница» Сережа Эфрон (1912 г.), описывая первое впечатление от Марины, — это она так ответила собеседнику.

Но «Итог дня» — последнее стихотворение, написанное с обособленной, не принимающей позиции.

Всё быстро встало на свои места — об этом говорят нам немногие даты под стихами, посвященными «Сереже» — будущему мужу. Жизнь захватила Марину — поездками и походами с Максом и компанией, веселыми мистификациями, жизнью по настроению, без расписания, разговорами с хворавшим Сережей, очарованием его любви, трагичностью его судьбы.

Открылась Книга Жизни — и Марина, отодвинув стопку бумажных листов, взялась за нее.

Уже 13 мая — через 8 дней после приезда — стихотворение «Бабушкин внучек» с посвящением «Сереже», что, согласно более раннему — «Следующему» из «Вечернего альбома» (1910 г.), — должно было означать: мой долгожданный, тот. И, как видно из стихов, нет ему ни на что запрета:

*Шпагу, смеясь, подвесил,
Люстру потрогал — звон...
Маленький мальчик весел:
Бабушкин внучек он!*

*Скучно играть в портьерной,
Девичья ждет, балкон.
Комнаты нет запретной:
Бабушкин внучек он!*

*Если в гостиной странной
Жутко ему колонн,
Может уснуть в диванной:
Бабушкин внучек он!*

*Светлый меж темных кресел
Мальчику снится сон.
Мальчик и сонный весел:
Бабушкин внучек он!*

А 18 мая — с таким же посвящением — появился цикл из двух стихотворений «Венера», кончающийся строфой:

*По душе ему курган,
Воля, поле, даль без меры...
Он рожден в лучах Венеры,
Голубой звезды цыган.*

Так уже в течение первых двух недель Марина знала, что нашла суженого и выйдет за него замуж.

Но этому предшествовала история с «генуэзской сердоликовой бусой». У самой Цветаевой она прямо или косвенно упоминается в двух разных «воспоминаниях о поэтах», в разговоре с Максом Волошиным, приведенном в 1931 году и повторно в 1932-м.

Я давно уже мучительно обдумывала — почему два диалога при всей их схожести все же не совпадают и почему они — в разных местах, даже годах — не подряд? Привыкнув к цветаевским ранним шифровкам, порой очень сложным, часть из которых состоит просто в перетасовке, смещении и смещении, я предположила, что и здесь что-то в этом роде. Что же? Видимо, сознательное расчленение одного диалога на части. Попробуем заново составить его из половинок.

Логически, по смыслу, — опубликованное в 1931 году должно быть началом. Ну вот, теперь он приобрел определенный — новый! — смысл. Марина, видимо, хотела этим способом скрыть ту часть разговора, которая адресовалась Максy. Судите сами.

Весь диалог, как представляется, выглядел так.

В первый же день на какой-то (какой?) вопрос или реплику Макса Марина ответила (а может быть просто так, в воздух сказала?):

« — Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! (вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом) ... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

— Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!»

(«История одного посвящения» 1931 г.)

И вслед за этим — Маринино игривое, уже с значением:

« — М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?»

(«Живое о живом» 1932 г.)

А «час спустя» — его — с подтекстом — ответное озорство:

« — Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!»

(«Живое о живом»).

Игра была принята. Кто кому здесь шутливо поставил «майское дерево»? Но основания, видимо, были и раньше. Марина не нуждалась в специальных словах, чтобы определить, как к ней относится Макс: главное прозвучало сразу — «чудо»! Для обоих выше признания не было. Их дружба длилась не один месяц. А сейчас — в первый коктебельский день — в ее жизни еще нет Сережи Эфрона, один Макс — и эта игра может увести во что-то новое, неизведанное...

В самом начале в Коктебеле — рядом с Мариной только Макс. Он успевает показать ей вход в Аид. Кроме них в лодке только гребцы. Может быть, Сереже просто нездоровилось, и он не поехал, хотя его звали? Позже так бывало часто — это описывает приехавшая две с небольшим недели спустя младшая сестра — Ася.

Однако на гальке около моря возле Марины — и Сережа. Это он «чуть ли не в первый день знакомства открыл и вручил мне — величайшая редкость! генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной», — вспоминает Марина Цветаева через 20 лет («Письма к А. Тесковой»).

«Буса» — «знак» свыше. Марина всю жизнь жила в мифе, поэтическом мареве снов и сказок — и она не могла не принять этого «указания» во внимание. Но до этого она уже успела увидеть в 17-летнем Сереже его «безупречность», жертвенность, приполнятость, успела узнать его трагедию — год назад он разом потерял горячо любимых брата и мать, сестры его после этого еле выходили.

Жаркое сочувствие и пылкая симпатия — Марины — и не отрывающиеся ни на минуту от ее глаз — огромные глаза Сережи — какая гремучая смесь!..

Балласт с Мариной души свалился сразу:

*Aeternum Vale! Дух окреп
И новым сном из сна разбужен.
Я вся — любовь, и мягкий хлеб
Дареной дружбы мне не нужен.*

Aeternum Vale! — «вечное прощай» — герою ее первой платонической любви. Новый сон — любовь выводит ее

из сна-оцепенения, небытия повседневности. Здесь все понятно. А чья «дареная дружба» котируется наравне с любовью и решительно отвергается? Не Макса ли? Может быть, он обронил что-нибудь относительно свободлюбивых своих планов? Назвал — как и после в письме Марине — брак «лживой формой общей жизни»? Марина раньше и сама заявляла, что никогда замуж не выйдет, а займется революционной деятельностью — так свидетельствуют ее одноклассницы. Но теперь — все по-иному. Ведь она любит — а границ и преград, измерений и меры она — и потом тоже — не признавала — с этого момента.

Вмиг забыт «Барабан» — а он уже написан:

*В майское утро качать колыбель?
Гордую шею в аркан?
Пленнице — прялка, пастушке — свирель,
Мне — барабан.*

Да и она ли восклицала:

*Быть барабанищиком! Всех впереди!
Все остальное — обман!
Что покоряет сердца на пути,
Как барабан!*

Теперь мир распахнулся перед ней по-иному, маня все увидеть, везде побывать, ее безудержность зовет нестись вперед — вместе с Сережей. Вынашиваются планы отъезда на кумыс — подлечить Сережин туберкулез, а позже — свадебного путешествия за границу. Только на свежей эмоциональной волне могло быть написано широко известное «На радость» с рефреном: «Милый, милый, мы, как боги: Целый мир для нас!».

А «маякий хлеб дареной дружбы» занял свое место — не больше. Однако, целый ряд Марининых стихов повествует о драматичности этого момента для Макса. Марина, скорее всего, по-женски с самого начала чув-

ствовала, что она Макса восхищает. Да он и сам не скрывал этого: «К вам душа так радостно влекома...» В этих его стихах — напомним — есть и такие строки:

*Отчего скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?*

Этот же вопрос он задает и Марине, а потом восхищенно любуется формой ее головы. У Цветаевой эта сцена описана как озорная пикировка с только что — впервые — пришедшим в гости Максом: « — А вы всегда носите это?.. — Чепец? Всегда, я бритая. — Всегда бритая? — Всегда». И — несколько дальше: « — Но зачем же вы тогда бреетесь? — Чтобы носить чепец. — И вы ... всегда так будете бриться? — Всегда.» («Живое о живом»). Заметим в скобках, что, по словам Мариной сестры Аси, это был плод неумелых экспериментов по укреплению волос, отчего они обесцветились — и их пришлось сбрить. Бритье было многократным — Марина хотела таким образом стать кудрявой.

Чепец и очки сняты по просьбе Макса. «Отступает на шаг и, созерцательно: — Вы удивительно похожи на римского семинариста».

Его восхищение хозяйкой подмечено и прислужой: «... а вы им, видать — ух! — пондравились: уж так на вас глядел,...: в са-амый рот вам!» Но Марина эти взгляды тоже поняла правильно. И в самом начале ее жизни в Коктебеле Макс явно на что-то рассчитывал. Может быть, на Маринину естественность? А Марина, как видно из ее стихов, знала не только это, но и себе — «Жар-Птице» — цену — в его глазах.

В «Волшебном фонаре» Макс посвящено только два стихотворения — открытым посвящением, но адресовано ему, видимо, значительно больше.

Одно из открыто посвященных называется «Жар-Птица» и с виду воспроизводит картину из Максова детства, рассказанную его матерью — Пра: маленький Макс всю ночь прождал у окна обещанную ему Жар-Птицу, не дождался и заплаканный уснул на подоконнике, где " был утром обнаружен. Назавтра она подняла его

пораньше и показала восходящее солнце — вот она, твоя Жар-Птица! («Живое о живом»). Но это — только с виду. Сразу, с первых строк мы понимаем: здесь герой — взрослый. Итак:

*Нет возможности, хоть брось!
Что ни буква — клякса,
Строчка вкривь и строчка вкось,
Строчки веером, — все врозь!
Нет у сил у Макса!*

*— «Барин, кушать!» Что еда!
Блюдо вечно блюдо
И вода всего вода.
Что еда ему, когда
Ожидает чудо?*

*У больших об этом речь,
А большие правы.
Не спешит в постельку лечь,
Должен птицу он стеречь,
Богатырь кудрявый.*

*Уж часы двенадцать бьют,
(Бой промчался резкий),
Над подушкой сны встают.
Он нашел себе приют
В складках занавески.*

*Промелькнет — не Рыба-Кит,
Трудно ухватиться!
Точно радуга блестит!
Почему же не летит
Чудная Жар-Птица?*

*Плакать — глупо. Он не глуп,
Он совсем не плакса,
Не надует гордых губ, —
Ведь Жар-Птица, а не суп
Ожидает Макса!*

*Как зарница! На хвосте
Золотые блестки!
Много птиц, да все не те...
На ресницах в темноте
Засияли слезки.*

*Он тесней к окну приник:
Серые фигуры...
Вдалеке унылый крик...
— В эту ночь он все постиг,
Мальчик белокурый!*

Удивительно, не правда ли? По мере развертывания стихов «барин», только что пытавшийся писать превращается в «мальчика белокурого», неудержимо переносясь в собственное детство. Типичная для Марины Цветаевой «химера» — в данном случае возрастная. Один из способов «прикрытия» в попытках «замести следы» — сростить разнородное, она к этому способу прибегала часто, освоив его, как мы видим, с самого начала творчества. А что же надо было скрыть?

Марина давно поняла (или узнала?), что для Макса она — птица из птиц («много птиц, да все не те»). В «Жар-Птице» — рассказ о выходе из сложившегося треугольника. Чьи тени видел под окном Макс? Марины и Сережи? Возможно. Ясно только одно: птица с золотыми и радужными перьями, его чудо — ускользнула...

Похоже, что вариант этой же темы — и в стихотворении «Угольки», где тоже «мальчик», пытающийся писать, всю ночь «плакал и вздыхал о другом сердечке», страдая от неопределенности («Не было б осечки»).

«Золотое и зеленое перо» Жар-Птицы мы встречаем и еще в одном Маринином опусе — здесь она еще и «незнакомка»:

*Скоро вечер: от тьмы не укрыться,
Чья-то тень замелькает в окне...
Уезжай, уезжай же, мой рыцарь,
На своем золотистом коне!*

*В неизвестном, в сияющем свете
Помяни незнакомку добром!
Уж играет изменчивый ветер
Золотым и зеленым пером.*

*Здесь оконца узорные узки,
Здесь и утром портреты в тени...
На зеленом, на солнечном спуске
Незнакомку добром помяни!*

*Видит Бог, от судьбы не укрыться.
Чья-то тень замелькает в окне...
Уезжай, уезжай же, мой рыцарь,
На своем золотистом коне!*

(«Привет из башни»)

Как поразительно изменилась тональность авторского голоса! Где робкая, мятущаяся, блуждающая во тьме собственного самоанализа девочка? Это — ответ почувствовавшей себя женщины, сознающей свою неотражимость и силу, залетной «Жар-Птицы». Диктующий ответ — из новой жизни.

Ответ — на что?

Следы откровенного разговора с Мариной — понемногу в некоторых стихах. Видно, Макс коснулся в нем больной для себя темы — ухода любимой жены. — события, продолжавшего его сжигать, хотя прошло уже три года. Из его ли уст или из рассказов Пра узнала Марина о своеобразной красоте Маргариты Сабашниковой, в чем-то похожей на египетскую царевну Таиах? Но точно, что разговор у Марины с Максом о ней был — это видно из стихотворения «Призрак царевны», и только он сам мог ей сказать, что она, Марина, чем-то напоминала ему его утраченную жену, явившись ее призраком.

Видимо, речь могла идти о каком-то внутреннем, духовном сходстве? Или это были элементы наружности? Может быть, глаза? Губы? Но сама Марина никогда насчет своей внешности не обольщалась: она знала

основной источник своей привлекательности — внутреннее богатство и необычность. Через семь лет она в дневнике запишет: «Моя душа чудовищна ревнива: она бы не вынесла меня красавицей. ...Я — я незримое». Возможно, она даже Максу что-нибудь и ответила насчет несравнимости своей и Маргаритиной внешности? Или только подумала об этом? В стихах же эти ее размышления — в виде сопоставления двух цветков — прекрасной розы и неброской резеды:

*Один маня, другой с полуугрозой,
Идут цветы блестящей чередой.
Мы на заре клянемся только розой,
Но в поздний час мы дышим резедой.*

*Один в пути пленяется мимозой,
Другому ландыш мил, блестя в росе, —
Но на заре мы дышим только розой,
Но резедой мы кончаем все!*

(«Резеда и роза»)

Не почла ли она и Макса «резедой» — по сравнению с Нилендером?..

Марину в виде «резеды» мы встречаем еще в одном ее стихотворении того же периода — «Болель», где она выбирает «красный мак» после наскучившего ей белого ландыша — символического отражения своей предыстории, своей первой платонической любви.

Итак, «Призрак царевны», написанный от мужского лица. Может быть, именно так, на ночной прогулке по саду велся этот разговор? Когда своему старшему другу внимала еще «пугливая детка», т. е. в самом начале кокетбельской жизни?

*С темной веткою шепчется ветка,
Под ногами ложится трава.
Где-то плачет сова...
Дай мне руку, пугливая детка!*

*Я с тобою, твой рыцарь и друг,
Ты тихонько дрожишь почему-то.
Не ломай своих рук,
А плащом их теплее закутай.*

*Много странствий он видел и чащ,
В нем от пуль неприятельских дыры.
Ты закутайся в плащ:
Здесь туманы ползучие сыры.*

*Здесь сгоришь на болотном огне!
Беззащитные руки ломая,
Ты напомнила мне
Ту царевну из дальнего мая,*

*Ту, любимую слишком давно,
Чьи уста, как рубины, горели...
Предо мною окно —
И головка в плену ожерелий.*

*Нежный взор удержать не сумел,
Я, обняв, оторвался жестоко...
Как я мог, как я смел
Погубить эту розу Востока!*

*С темной веткою шепчется ветка,
Небосклон предрассветный серей.
Дай мне руку скорей
На прощанье, пугливая детка!*

Против какого, чьего «болотного огня», против чьей ненадежности, призрачности и легковесности предостерегал Макс маятущуюся — «ломающую руки» — Марину, предлагая свой походный, выдавший виды плащ — не больше! — как защиту? Но ответа ее тогда, видимо, не последовало — «пугливая детка» здесь безответна. Стихи-монолог. Вот потому-то, наверное, ответом послужили сами события и специально написанные стихи — «Привет из башни» — и еще некоторые, о которых речь впереди.

Только к этому моменту может быть отнесена «Исповедь», отражение смятенности Марины после этого разговора.

*Улыбаясь, милым крошкой звали,
Для игры сажали на колени...
Я дрожал от их прикосновений
И не смел уйти, уже неправый.
А оне упряма для забавы
Целовали!*

*В их очах я видел океаны,
В их речах я пенье ночи слышал.
«Ты поэт у нас! В кого ты вышел?»
Сколько горечи в таких вопросах!
Ведь ко мне склонился в темных косах
Лик Татьяны!*

*На заре я приносил букеты,
У дверей шепча с последней дрожью:
«Если да, — зачем же мучить ложью?
Если нет, — зачем же целовали?»
А оне с улыбкою давали
Мне конфеты.*

Всякая исповедь должна быть тайной, и эти стихи максимально зашифрованы, что усложняется Максом — «оне» и Мариной в роли мальчика, «милого крошки». Еще противовесом не зазвучал Сережа, но уже замаячил «лик Татьяны» Лариной — не понятой и не принятой, — и отказ от Максова предложения скрываться от глаз людских под походным плащом («зачем же мучить ложью?»). Вместо хлеба-любви — камень дружбы — «конфеты»...

Что повлияло на Маринин выбор? Скорее всего, многое. В ее стихах это проглядывается — однотипными акцентами.

Плащ, повидавший «много странствий и чаш». Разочарованная, отрезвевшая душа Макса — на грани неверия в чудо, — душевный огонь — на излете. Не это ли заставило ее написать:

*Здесь оконца узорные узки,
Здесь и утром портреты в тени...?*

(«Привет из башни»)

Угасающий огонь не ярок, мало света — даже утром, когда весь мир залит солнцем. Но не только это — минус его зрелости. Хуже — умудренность; вернее, искушенность. Ее первый шаг в храм Жизни, в ее тайну — она это подсознательно чувствовала — должен быть сделан с кем-то, кто так же, как она, войдет в него впервые — неискушенно, с восторженным потрясением. Макс для этой роли не подходил. Подошел Сережа — его соответствием эталону: «Жизни не знающий», «Нежный, как девушка, тихий, как деточка, весь — удивленье», тому «Следующему» — после Нилендера, — которого ждали с начала 1910 года...

Разница в возрасте — 15 лет! — это то второе, что — правда, очень завуалированно — постоянно всплывает в Марининых стихах. Вероятно, из ее 18-летия возраст Макса казался ей едва ли не преклонным, иначе почему же он — везде в ассоциации с вечером или закатом? А в очерке «Живое о живом» — через много лет — она вспоминает забавную сценку, где Макса принимают за ее отца...

Почему Марина, так любившая темноту, всегда — всю жизнь — воспевавшая поздний вечер и ночь, написала: «Скоро вечер: от тьмы не укрыться» — как бы пугаясь этого?

Скорее всего, это не просто темнота, а страшная, роковая тьма, от которой не спрятаться даже дома при свече — тьма возраста. А что за «чья-то тень замелькает в окне» — «Привета из башни»? Может быть, той, что своей косой расчищает путь грядущим поколениям? И сразу же: «Уезжай!»...

Еще раз Макс выступает в роли «заката» — запомним это! — в стихотворении «Облачко» — но об этом позднее. И еще один, третий, — прямой — ответ Волошину — «Кошки», с посвящением «Максу Волошину»:

*Они приходят к нам, когда
У нас в глазах не видно боли.
Но боль пришла — их нету боле:
В кошачьем сердце нет стыда!*

*Смешно, не правда ли, поэт,
Их обучать домашней роли.
Они бегут от рабской доли:
В кошачьем сердце рабства нет!*

*Как ни мани, как ни зови,
Как ни балуй, в уютной доле,
Единый миг — они на воле:
В кошачьем сердце нет любви!*

Может быть, именно эти стихи — и есть реакция на тот разговор, где Макс предостерегал от «болотных огней»? Кошачье поведение дает картину такой болотности, зыбкости, что кажется, Марина — с позиции новой жизни, окрепшим женским голосом, — хочет сказать: «Вот под твоим плащом и было бы болото!» Здесь — явный насмешливый протест против его частичной самоотдачи, против «дареной дружбы», такой понятный в каждой женщине, а уж тем более в Марине, с ее ощущением «избранности», которая, сбросив «крест» самоограничения, уже вступила в «безмерность в мире мер» — на всю оставшуюся жизнь. А может быть, она что-то в нем еще не до конца поняла? Или не верила в его чувство?

Так или иначе, Маринин выбор был сделан — и на всю жизнь.

А Макс всё лето с Сережей не разговаривал...

Марина это заметила, но ничего не поняла — или сделала вид? Или — сама полностью лишённая чувства ревности — в обычной жизни — не могла себе предста-

вить, что Макс может быть иным? Как бы то ни было, осенью того же года она пишет Максу из Москвы: «... ты отчего-то Сереже все лето слова не сказал. Мне очень интересно — почему? Если из-за мнения о нем Лили и Веры — ведь они его так же мало знают, как папа меня. Ты, так интересующийся каждым, вдруг пропустил Сережу, — я ничего не понимаю!» (14 октября 1911 г.). Остается надеяться, что она свое непонимание не разыграла...

Среди стихов «Волшебного фонаря» затерялось «Облачко»:

*Облачко, белое облачко с розовым краем
Выплыло вдруг, розовея последним огнем.
Я поняла, что грущу не о нем,
И закат мне почудился — раем.*

*Облачко, белое облачко с розовым краем
Вспыхнуло вдруг, отдаваясь вечерней судьбе.
Я поняла, что грущу о себе,
И закат мне почудился — раем.*

*Облачко, белое облачко с розовым краем
Кануло вдруг в беспредельность движеньем крыла.
Плача о нем, я тогда поняла,
Что закат мне — почудился раем.*

При всей эмоциональной привлекательности «Облачко» сначала показалось ничем не примечательным и плохо поддающимся смысловому анализу. Так было, пока случайно не попались на глаза строки одного из примечаний к очерку «Живое о живом» в двухтомнике, до этого, казалось бы, столько раз читанные: стихи Цветаевой, отправленные Волошину 14 января 1911 года, т. е. через полтора месяца после их знакомства:

*Облачко бело, и мне в облака
Стыдно глядеть вечерами.
О, почему за дарами
К Вам протянулась рука?*

*Не выдает заколдованный лес
Ласковой тайны мне снова.
О, почему у земного
Я попросила чудес?*

*Чьи-то обиженно-строги черты
И укоряют в измене.
О, почему не у тени
Я попросила мечты?*

*Вижу, опять улыбнулось слегка
Нежное личико в раме.
О, почему за дарами
К Вам потянулась рука?*

Стоп, стоп, — что-то очень знакомое — ну конечно же! — и сразу вспомнилось «Облачко» из «Волшебного фонаря».

Не уставая удивляться тому, какую — решающую! — смысловую нагрузку несут в «Облачке» тире, я почувствовала, как, наконец, полностью открылся его смысл — отражением отосланного Волошину стихотворения.

Итак, вернемся в Москву, в Трехпрудный, где Марина в первой половине января 1911 года читает присланного Максом бандеролью Анри де Ренье. Вот — шокирующая ее сцена в гроте в духе, как бы мы теперь сказали, «Скандала в Клошмерле», где на протяжении всего фильма в центре внимания — общественный туалет. Через много лет Марина Цветаева описала свою непосредственную реакцию так: «В негодовании захлопываю книгу. Эту — дрянь, эту — мерзость — мне? С книгой в руках и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскрикивает, вернее, выскакивает, как ожженная.

— Милый друг, это просто — порнография! (Пауза). За это, собственно, следовало бы ссылать в Сибирь, а этого... поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! ... Тотчас же садитесь и пишите: ..., Ставлю Вас в известность, что после на-

несенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права переступить порог моего дома. Подпись". Все». («Живое о живом»).

Но Марина поступает по-своему: посылает ему огорченные и оскорбленные стихи «Облачко бело...», полные только ей известными, для нее одной значимых деталей, образов, штрихов. В них — и скорбь об исчезнувшей тайне «заколдованного леса» — Макса, о невоплощенной мечте, о несостоявшихся чудесах. Тут и оживающий улыбкой портрет Нилендера, поначалу притихший после знакомства с Максом, и его «обиженно-строгие черты», которые «укоряют в измене» первому ее святому платоническому чувству к нему — «тени», — потому что поначалу у нее к Максиму, значит, было... что? И ответ на это — в «Облачке».

Но сначала о самом «Облачке белом». Что это за образ? И почему первые две строки в стихах-ответе Максиму звучат так пуритански-чопорно, в смысле: «Мне на розовеющие, а тем более пламенеющие вечером облака и смотреть-то не пристало — позор какой! Только на белые!»

Белый цвет у нас всегда считался символом чистоты и невинности. В этом смысле белизна облачка — Мариного состояния, ее изначального отношения, чувства к Максиму — понимается однозначно. А почему дальше вдруг — «стыдно»?

Это один из вариантов цветаевского шифра. Такая монашеская зримо-образная утрировка нарочита. Ведь Марина хотела этим сказать: «Думайте, кому Вы прислали — такое!» Лучше всего это потом выразит Пра — по поводу аналогичной — последующей! — присылки Максимом любовных похощений Казановы: «В семнадцать лет — Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» («Живое о живом»). Но дело было не только в возрасте, порядочности и нетронутости Марины. Прежде всего ее убила увидевшаяся ей приземленность. (Лишь через годы она поняла, что Волошин просто дарил ей своего очередного любимого писателя — как «очередное самое дорогое»...).

Во втором стихотворении — «Облачко» — всё естественно. Но «белое облачко» из «Волшебного фонаря» — в отличие от первого — с самого начала «с розовым краем».

Три строфы — три запечатленных момента.

Первый — взгляд Марины в прошлое с позиции встречи с Максом. Розовый край — свечение слабое, так, намек, — рожденное «последним огнем» платонического чувства к «тени». Но уже ясно, что грусть — «не о нем», — «о себе» — и Максов «закат»... да, ей «почудился раем»!

А дальше — апофеоз, вспышка Мариного огненного полыхания — и полная готовность отдаться «вечерней судьбе» — Макса! Сколько это могло продолжаться? От первого ее посещения, т. е. не позднее 22 декабря 1910 г. до 14 января 1911 г. (число, которым датированы отправленные Максу стихи). Меньше двадцати дней. Но для поэта — целая эпоха. Не в этот ли период появилась ее «Болель», «Мальчик-бред», «Не в нашей власти», «Эпилог», «Два исхода», «Волшебник», «Декабрь и январь», «Душа и имя»?

И вдруг — эта Максина бандероль, Анри де Ренье, неожиданное отвращение, негодование. «Движение крыла» ее души, не принимающей низменного, — и все облачко исчезло: оказалось — «Фата-Моргана», мираж. «Закат» только «почудился раем»... И плач о нем — ведь так горько разочаровываться в людях!..

Не тогда ли она увидела Макса в новом свете? Не это ли было началом его — для нее — конца, после чего осталась только дружба?..

И хотя на следующий день Макс, улыбаясь, извинялся, — ничто ему уже не могло помочь: он был у в и д е н. Очарование тайны кончилось. Правда, на словах она вскоре его простила — об этом в письме от 23 марта 1911 года. Больше двух месяцев — для поэта вечность... Самые первые дни их знакомства показали все созвучное, последующие — выявили несходство. Прозрение Марины помогло в дальнейшем увидеть остальное. Это было ее поэтической природе так не свойственно — видеть! Для этого надо было выйти из «чары», «сна».

И все же — хотя бы на время — Макс положил конец ее платонической муке длиною в год, ее «кресту».

А смятенность и нарастающий скептицизм предкоктебелья — не отсюда ли, не от горечи ли этого нежеланного прозрения? Не потому ли — когда к вернувшейся прежней тяжести, к ее «кресту», прибавилась еще и новая, — она жаловалась из Гурзуфа (ему же!): «Я так заражена этим недоверием, что вижу — начинаю видеть — одну материальную, естественную сторону всего. Ведь это прямая дорога к скептицизму, ненавистному мне, моему врагу!» (18 апреля 1911 г.).

И — новые нотки разочарования в стихах:

*Опять сияющим крестам
Поют хвалу колокола.
Я вся дрожу, я поняла,
Они поют: «и здесь, и там».*

*Улыбка просится к устам,
Еще стремительней хвала...
Как ошибиться я могла?
Они поют: «не здесь, а там».*

*О, пусть сияющим крестам
Поют хвалу колокола...
Я слишком ясно поняла:
«Ни здесь, ни там... Ни здесь, ни там...»*

(«Ни здесь, ни там»)

*О, первый бал — самообман!
Как первая глава романа,
Что по ошибке детям дан,
Его просившим слишком рано:*

*Как радуга в струях фонтана,
Ты, первый бал, — самообман.
Ты, как восточный талисман,
Как подвиги в стихах Ростана.*

*Огни сквозь розовый туман,
Виденья пестрого экрана...
О, первый бал — самообман!
Незаживающая рана!*

(«Первый бал»)

Подумать только — даже Ростан переосмыслен — тот, про которого — и только про него! — Марина твердила недавно Максусу — что любит!

А вот — вылившееся, видимо, по горячим следам прозрения:

В зеркале книги М. Д. В.

*Это сердце — мое! Эти строки — мои!
Ты живешь, ты во мне, Марселина!
Уж испуганный стих не молчит в забвенье,
И слезами растаяла льдина.*

*Мы вдвоем отделились, мы страдали вдвоем,
Мы, любя, полюбили на муку!
Та же скорбь нас пронзила и тем же копьем,
И на лбу утомленно-горячем своем
Я прохладную чувствую руку.*

*Я, лобзанье прося, получила копьё!
Я, как ты, не нашла властелина!..
Эти строки — мои! Это сердце — мое!
Кто же, ты или я — Марселина?*

Вопль боли... В заголовке — тремя начальными буквами зашифровано имя Марселины Деборд-Вальмор, французской поэтессы и актрисы 18-го века. Жизнь ее, соблазненной на пари и брошенной с ребенком, блестяще описал Стефан Цвейг.

Казалось бы, что может быть общего между ее и Мариной судьбой? Но в том-то и дело, что Марина уже мысленно «отдалась» «вечерней судьбе» — и в тот момент никакой разницы между собой и Марселиной,

прошедшей все муки отвергнутой возлюбленной и брошенной матери, не видела, находя сходство в душевных муках: обеих ранил отрезвляющий удар «копья» жизни, прозрения, грубо спустил их с небес.

Тут бы и можно было поставить точку, если бы не одна находка — среди уже известного.

Работа над статьей шла к концу, когда я вдруг увидела — новыми глазами! — одно из ранних хорошо известных стихотворений Марины, написанное 19 мая 1913 года и не имеющее в двухтомнике никаких комментариев:

*Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам:*

*«Шалость — жизнь мне, имя — шалость!
Смейся, кто не глуп!»
И не видели усталость
Побледневших губ.*

*Вас притягивали луны
Двух огромных глаз.
— Слишком розовой и юной
Я была для Вас!*

*Тающая легче снега,
Я была — как сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль,*

*Скрип песка под зубом или
Стали по стеклу...
Только Вы не уловили
Грозную стрелу*

*Легких слов моих и нежность
Гнева напоказ...
Каменную безнадежность
Всех моих проказ!*

Узнаете? Снова Марина обрита наголо — «римский семинарист», — с ее дерзкой задиристостью первого разговора с Максом у себя дома — и робостью, которую она скрывает «легкими словами», с ее «каменной безнадежностью» и «усталостью побледневших губ» — после первой своей платонической любви, подчеркнутую разницу в возрасте, — и «грозную стрелу», которую случайно вызвал на себя Макс, не подозревая в этой — с виду — шаловливой проказнице такой глубины, утонченности и требовательности максимализма, не уловивший ее нежности к нему, скрытой в этом «гневе напоказ», хотя так ясно прозвучавшей — подтекстом — в отправленном ему тогда грустном стихотворении «Облачко бело...» Милый, непроницательный, недопоявивший ее вовремя «Сказочный Медведюшка»!..

Из всего облика «мальчика» выделены только глаза — возможно, ими-то она и вызвала у Макса «призрак царевны»?

Это стихотворение написано Мариной как бы взглядом издали, с высоты своего полуторалетнего супружества и восьмимесячного материнства. Чувствует налет горечи и взрослости — и необычайное почтение к адресату. Со времени ее первого приезда в Коктебель к Максиму прошло два года — и вот после такого перерыва она снова там. Может быть, просто накатили воспоминания?.. Заглядываю в томик датированных стихов М. Волошина (1977 года, до этого они издавались без дат) с мыслью — а вдруг там есть еще стихи Марине. Ищу, начиная с 1 декабря 1910 года, когда она подарила ему «Вечерний альбом». И вот — сразу же читаю:

*Раскрыв ладонь, плечо склонила...
Я не видал еще лица,
Но я уж знал, какая сила
В чертах Венерина кольца...*

*И раздвоенье линий воли
Сказало мне, что ты, как я,
Что мы в кольце одной неволи —
В двойном потоке бытия.*

*И если суждены нам встречи
(Быть может, топоты погонь),
Я полюблю не взгляд, не речи,
А только бледную ладонь.*

3 декабря 1910 г.

Стихи направлены явно к Марине. Вот она сделала свой первый шаг к Макс — скорее всего, на нейтральной территории, возможно, на одном из собраний при издательстве «Мусагет», — принесла ему томик своих стихов. Лица не разглядеть — оно под черным чепчиком и очками. Стихов ее он еще не читал. И первое, что он делает — по своей традиции, для ознакомления — предлагает ей погадать.

Они оба были поэтически равнодушны к мифу, к «знакам оттуда». И вот — сразу бросается в глаза сходная с его особенность в линиях ее руки. Этот тип человека ему глубоко знаком по самому себе. Да, трудно будет ей противиться зову сердца, второй своей основе, хотя она сама этого о себе еще не знает.

Так, еще не открыв стихов, Макс узнал о Марине очень многое — как он считал, веря в хиромантию.

Сцену гадания Марина описывает в поэме «Живое о живом», правда, с переносом ее в Трехпрудный, — но она и не только это там сознательно сдвигает и компонуется по-новому: «Сидим, он на диване, я на валике (я — выше), гадаем, то есть глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый темянной водоворот: волосоворот». Не тогда ли, к слову, ее неудержимо потянуло коснуться его «заколдованного леса» на голове? Ведь после первой же встречи — его строки, написанные на следующий день, 2 декабря:

*Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?*

Выхожу из библиотеки потрясенная. Так значит, узнавание Цветаевой по стихам только подтвердило и продолжило первые догадки — Волошина — по ее руке!..

Он шел к ней впервые, уже заранее зная — как ему казалось, — какая мощная пружина Жизни заключена в этой, даже еще не рассмотренной как следует, девочке! Вот откуда его разглядывание и оценивающий взгляд! Возможно, она ему уже напомнила — некоторыми линиями руки — «ту царевну из дальнего мая», его жену, о которой он продолжал страдать и сейчас: нет-нет да и проскользнет в его стихах крик боли...

Знала ли Марина об этих его стихах, где ладонь — на первом плане? В начальный период их знакомства, конечно, нет. А в дальнейшем? Возможно, они потеряли злободневность, когда Марина предпочла Сережу, и Макс так и не показал их ей — никогда?

Снова перерываю весь томик стихов Волошина с одной только целью — найти хоть еще раз упоминание о руке, о ладони и гадании — и глазам своим не верю: есть еще два таких стихотворения!

В одном из них — изложение его жизненного кредо:

*... Я люблю держать в руках
Сухие горячие пальцы
И читать судьбу человека
По линиям вещей ладоней.
Но мне не дано радости
Замкнуться в любви к одному:
Я покидаю всех и никого не забываю.
Я никогда не нарушил того, что растет;
Не сорвал ни разу
Нераспустившегося цветка:
Я снимаю созревшие плоды,
Облегчая отягченные ветви.*

Кому они, эти стихи? Датировано — 1911 год — и только. А может быть, — это отражение ночного разговора с Мариной, «пугливой деткой»?

Страницей раньше читаю (тоже 1911 года):

*Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда...
Чтоб поверить обману свободно, без дум,*

*Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...
Чтоб не зная, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал.
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.*

А эти стихи — кому-то, с кем Макс был «на вы» — не Марине ли? Ведь еще в начале коктебельской жизни они говорили друг другу «вы». Возможно, именно это стихотворение — и предыдущее — или разговоры, за ними стоящие, — в самом начале жизни в Коктебеле — и привели Марину к образу выдавшего виды «плаща» и «кошек»? Заставили написать «Привет из башни» и горестно воскликнуть в «Исповеди»: «Если ла, — зачем же мучить ложью?»

А вот и то стихотворение Волошина, где снова — о ладони:

*Мой пыльный пурпур был в лоскутках.
Мой дух горел: я ждал вестей.
Я жил на людных перепутьях
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я. Поэт, оракул —
Я толковал чужие сны...
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайных глубины
И муках длительных агоний.
Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно пил от токов темных,
Не причащаясь к бытию.
И средь ладоней неисчетных
Не находил еще такой,
Узор которой в знаках четных
С моей бы совпадал рукой.*

И дата — 1913 год. А что, если Макс не показал Марине ни этого, ни того, первого стихотворения о ладони, а она сама их не угадала в издании 1917 года, где они были опубликованы впервые — и без дат?

И вдруг — ослепляющая догадка: да ведь эти стихи были написаны Волошиным в 1913 году именно для того, чтобы рассказать ей о совпадении их линий рук в п е р - в ы е , и вообще — полностью раскрыться! Тогда, в первых стихах о ладони, — где Макс 3 декабря воспроизвел первое свое впечатление от позавчерашнего знакомства с гимназисткой в очках и в черном чепчике, — он з а - р а н е е сделал ее «бледную ладонь» главной для него притягательной силой — «не взгляд, не речи», о которых — как и о ее стихах — тогда еще понятия не имел. С реальной Мариной так быть не могло. Уже тон позже отосланного ей «К вам душа так радостно влекома», датированного 2-м декабря 1910 года, свидетельствует о другой основе этого влечения.

Так первые стихи о ладони быстро морально у с т а р е - л и . Больше того, их просто нельзя было показывать — они могли Марину оскорбить. И так она, видимо, о них и не узнала...

Вконец заинтригованная, делаю еще рывок — и вот в публикациях рукописей из архива Волошина нахожу еще стихотворение Марины, датированное — предположительно — 1913-1914 годом. На обороте открытки с видом Феодосии читаем:

В ответ на стихотворение

*Горько таить благодарность
И на чуткий призыв отозваться не сметь,
В приближении видеть коварность
И где правда, где ложь, угадать не суметь.*

*Горько на милое слово
Принужденно шутить, одевая ответы в броню.
Было время — я жаждала зова
И ждала, и звала. (Я того, кто не шел — не виню).*

*Горько и стыдно скрываться,
Не любя, но ценя и за ценного чувствуя боль,
На правдивый призыв не суметь отозваться, —
Тяжело мне играть эту первую женскую роль!*

Ну конечно же! Вот он — ее ответ на стихи Волошина о ладони 1913 года! И — как в «Облачке» — в каждой из строф — разные по времени моменты.

Вот — в самом начале знакомства — она настороже и закована «в броню»: получено Максово — чуткое, тонкое — «чудо — есть!» и послано в ответ свое — строгое, недоверчивое: «Вы дитя и Вам нужны игрушки».

А сердце — уже в огне, полыхает — и ждет... и зовет... А сейчас?.. Ах, уже поздно! Осталось только уважение, дружба. Призыв запоздал больше, чем на два года... — Роль пушкинской отказывающей Татьяны, в которой она уже побывала не раз — с Нилендером, а потом и с Максом — в начале коктебельской жизни 1911 года. Вот тут-то и появился Маринин «Мальчик, бегущий резво». Может быть, отсюда и горечь его звучания? «А счастье было так возможно»?.. И еще — от осознания, что для понимания человеческого одиночества Макса — теперь ей, взрослой, оно так понятно! — тогда она была «слишком розовой и юной»...

И — вещественным свидетельством Марининого отказа — волошинский пейзаж гуашью, хранящийся по сей день в Доме поэта в Коктебеле. На нем дарственная надпись: «Милой Марине — в протянутую руку» и дата: «26 апреля 1913 года».

Надпись, которая отталкивается от давнего: «О, почему за дарами к Вам потянулась рука?» — и сделанная явно заранее, еще до полной определенности. Присланное Мариной (или врученное) «В ответ на стихотворение» показало, что «протянутой руки» уже нет, надпись стала не подходящей к случаю — и картина подарена не была...

Ну вот, теперь Цветаева сама, собственными словами, подтвердила то, что увиделось в цепочке ее ранних стихов, в том, что показал нам ее «Волшебный фонарь»: «Было время — я жаждала зова и ждала, и звала.»

... И не раз: вспомним ее «Исповедь» — тогда, в самом начале коктебельской жизни — тоже...

Есть еще свидетельства, что все понято правильно: в 1922 году, даря Максусу свою книгу «Конец Казановой», Марина Цветаева ее надписывает: «Моему дорогому Максусу — Казанову, которого я т а к отвергла ... с которым т а к не могла расстаться».

Как — т а к ? Почему такой акцент? — Да ведь это же и есть т а история, когда вместе с Анри де Ренье и Казановой она отвергла и самого Макса (потому и — т а к ! — «грозной стрелой»), но зато потом — как и со своими любимыми героями — с Максом не расставалась по-дружески — пока могла...

А вот — прощальный грустный взмах рукой вслед новообразовавшейся паре, Марине и Сереже, — стихи Волошина, «угаданные» В. Купченко:*

*Возьми весло, ладью отчаль
И пусть в ладье вас будет двое.
Ах, безысходность и печаль
Сопровождают все земное.*

1911 г.

Не ответ ли это на Маринин «Привет из башни» и «Кошки»?

И, может быть, в середине мая 1911 года Макс от собственного имени объяснялся Марине, только прикрывшись собачьей шкурой и кличкой коктебельской дворняжки — «Гайдан»:

*...Она похожа лохмами своими
На наших женщин. Ночью под луной
Я выл о ней, кусал матрац сенной
И чуял след ее в табачном дыме.*

(«Гайдан»)

* Кстати, как выяснилось, он уже в 1975 году заподозрил, что «Раскрыв ладонь, плечо склонила» — адресовано Марине.

Как это перекликается с его же 1913 года:

*...А ты, что за плечом — со мною тайно схожий, —
Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль!*

(«Как некий юноша...»)*

Но все это Марина знала и тогда, в 1911-м... Или только догадывалась? — Нет, именно, з н а л а. И подтверждением этому — в одном из «Писем критику» 1923 года, для советского читателя практически недоступных, — т р е т и й вариант ее диалога с Максом в первый коктейбельский день (тот «чистовик», который, видимо, она имела в виду, описывая диалог в 1932 году, в очерке «Живое о живом»): «Однажды, когда мне было 17 лет, один человек говорил мне, что любит меня. — “Отыщите мой любимый камень на этом побережье — ответила я. — Тогда я поверю, что Вы меня любите”. Дело было в Крыму, и побережье длилось на несколько верст».

В брошюре В. Купченко «Остров Коктебель» (1981 г.) о Марине Цветаевой читаем: «Мы ничего не знаем о ее коктейбельских стихах 1911 года».

Теперь — знаем.

Прояснилась также кантилена, логический ряд их — и многих других 1911 года.

И зазвучал — Марининым голосом — зашифрованный образами подтекст поэтических слайдов «Волшебного фонаря»...

* Это стихотворение и «Мой пыльный пурпур...» написано одно за другим — 7 и 8 февраля.



Мира ПЛЮЩ
ЭВАКУАЦИЯ

Произнесено было волшебное слово — реэвакуация. Это не совсем мне понятное слово означало, что мы возвращаемся домой. Те из нас, кто уцелел, кому удалось выжить.

А жили мы во время войны в эвакуации в Средней Азии, в Кзыл-Орде, Кзыл-Дыре, так называли этот город те из острословов, кто не растерял еще своей способности острить.

Жили в Кзыл-Орде два украинских университета — Киевский и Харьковский. Так мало нас осталось за годы войны (студентки — девушки и преподаватели — старики или инвалиды), что эти два университета были соединены и названы Объединенным украинским университетом.

Кому в те времена нужен был в Средней Азии этот

университет со своей украинской речью, культурой! Так и жили, понемногу вымирая, не жалуясь, молча отчаиваясь, сознавая свою обреченность. И вот мы, уцелевшие, уезжаем. Мы едем домой, мы перестаем быть ненужными, бездомными, мы едем домой.

Главная забота — запастись продуктами, ехать мы можем и месяц, и больше, никто не знает, сколько.

Но ведь ученые в то время уже получали академические пайки (те, кто уцелел).

Радостно гудела и сновала наша колония. Составлялись списки, что-то учреждалось, утверждалось. Все это было упоительно (шились мешки, штопалось то, что осталось от одежды):

— Мы едем, мы едем, мы едем!

Совершенно одуревшая от всяких мыслей и чувств по этому поводу, затесалась я и на предотъездный митинг в нашем университете.

И тут я узнала, что наш отъезд на родину — дело политическое, что это великий казахский народ приютил нас, что это благодаря ему, его щедрой помощи прожили мы безбедно в эвакуации и теперь благополучно возвращаемся домой. Слова: «Братство, братская помощь, семья, забота, единство» — барабанили по моей барабанной перепонке, а я уже видела себя с мамой на пыльном Кзыл-Ординском рынке.

Рынок во всякой эвакуации — дело привычное, без него не прожить. И во всем строгий порядок. Сначала стоянье в нищей, босоногой толпе с очередным «чем-нибудь»: платьем, пиджаком, часами, кольцом — чем-нибудь, чего нельзя было съесть, а потом, уже с зажатыми в кулаке деньгами, со слезами на глазах (продавались всегда за бесценок милые сердцу вещи) — головокружительное хождение между рядами со съестным.

Головокружительное потому, что кружились бедные головы голодных людей при виде давно забытых продуктов, источающих одурманивающий аромат.

Кзыл-Ординские рынки были сказочно богаты: горы дынь, арбузов, помидор, риса по баснословной, невероят-

ной цене. Недаром так часто именно там жертвовали миллионы на танки, самолеты... Мешок дынь — мешок денег. Примерно так...

И вот мы с мамой среди этого великолепия. Пыльный, грязный, шумный восточный базар. Что такое кзыл-ординская пыль? Марево, постоянно висящее в знойном воздухе, пылинки так малы и легки, что не имеют веса и живут в воздухе. Босиком бредем по жаркой пыли привычными уже ногами.

Подходим к горе дынь, источающих невыносимый аромат. Неужели мама решится и купит вместо риса (нашей единственной еды — жидкой похлебки) дыню? Я согласна, но как она? Жадно смотрю на нее, не мелькнет ли у нее на лице знакомое выражение — а! пропадай все пропадом! И тогда... Но мама отвлеклась. Кивнула кому-то. Очередной наш нищий знакомый.

Я знала его когда-то. Когда-то мне его папа показывал и сказал, что, если переживем мы это трудное время, то будет этот тощий, странный, явно какой-то больной человек большим ученым.

Сейчас же он как-то неуклюже, боком подвинулся к крайним дыням и взял одну из них. Уже по одному тому, как брал он ее одеревеневшими руками, я поняла, что не покупать он ее будет. Так неужели...

Да, именно так, он взял ее и, сгорбившись, стал уходить напряженной, неуверенной походкой, не пряча, не умея спрятать эту чертову дыню.

Но ведь не одна я видела это, хозяин горы дынь — толстый, круглолицый, в широком халате, завопил и в два прыжка догнал уходившего.

Тот шагу не прибавил, не сопротивлялся. Хозяин и мигом набежавшие доброхоты повалили вора на землю и, крича, били его, пинали.

Скорчившись, вжимаясь в землю, он инстинктивно, но неумело закрывал коленями грудь и живот, а руками голову. Но его хватили за волосы и били, били головой об землю.

Иногда вдруг мелькало его меловое лицо с застывшей кривой улыбкой и жуткими кривыми глазами.

— Зачем взял дыня? Зачем взял дыня? — неистово кри-

чал хозяин и, забегая то слева, то справа, пытался ударить его каблуком, но все промахивался. Толпа становилась все больше. Я первый раз видела, как бьют взрослого человека, и вдруг я почувствовала, что это конец, что, все равно, все уже пропало, все кончено. Мертвящий ужас сдавил мне грудь, и, завопив каким-то не своим, мне самой незнакомым голосом, я кинулась на толстую, ненавистную мне спину. Я вцепилась в ненавистный мне халат, колотила по толстой спине кулаками, била, рвала, кусала и кричала, кричала, кричала.

Из разорванного мною глубокого кармана в халате все падали и падали в пыль деньги.

Хозяин сначала остолбенел, потом попытался отшвырнуть меня, но отодрать меня нельзя было, попытался собрать все падающие и падающие из его бездонного кармана деньги, но я мешала.

И вдруг люди опомнились. Стояли мокрые, пыльные, грязные, тяжело дыша, не глядя друг на друга, и только я билась и кричала, билась и кричала, и не могла остановиться.

Ясно и отчетливо видела я, как подняли и уводили, отряхивая, избитого человека. как брезгливо поддавали деньги, валяющиеся в грязи, в пыли, как, сопя, отбиваясь от меня, как от назойливой мухи, пытался собирать их хозяин дынь беспокойными длинными, неожиданно тонкими пальцами рук своих.

Как, кто и когда отодрал меня, не помню совсем, помню только маму, уходящую широким размашистым шагом прочь от базара, и себя, рыдающую и бегущую за ней. Мама на ходу, оборачиваясь, глядя на меня, будто не совсем узнавая, будто приглядываясь ко мне со стороны, все повторяла:

— Ну, разве можно так! Ну, разве можно так!

— Мапочка, — совсем осипшим голосом, едва шевеля распухшими окровавленными губами, — мапочка, — говорила я. — Я больше не буду. Ну, мапочка. Ну, мапочка же — я больше не буду!

— Чего ты не будешь? — вскрикнула она, — дурочка ты моя!

И вдруг, охватив свою голову руками, села прямо в

дорожную пыль и, раскачиваясь, громко заплакала, завывала, запричитала. И, обняв ее, плакала я, но плакала уже по-другому, освобождаясь от леденящего ужаса, навалившегося на меня.

Мы с мамой не любили вспоминать об этом.

Вспомнился мне сосед наш, старик-профессор с женой, интеллигентный, замкнутый, сдержанный, непреклонно отказывающийся от тех жалких крох, которыми готова была поделиться с ними мама. «Вы моложе, вам — нужнее».

Все сосредоточеннее становился он, все отрешеннее, при встречах он уже не замечал меня; не видя, проходил мимо; потом голод и вовсе уложил его в постель, если можно назвать постелью звериное логово в их мазанке. Так и умер он очень просто, старик-профессор с мировым именем — в эвакуации от голода.

Через два-три дня после его смерти я увидела жену его. С шубой своего умершего мужа в руках двигалась она в сторону рынка. Ну что же, дорога привычная, дело обычное.

Не сразу поэтому сказала я маме, что видела Ирину Августовну, идущую на рынок, и не поняла, почему так испугалась мама, почему бросилась за ней вслед. Вслед за мамой побежала на рынок и я.

Ирину Августовну мы увидели уже в продуктовых рядах. Шубу она уже отдала — продала. Перед ней на каком-то прилавке лежала какая-то еда.

От привычной сдержанности ее не осталось и следа. Встретила она нас какой-то странной, приветливой, такой лучезарной улыбкой, преобразившей вмиг ее измученное лицо, превратившей ее в оживленную красавицу. Сверкали ее белоснежные выющиеся волосы, сумасшедшим синим огнем горели огромные глаза, взволнованный прерывистый смех мешал ей говорить, и тогда она, не в силах бороться с ним, запрокидывала голову и громко, победно смеялась.

Я стояла, замороженно глядя на весь этот ужас, потому что почему-то сразу поняла, что это ужас.

Мама пыталась отнять еду у Ирины Августовны, боясь, что она съест слишком много, и заворуженно я глядела на чудную пластику их движений.

Прекрасными длинными пальцами породистых рук изящно брала Ирина Августовна еду, приглашая взглядом и улыбкой разделить с ней ее радость, и подносила эту еду ко рту, а мама настойчиво отбирала у нее еду из рук, а потом все начиналось сначала, и казалось, никогда не кончится эта странная и страшная игра. Плохо Ирине Августовне стало прямо здесь же на рынке, а к вечеру она умерла в больнице.

Почерневшая, высохшая, почти обезумевшая осенью 43 года, мама металась, как затравленный зверь. Мы были обречены. Надо было что-то предпринимать, где-то умудриться достать, заработать, выцарапать хоть какие-нибудь продукты, не перезимовать нам, силы уже были на исходе. Мы были маме не помощники. Папа, странно располневший (он опухал от голода), занят был своей вечной наукой, я ничем не была занята, но и проку от меня не было.

И вот, о, чудо! в одном подсобном хозяйстве маме удалось договориться, что не только ее, но и папу возьмут на срочную сдельную работу — копать и выбирать картошку. 10 ведер этому подсобному хозяйству, а одно себе. Значит, нам, в нашу семью, где будет работать 2 человека, — 2 ведра.

Мы уже видели эту горку, какую горку! гору заработанной картошки, видели ее — белую, рассыпчатую, видели пар, идущий от нее, вдыхали аромат, это влило во всех нас энергию, заблестали глаза, появилась перспектива и надежда, а с ними вместе и какие-то силенки. Лихорадочно засобирались родители на работу, на картофельное поле в 12 км от города. Собирать, собственно, было нечего, и, самое главное, взять с собой из еды было нечего. Последние крохи хлеба были съедены вечером, а утреннего хлеба дожидаться было нельзя, надо же не опоздать выйти затемно, не потерять, Боже сохрани, эту работу.

Договорились, что я получу хлеб и принесу его родителям.

— Вот от этого места, — говорила мама, описав это место, — ты, все время по железнодорожной ветке, по шпалам, никуда не сворачивая, придешь к нам. Это 12 километров. Это недалеко. Но если хлеб получишь поздно (хлеб мы иногда получали к вечеру), в этот день уже не иди, приходи утром на другой день.

Хлеб я получила к концу дня, когда уже стемнело. Но самое печальное было то, что я получила только полнормы. Взрослые получали 600 граммов хлеба, дети 400.

Я получила 800 граммов хлеба и голодная легла спать. Одна я его не ела, я хотела съесть его завтра, на поле, вместе с родителями. Его было так мало (он же был каменный), что отъесть хоть кусочек — ничего уже не осталось бы. И была еще одна причина. Папа никогда не разрешал делить хлеб на пайки. Он требовал, чтобы хлеб резали ломтями и клали на тарелку. Он говорил, что день, когда мы разделим хлеб и каждый съест свою пайку в одиночестве, будет началом нашей гибели. А я так не хотела погибать! И поэтому я боялась съесть свою долю в одиночестве. Потерплю! Ничего! Утром, когда с трудом проснулась, я развернула хлеб, ткнулась носом в его колючую корку, вдохнула запах, собрала крошки, очень медленно пососала их и отправилась в подсобное хозяйство к родителям завтракать. Про их работу я как-то не думала. Нашла железнодорожную ветку и пошла по шпалам. Можно было идти рядом, было бы удобнее, но я, спотыкаясь, уставая от слишком больших шагов, шла точно по шпалам, как мама велела.

Кругом расстилалась ровная, как сковородка, выжженная степь, разрезанная железнодорожной веткой, и на этой единственной ветке болталась я, одна в целом мире. Я издали заметила в степи людей, и поняла, что пришла. Среди работающих я нашла родителей. Взглянув на отца, испугалась: за толстыми стеклами очков (у него было — 18 диоптрий) я не увидела глаз. Лицо безобразно распухло. Вообще вокруг как-то было неблагоприятно. Непри-

ветливым было окружение. Женщины, не эвакуированные, местные, это мы определяли мгновенно, из их бригады поглядывали на нас. Я вся подобралась, внутри у меня все сжалось. Ну что еще, Господи! Встреча с родителями чем-то мне еще непонятным омрачалась: — Помогай, помогай, доченька, помогай, — каким-то странным, слишком уж мягким голосом говорила мама. Ничего себе! помогай! А поесть? Я же летела сюда с хлебом. Но что-то было в мамином голосе такое, что я не посмела спорить, быстро опустившись на колени, стала выбирать картошку. Рядом, низко опустив голову, работал папа. Его слишком толстые тяжелые очки падали временами в разрыхленную землю, и тогда он, как слепой, шаря руками, искал их, старательно вытирал и надевал, и лицо его при этом было растерянным и виноватым. Наконец наступил перерыв, все разошлись в разные стороны, собираясь маленькими группками, отдохнуть, поесть, даже и вздремнуть.

Мы, наконец, остались одни, и мама рассказала мне, что вчера женщины из их бригады сначала очень обрадовались, что в бригаде будет работать мужчина. Он-де будет копать картошку, а они все будут быстро-быстро выбирать ее. Но когда увидели они лопату в неуверенных папиных руках, руках, которые отродясь ничего, кроме книг и ручки, не держали, когда увидели, как старательно и плохо он работает, долго разглядывая каждый кустик своими беспомощными близорукими глазами, низко наклоняясь, то и дело роняя очки, очень осерчали. Лопату взяла мама. Она у нас все хорошо делала и картошку копала хорошо, но обида у баб почему-то не проходила, обманул папа их надежды. Осатанели же они совсем, когда увидели, что родители ничего не едят: уходят на убранное помидорное поле и ищут там полузасохшие или совсем зеленые маленькие, как крыжовник, помидоры. Не выдержали, побежали к бригадиру:

— Уберите их от нас. Что за мужик — картошку копать не умеет, и не едят они ничего, хуже нищих, откуда у них сила будет, что же с ними выработаешь?

Но бригадир одернул их, сказал, что сытые на такую работу не ходят.

— Когда ты пришла, они немного успокоились, они думают, что мы теперь втроем за двоих работать будем. Но ты же видишь, папа работать не может, ему уходить надо, а ты останешься.

Да, я видела. Работа оказалась для папы непосильной, а для глаз такое напряжение опасным.

— И сейчас, когда они увидят, что папа уходит, они опять начнут скандалить. Прогонят нас, верно, — добавила мама.

Меня испугал мамин тусклый голос, полное, усталое равнодушие, с которым она это говорила.

— Дома совсем ничего нет, я дам папе с собой несколько картошин.

Мама собрала папины немудреные вещички, в какую-то тряпочку завернула, не таясь, несколько любовно выбранных картошин, и папа, простившись с нами, зашагал к железнодорожной насыпи, по которой недавно я пришла сюда.

Его невысокая серая фигура сливалась с серой, покрытой пожухлой растительностью землей, только по белой панамке у него на голове можно было определить, где он находится. Ах, эта белая панамка!

— Это куда это он? — встрепенулась вдруг одна из женщин нашей бригады.

— Домой! Вместо него дочка пришла, — тихо, но твердо ответила мама.

— Дочка? Какая еще дочка? Вот эта дохлятина? Тот ничего не может, теперь ребенка еще подсунула! — кричала она, воинственно подбоченясь. — Тот картошки нагреб, а ты теперь тут на двоих получать будешь?!

— Да что вы, что вы, — закричала я в притворном оживлении, — да вы посмотрите на меня, какой же я ребенок, да посмотрите, как я работаю, да я еще быстрее могу! — Я говорила заискивающим, наигранно-веселым, мне самой неприятным тоном, я понимала, что теперь уже я, я, я защитница своей жизни и жизни своих родителей. Я должна, должна их уговорить, убедить, доказать, как я работаю. Я неотрывно глядела на них, прямо в их безжалостные глаза, улыбка отчаяния раздвигала мои дрожащие губы, а руки лихорадочно заполня-

ли ведро картошкой. Я подсознательно верила, что если смотреть прямо в глаза, прямо, прямо, не отрываясь, можно предотвратить несчастье, но все, все, все было зря. Женщины тихо о чем-то посоветовались, и одна из них пошла к бригадиру. Она говорила ему что-то, размахивая руками, и показывала в сторону, куда ушел папа, где все еще иногда белела его панамка. Папа уже был очень далеко, он подходил к кустикам у железной дороги. Успеет ли он скрыться в этих зарослях? Успеет или нет? Знакомая нервная дрожь колотила меня. Тряслись руки, ноги. Как бы сказать папе, дать знать, чтобы выбросил он эти несколько картофелин. Ведь за это!.. Я знала, знала уже, что бывает за это, за колоски, за зернышки, за всякие, всякие попытки ухватиться за жизнь.

Бригадир начал распрягать подводу, седлать коня. Все бросили работу, с интересом наблюдая, что будет дальше. Мама копала. Из всех них работали только мы с мамой, не глядя туда, куда смотрели все, и странно это, верно, выглядело со стороны.

— Мамочка, — еле слышно молила я, стуча зубами, пытаюсь трясущимися руками ухватить картошку у ее ног, — мамочка, я побегу, я добегу, я догоню папу, я обгоню эту лошадь.

Зачем надо было догнать папу, мама понимала лучше меня.

— Тише, тише, доченька, выбирай, выбирай, не поднимай лицо, не смотри туда, я копаю, а ты выбирай, выбирай, сердце мое, выбирай, спокойно, спокойно, это ничего. Это ничего.

Когда бригадир вскочил на лошадь, папа скрылся в кустарнике. Лошадь понеслась. Мы видели ее в поле, потом ее четкий силуэт мелькнул на железнодорожной насыпи, потом она скрылась в кустарнике, потом опять появилась на насыпи.

Мой папа, мой папа, которого так любили, так уважали столько людей, столько людей с глубоким почтением относились к нему, которым он так был нужен, мой папа, такой добрый, умный, от своей науки, от своего самодельного письменного стола, где он достойно умирал, пришел сюда, чтобы мне и маме помочь как-то зацепить-

ся за эту жизнь, жизнь, которая мне без него не нужна; а ведь его уже гонят, гонят сейчас сюда. И он бредет где-то, спотыкаясь, нащупывая ногами дорогу, как слепой, по кочкам и ухабам этого проклятого поля; и это его, беспомощное без очков, лицо с яркими детскими голубыми глазами, очки же он потерял, и ему не дадут их найти, затопчут копытами этой лошади. И всё здесь для них, ждущих, предвкушающих, таких чужих и враждебных, обернется гнусным низменным развлечением и таким горем для нас.

Всадник вернулся один.

Постепенно, разочарованные, все вернулись к работе, доработали до темна, пошли в какой-то сарай спать. По дороге мама шепнула мне, что она сбегает сейчас домой узнать, что с папой, и чтобы я постаралась уснуть. Пришлось согласиться.

Около сарая варили и пекли в золе картошку, сегодня бригадир это разрешил. Те же женщины, натравливавшие бригадира на нас, звали меня поесть, верно, забыв уже для них такую незначительную историю, но я отказалась. Я, правда, совсем не могла есть. Когда мы уже лежали и кто-то из них, мирно зевая, сонным голосом сообщил, что кого-то убили в кустарнике, мой организм уже отказывался реагировать на что бы то ни было, он буксовал. Я провалилась в каменный сон, а утром меня разбудила мама, отмахав за ночь 24 километра. Папа, ничего не зная, благополучно добрался до дома и варил картошку во дворе на кирпичках. Мама ему всё рассказывала.

— Да, я видел всадника несколько раз, — сказал папа, — но в зарослях я встретил казашку, у которой испортилась повозка, я помог ей разгрузить ее, помог починить, а потом опять нагрузить, а она в благодарность на своем ишачке довезла меня до города.

Папа видел всадника, что же это было? В мужчине, который помогал казашке, он не узнал папу? Принял его за казаха? Мужа этой женщины? А папина беленькая панамка? Этот жуткий ориентир? Или он не захотел узнать его? А? Может ведь и так быть? Вот не захотел, дал уехать, даровал жизнь папе, нам? А? Конечно,

конечно же, так. Почему же иначе именно в этот вечер он разрешил варить картошку? Ну, конечно, конечно же. Не отнял, а дал, даровал! До конца работы в этом подсобном хозяйстве официально нам было всем разрешено варить по вечерам картошку. Но на этом всё не кончилось. Нас обманули. Картошки дали мало, не столько, сколько обещали, мелкую, плохую. Давали, отпускали на складе какие-то другие люди, которых мы не знали.

Но и эта картошка была нам таким подспорьем! Кто там ее чистил! Ели вместе с кожурой, не пропало у нас ее ни грамма. Выжили же ведь! И папина страшная полнота постепенно уменьшилась. Жаль все-таки, что обманули. Но именно это и явилось продолжением истории.

Однажды, как ни в чем ни бывало, к нам явились две женщины из нашей той бригады, те самые, именно те самые, и стали просить папу, чтобы папа написал куда-то заявление, чуть ли не в суд, что нас обманули.

— Ах, так все-таки поняли, к кому надо идти просить, кто может написать? Помочь? Знали? Да? Знали? — злорадно думала я.

Но папа удивил меня еще больше. Он не только не прогнал их, он их приветливо встретил, усадил, выслушал, согласился написать, долго и с жаром они это обсуждали. То, что из этого всего ничего не вышло и картошки нам не прибавили, это не важно, не в этом дело. Но как они смели прийти к нам? Как папа мог говорить с ними? Почему не выгнал, почему на порог пустил?

— У тебя нет самолюбия, — кипятилась я. — Они... они...

— Ну вот, заладила. Они пришли за помощью. Что же ты, хочешь, чтобы и я был, как они?

— Нет, но я не хочу, чтобы ты с ними водился!

— Да я и не вожусь, это же они попросили помощи, я стараюсь, как могу.

— А они?

— Знаешь, а что они в жизни видели? Ты знаешь, как они живут? Как они жили? Разве они понимали, что делали? Видели последствия? Гнев им глаза застилал.

— Понимали, еще как понимали, и последствия видели!

— Ну, тогда тем более, я как-то не думал об этом, но тог-

да тем более, пусть они увидят что-то другое, что-то, к чему они не привыкли.

— И что, тебя нисколько не возмущает, что они приперлись...

— Пришли. Нет, не возмущает, значит, они чувствовали, что можно прийти.

— Да ты знаешь, что они о тебе думают? Да они же использовать тебя хотели!

— Ну, пусть, пусть. Во благо бы только.

— Ты всё прекрасно понимаешь, притворщик, вот кто ты.

— А что же, ты хотела бы, чтобы я упер руки в бока и кричал бы им: «А вы! А я!» и был бы весь красный? Нет, такого представить себе было невозможно. Это было бы очень смешно. И мы с папой захохотали оба, то упирая руки в бока, то размахивая ими друг у друга перед носом.

— А у вас, как всегда, веселье, — проворчала мама, заглянув к нам.

Так и кончилась эта история.





Лия ВЛАДИМИРОВА
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
РОГОЖА

Пусть дни идут корявой чередой
В поту, в жару или в простудной дрожи —
Я допьяна больна тобой,
Россия... родина... рогожа...

*Все начинается с горба.
Пригнувшись, улицей идешь горбатой,
И ветер, неподвластный, как судьба,
Толкает в спину. Ты идешь к Арбату...
Там дом стоит, назначенный на слом,
А прежде — особняк. А рядом — груды
Камней и щебня. Смотрит ниоткуда
И в никуда горбатый этот дом.
А ты идешь изогнутым мостом,
И — началось. И стены, и ворота —
Все дыбится одним сплошным горбом
В кружащейся степи снеговорота.
На бывшей Моховой горбится ночь,
И вслед глядит горбун чуть виновато,
А ты идешь... И как тебе помочь?*

*Сегодня ночь, и ты, и все горбаты!
Носы и спины, храмы и мосты,
И кладбища с истлевшими гробами,
И купола, где сорваны кресты,
И острый край луны за куполами.
Все начинается с горба,
О, предвкушение юродства!
Здесь горький дух ущерба и уродства,
Здесь начинается судьба.*

А ты идешь...

*А город уж не тот —
Рассветный город в колокольном звоне!..
Снежинку ловит пересохший рот,
И невская вода бежит в ладони.
Так не бывает? Не было еще?
Не может быть?*

*Но, верьте иль не верьте, —
Тишайший снег коснулся этих щек,
Иссеченных бичами круговерти.
О, сдвиг времен!*

*О, волн встающих горб!
Не горб, а гребень... Невская погодка,
А вдоль воды, медлителен и горд,
Идет горбун смущенною походкой.*

* * *

Россия, нищая Россия...

Ал. Блок

*И вниз глядит она с мученьем,
И вверх глядит она темно...
Каким лихим предназначеньем
Ее лицо омрачено?*

*Каким униженным химерам
В дыму она теряет счет,
Когда расстриженную веру
К ногам насильников кладет!*

Стоит, глаза уставив в землю,
Отмщения не зная срок...
Ей в небе — человек не вземлет,
А на земле — не слышит Бог.

* * *

И диктует нам законы
Наша маленькая жизнь:
На работу, пахарь сонный,
Отработал — в гроб ложись.

Друг за другом, круг за кругом
По родной земле ползем,
Допотопным милым плугом
Ковыряя краснозем.

* * *

Могу ль я память излечить,
Чтобы вчерашним не горела,
Чтобы, устав кровоточить,
Спокойно тлела и старела!

Какой по счету адский круг?
В который раз встает из праха
Всеусмиряющий недуг
Благополучия и страха!..

* * *

Забывтый перезвон колоколов,
Исакия светящиеся очи...
Плывут века, события и ночи
Над гордой славой русских городов, —

*Над тишиной Михайловского сада,
Над зеркалом лицейского пруда...
И там, за серой дымкой Ленинграда —
Бессмертных строф воздушная прохлада
И та же, петербургская вода.*

* * *

*В тихом, тихом, индевелом
Встали ели вдоль земли,
Словно в доме опустелом
Свечи белые зажгли.*

*На подсвечнике смолистом —
Звонче воска, тише слез —
Так с потрескиваньем чистым
Тает в вечере мороз.*

*Ночь, декабрь, новолунье,
Тень мигает на столе,
Как зеленая колдунья
На зеленом помеле.*

*Разлукавая сторонка!
Снег по пояс, снег в окне...
Диковатую девчонку
Я припомнила во сне.*

Марине Цветаевой

I.

ЕЛАБУГА

*А там, над чернокрылой Камой,
Свежа, открыта и страшна,
Лежит Елабуга, как яма,
И пахнет смертью бузина.*

Сползают слухи, словно мухи
За желтой склизкостью окон,
И полумертвые старухи
Икая, смаргивают сон.

За бесноватую рекою,
Где черный ветер след размыл,
Они горбатую клюкою
Ткнут в безымянный ряд могил.

2.

День Иоанна Богослова,
А на террасе поздний гость
Под диким виноградным кровом
Пил чай с ее сестрой суровой
И уходил, оставив трость,
И приходил прощаться снова...

День Иоанна Богослова.
И полночь, полная, как горсть,
Избыток звездного улова
На землю высыпала... Кость
Подносит гостю пес дворовый.
День Иоанна Богослова.
Светлей, чем взгляд,
острей, чем слово,
Горит рябиновая гроздь.

* * *

Без вина пьяна я, без вина,
Оттого ль, что нынче жизнь темна,
Оттого ль, что надо мне пролиться
Тою, ненаписанной страницей,
Оттого ль, что ты так далеко,
Оттого ль, что нынче так легко

*Неловко вымытая чашка
С заваркою до черноты...
Была ль тогда я той монашкой,
Которую боялся ты?*

*Питаться воздухом и медом —
И в этом не было вреда;
Что ж делать, от такой свободы
Развеселилась я тогда.*

*И в нашей жизни непутевой,
С самим собой наедине,
Прими несказанное слово,
Как тень, мелькнувшую в окне.*

* * *

*Помедли, миг! Душа полна
Таких причудливых видений!..
Плетусь по улочке весенней,
Слегка собой опьянена.*

*Что за чудак иль добрый гений
Поднес мне этого вина?..*

* * *

*И надо становиться строже,
И знать про этот поворот,
Где будет все наоборот,
Непоправимо, непохоже.*

*А возле дома, у ворот,
Травинка, день от дня моложе,
Все зеленеет и растет.*

* * *

Ты, женщина ночная, часто снилась
Тяжелому медведю. Толстолапый,
Он шел к тебе, тревожно оступаясь,
В бору душистом он тебя придумал,
Там, в ворохе своих берложьих снов...
Тебя нашел — в толпе, на трезвом солнце
Среди чужих. Тебе он подал руку
И не отпустит, если не прогонишь.
... Он медлил уходить,

ночь медлила светлеть,
Сидели рядом, и медвежьи пальцы
Твоей руки касались осторожно
И вздрагивали, словно от ожога, —
Так много было легкости, свободы
И нестерпимой ясности в тебе.
Сказала ты, зевая дружелюбно:
«Скорей бы утро!» — мысленно прибавив:
Зачем он, зверь смешной и бестолковый,
На мой огонь, не для него зажженный,
Пришел, нарушил чуткость ожиданья?
Не для него мое ночное небо,
Не для него мои ночные звезды...
... Он медлил уходить,

ночь медлила светлеть,
Он ждал тебя, а ты ждала рассвета.

* * *

Задевая оконную нишу,
устремаясь в глубину синевы,
Словно солнце, все жарче, все выше
Поднимается пламя листвы.

И, отстав от стремительной стаи,
Так на свежем ветру золотист,
У меня по балкону плурует
Одинокий и огненный лист.

* * *

*Опять дождя благоуханье,
И серой яблони дыханье,
И эта зябкая любовь
С ее пугливыми стихами, —
Все, все как встарь —
или как вновь..*

* * *

*Ты мне душу не неволь,
Коль не можешь ей помочь.
Вот она, какая боль,
Вот она, какая ночь!*

*Мне бессонница была
Не предвестницей тепла,
А предчувствием разлук,
А мольбой сведенных рук,
Простыней, остывшей вдруг.*

*И прошу — не навещай
Изголовья моего,
Ничего мне не прощай,
Мне не нужно ничего.*

*Мою волю не смутишь,
Я вольна себе помочь.
Вот она, какая тишь,
Вот она, какая ночь!*

* * *

*Там, у низкого моста,
У Замоскворечья,
Была улица пуста,
Только ты — навстречу.*

*Несдобра и неспроста
Была улица пуста,
И мело весь вечер —
Мглистый, зимний вечер.*

*Исколол меня февраль,
Исколола встреча —
Там, у низкого моста,
У Замоскворечья.*

* * *

*А кукушка куковала, куковала,
Малых деток отдавала, отдавала,
Над чужим гнездом летала, куковала,
Все бездомней, все бездонней тосковала.*

*Этот зов ее понесся над лесами,
Этот зов ее и вы слышали сами.
Мерили непрожитые годы
Бременем непрошенной свободы.*

* * *

*Вся горишь, ко мне ревнуя,
Ворожишь иглою;
Ничего не отниму я
И не буду злою.
Чем могу тебя занять я?
Чем могу отвлечь я?
Ты меня научишь платья
Шить — на целый вечер.
А на утро позабуду
Хитрые уменья,
И иглы твоей причуды,
И мое терпенье,
И мгновенные уколы,*

*И противоборство —
Опыты нелегкой школы
Женского упорства.*

* * *

*Так чинно шествовали зимы,
На расстояньи холода,
И весны — мимо. мимо, мимо
Звенели стрелами дождя...*

*Лишь осени огонь прощальный —
В чужой судьбе, в чужом окне —
Еще томит, как обещанье,
И вспыхивает, как во сне.*

* * *

*Ты подошел.
Я медленно молчала.
И рук не отнимала от лица...
Так иногда рождается начало
Из смутного предчувствия конца.*

* * *

*Опьянев от стихов,
От вина отрезвею.
И понятна без слов
Осторожная ревность твоя.
И в улыбках друзей,
От которых впотьмах розовею,
И в огарке свечи —
Благогодная примесь вранья.*

*Опьянев от стихов,
От вина отрезвею.
И не жившая жизнь*

*Слишком тесной предстанет сперва,
Как поверхность стола,
За которым, к утру соловья,
Собираются в круг
Промотавшие цену слова.*

*А часа через три
Стеариновый свет тяжелеет,
И больницы больней,
И белей белизны — кривизна:
Как чужая сестра,
К тебе брошусь, жалея, на шею.
Начинается день,
Чтобы за ночь ответить сполна.*

*А потом, как в войну,
Керосиновый вечер повеет,
И мигает стена,
И дымит за окном желтизна...
Как родная жена,
Как в сенях, к тебе брошусь на шею.
Начинается ночь,
Чтобы за день ответить сполна.*

** * **

*Прилипли листья к отсыревшей раме,
И все труднее шевельнуть рукой,
Все чаще разливается утрами
Спокойный и торжественный покой.*

*И по столу рассеянная хвоя,
И белая безгрешная кровать...
Нездешнее, не смятое, живое
Я, здешняя, не смела убивать.*

*Как тонки краски в гаснущей природе!
Как говорят в народе — сентябрит...
И грядка в почерневшем огороде
Последним августом горит.*

Б. Пастернаку

*И кладбище огибая,
И сосен топжественный ряд,
От редкого снега рябая
Тропинка скользит наугад.*

*Какая же нынче охота
Месить жидковатый ледок?
Там где-то за поворотом
Писательский городок.*

*Гола опустелая местность.
Дорога так круто светла,
Как будто успех и известность
В архив подавали дела.*

*Стоит в Переделкине осень —
В заборах, в особняках...
Под шум пастернаковских сосен
Ворота молчат на замках.*

*Пространства холодного вдосталь.
Покой нежилого жилья.
Но там, в стороне от погоста,
Мне поступь слышалась чья?*

*Но там, в стороне от погоста,
Как в прошлые годы журча,
Кого выкликает под мостом
Простуженный клекот ручья?*

* * *

*Мы рвем цветы, вдыхаем лето,
Скорбим в свой час и пьем вино,
И на вопросы не дано
Нам абсолютного ответа.
И хоть неведенье — темно,
Но веденье — еще темнее,
И я заглядывать не смею
За тот порог, где все равно...
И может, до конца не верю
Я в мире, где ответов нет,
В тот окончательный ответ,
В ту абсолютную потерю.*

* * *

Памяти Мандельштама

*И опять приближаются черные дни.
С нами память, а в памяти мы и они.
Это нам задыхаться последней тоской —
Тою, хлынувшей горлом, смертельной строкой.
Это им пировать, на допрос вызывать,
Спогами стучать, на ладони плевать.
Это мы в присмирившем и нищем углу,
И каблук пропечатал листки на полу:
Дескать, будет, не плачь,*

все — как я захочу:

*Человеку — палач, и калач — стукачу.
И опять распахнулось ночное окно.
Безнадежность? Безумие? Страх ли — равно...
Как подбитое, тело рванулось во мрак,
И в руках у жены опустелый пиджак,
И опять беспокойная движется тень
По холодной реке, в немигающий день.*

*И крадет, и кухарит кустарь...
Все как встарь на Руси,
все, как встарь.*

* * *

*Ни плакать вслух, ни думать я не буду.
Ни спрашивать — «Что делать мне, скажи?
По капельке пригубливая чудо,
Как увести себя — за рубежи?»*

*Когда тугие зубья пятилетки
Прихватят семь садов в моем саду,
На исповедь я не пойду — к соседке,
На проповедь к соседу — не пойду.*

* * *

Дочери

*Последний луч за кровлями исчез,
Погасли блики грозового дня...
Тех ангелов, спустившихся с небес,
Ты нынче краше, душенька моя.*

*Умчатся птицы в дальние края...
Так быстро память лета отошла!
Простишь ли, раскрасавица моя,
Я слишком мало матерью была.*

*И до сих пор предчувствую порой,
Что не могу быть взрослою в любви.
Не матерью, а младшею сестрой
Меня, моя забавница, зови.*

*О милая, потом когда-нибудь,
В грядущий полдень грозового дня
Поймешь меня, прильнешь ко мне на грудь.
Ну что ж!.. Ведь ты похожа на меня.*

* * *

Опять в дали туманной
Живая встала Русь.
Дай, в день пресветлой Анны
С тобою помолюсь.

И, сам того не зная,
Ты властен над судьбой:
Нездешняя, сквозная,
С тобой, всегда с тобой,

И голос отзовется,
И на сердце светло,
И рук твоих коснется
Тех легких губ тепло.

Ни скорби непрестанной,
Ни черных похорон —
Лишь Анна, Анна, Анна,
Как благовест сквозь сон.

А сон — как отраженье
Любимого лица...
И трепет, и движенье,
И жизни нет конца!..

* * *

Окна темные садабы,
Липы, липы, липы в ряд...
Там с тобой могла гулять бы
Полстолетия назад.

И под лиственным покровом
Твои губы целовать,
И предгрозовым, медовым
Душным воздухом дышать.

*Чтоб мятеж междоусобий,
Чтобы пепельная мгла
Двух эпох и двух надгробий
Между нами не легла.*

МОНОЛОГ СУМАСШЕДШЕГО

*Я пробыл здесь двенадцать лет.
Теперь прошу у вас немного:
Не правосудия, не Бога,
А только, чтобы верхний свет
Вы погасили. Верхний свет!
Вот эту лампу над кроватью!
При свете разучился спать я...
Да, это правда, а не бред.
Вы слышите меня, иль нет?
Хочу закрыть глаза спокойно...
О, человека недостойно
Гореть оставить верхний свет.
И для чего? Хочу ответ
Я получить. Не бесполезно
Узнать, зачем к замкам железным
Еще железный этот свет?
Кто дал вам дьявольский совет
Меня пытать вот этим шаром?
Огонь... Сдавило мозг кошмаром,
Сознание застит мне... О нет,
Теперь хочу Господний след
В анналах вечности сыскать я,
Чтобы молить предать проклятью
Тех, кто не гасит верхний свет!
Я кончил университет,
Я в прошлой жизни был ученый,
Глупец, глупцами помраченный,
Я полагал — возмездья нет!..*

*Но отдаленнейших планет
Достигнет слух о совершенном.
Гори же, мир умалишенный:
Я сам включаю верхний свет.*

Есть три эпохи у воспоминаний.

Анна Ахматова

(из стихов, записанных ею на пластинку)

*Был поздний час. Был Новый год.
Хозяин, красный, как с мороза,
Покачиваясь, пил за прозу,
Которая в стихах живет,
В кувшине старилась мимоза,
Лотаивал в стаканах лед.*

*Был поздний час. Был Новый год.
Хозяйка, тонкая блондинка,
Учтиво, как на фотоснимке.
Улыбкой напрягала рот,
И, привалясь к диванной спинке,
Дышал в чужие шубы кот.*

*Был поздний час. Был Новый год.
Еще тянулись разговоры,
Мешались шутки, толки, споры,
Но надоел такой компот,
И кое-кто подался в шторы —
Глядеть, не скоро ль рассветет.*

*Был поздний час. Был Новый год.
Но медленно пошла пластинка
И робко, будто бы с запинкой...
Я узнавала голос тот.
Вот так на ледяной тропинке
Весны предчувствуешь подход.*

*Плыл голос тот. Был Новый год.
И там, под снеговым покровом,
В предверьи таинства иного,
Судьбы свершался поворот.
Колокола звучали снова...
Был ранний час. Шел новый год.*

* * *

*Ну что ж, берите, Бога ради,
О чем бы кто ни попросил...
И лишь со строчкой из тетради
Расстаться не хватает сил.*

*Кружу под тем же снегопадом,
Как кто-то до меня кружил.
Дружу я с тем же, с кем не надо,
Как кто-то до меня дружил.*

*И тот же край зову в молитвах,
И тот же край зову тюрьмой,
И участь, узкая, как бритва,
Вот так же срежет голос мой.*

*Иль мы в огне не ищем брода?
Но вновь плывут, как облака,
Все те же воды, те же годы,
Кресты, и версты, и века.*

* * *

Все бьется человеческий гений.
В. Ходасевич

*И вдовий стон, и горький дух гонений,
И лязг, и скрежет волчьих поселений —
Не зря слезам не верила Москва!
А все же бьется человеческий гений,
И остается без поминовений
В сырой земле, не помнящей родства.
И та же пляска обгорелых душ —
Юродивых, насильников, кликуш,
Святых чертей, пророков бесноватых,*

Пустых колоссов, странников горбатых,
Уставивших глазницы в никуда...
Россия, долго ль будешь виновата?
Иль впрямь, многоповинная, права ты
До лучших дней — до Страшного Суда?
Еще не все отстроены остроги,
Еще не все раздроблены пороги,
Не все еще размыты берега...
К ненастью дело. Месяц, вновь пологий,
Глядит на потемневшие дороги,
Нацелив заостренные рога.

* * *

ГАМЛЕТ

Распалась связь времен.

Не верь часам —

Они без стрелок. Остается средство —

Пить допьяна или отдаться снам...

Нависла ночь над Датским королевством.

Который час? Скажу — второй, четвертый —

Какая разница? Весь город спит,

как мертвый...

И дай Господь ему проспать

Многострадальную эпоху

И так столетий через пять

восстать...

— Я был там, принц... Уснуть и там неплохо

На тот же срок...

— Там хуже, там ужасней во сто раз!

— Там, милый принц, пылает преисподня...

— Там сатана, заняв престол Господний...

Довольно. Призраки, невидимо для глаз,

Пророчат череду грядущих бедствий,

Что сбудутся... О, черный век и час!

Нависла ночь над Датским королевством.

На башенных пробило ровно три —

*То трижды ухнул филин. Ну так что же?..
Зловещий крик, на бой часов похожий...
Но как ушей, не видеть нам зари.*

*— Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла,
Люли, люли, стояла...*

*О, что за песня тихая? Мне слов
Не разобрать... Мелодия приятна,
А голос, голос... кажется, готов
Я поручиться... Нет, невероятно!*

*— Я пойду, пойду погуляю,
Белую березу заламаю,
Люли, люли, заламаю,
Люли, люли, заламаю...*

*Она?.. На чужеземном языке?..
Зачем? Что значит этот выбор странный?
О милая, ведь в Дании туманной
Так не поют. Опомнись... Что в руке
Ты держишь? Крест?.. Нет, веточку всего!
Что это, ива? Мокрая осока?
Венок твой затонувший тот?..*

Жестоко.

*Умолкнула. Исчезла. Никого!..
Один. Ну, так. Времен распалась связь.
Идти — куда? В кабак или в могилу?
Иль в Англию тайком? Иль в эту грязь
Вот так, лицом, как спившийся кутила?
Забить в набат? Поверить в ворожбу?
Сойти с ума иль впасть, хирея, в детство?
Смущен и тот, кто нынче спит в гробу.
Нависла ночь. Нет больше королевства!*

*— Я пойду, пойду, погуляю,
Белую березу заламаю,
Люли, люли, заламаю,
Люли, люли, заламаю...*

*Опять она!.. Иль это вправду сон?
Иль я схожу с ума, и наважденье —
Мне свыше знак, что кончилось движенье?
Но песня, песня, песня,*

связь времен!..

*Или — распад?.. Пробило ровно три.
То трижды ухал филин... Боже, Боже!
Знакомый звук, на бой часов похожий...
И как ушей, не видеть нам зари.*

1969—1973. Москва

* * *

В один из московских зимних вечеров 1972 года мне позвонил по телефону мой друг.

— Я приеду сейчас, — сказал он мне. — Я привез вам пластинку, симфонию № 40, Соль-минорную симфонию Моцарта.

Он не приехал: в тот вечер его арестовали. Были арестованы и многие другие — схвачены на улицах, вырваны из развороченных обыском квартир.

Им я посвящаю эти стихи.

СОЛЬ-МИНОРНАЯ СИМФОНИЯ

Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизнью кончается...

Анна Ахматова

1.

*«Я вам Моцарта привез,
Я приеду через час».
Полночь. Улица. Мороз.
В мутных окнах свет погас.*

*Не пришел он через час,
Не пришел он через день,
Не пришел он через год.
Не пришел он никогда.*

*Там, в пути, на полпути,
Кто-то черный поджидал,
День мой белый, отпусти
Во Владимирский централ!*

2.

*Тут, на праздничном столе,
Душно веточкам могильным.
Тут, на утренней земле,
Скучно жизням пересыльным.*

*Утром заперт лучший друг,
Прочих — бездна поглотила...
Ты заплакала не вдруг.
Раньше — шторы опустила.*

3.

*Приближается закон,
Совершается совет...
От раздавленных икон
С пола льется слабый свет.*

*«Я приеду через час,
Не тревожься обо мне», —
Сколько раз звучало в нас,
Обрываясь в тишине!..*

*Будто с чьих-то похорон —
Время, время, звук пустой! —
Я вернулась. Я сквозь сон
Воевала с пустотой...*

*А над городом — снега...
Полночь, женщина впотьмах.
След тяжелый сапога
На разорванных листах.*

4.

*Уйди. Уйдите. Дай забыть,
Не знать, не чувствовать, не видеть...
Ты слышишь? Дайте отлюбить.
Вы слышите? Отненавидеть.*

*О Русь моя, мой бедный дом,
Прости меня, как мать простила,
За то, что скорбью и стыдом
Одну себя перекрестила.*

5

*«Я вам Моцарта...» Темно.
«Я приеду...» Ранний стук.
Занесенное окно;
Кто там, недруг или друг?*

*Так и есть, и будет впредь.
Так и было. Почему
Надо прежде — умереть,
Чтобы жить в пустом дому?..*

*«Через час...» — который день,
Через день — который год!
Полустертая ступень,
Подконвойный поворот.*

*Там от сосенки к сосне
Ветру весело кружить,
Мне ж от стеночки к стене
Эту ночь не пережить.*

6.

Чтоб тоска меня скрутила
 В этих запертых дверях —
 Не о том судьбу молила
 На московских пустырях:

— Дай мне жара, дай озноба,
 Прохвати, не пожалей,
 Чтобы радостная злоба
 По задворкам, по труппам
 Разгорелась веселей.

Дай мне воли хоть на пробу,
 Дай мне верности до гроба —
 Снега белого белей,
 Зорьки утренней светлей.

Утро. Серые сугробы.
 Мы с тобою пьяны оба.
 Ладно, что уж там... Налей.
 Чтоб не жить?.. А может, чтобы?..

Я задам себе самой
 Эти поздние вопросы,
 Если с позднего вопроса
 Не дождусь тебя домой.

7.

Из опечатанных дверей
 Как будто Моцарт!.. Ближе, ближе...
 Хоть эту радость отогрей:
 Ведь я тебя уже не вижу...

Послушай, если ночь душна,
 И все вчера, и все бесцельно,
 Пошли мне Бог немного сна
 Для тихой песни колыбельной.

*Немного сна, и снегопад,
И верность памяти суровой,
Где ряд кладбищенских оград,
И воздух стылый и еловый.*

*Там руки стынут на ветру,
И шепот слышится оттуда:
«Что ж... Может, завтра я умру —
Сегодня я с тобой побуду».*

8.

*О, стонати Руской земли...
«Слово о полку Игореве»*

*То не скорбная страна
Пробуждается на час,
То последняя вина
Надвигается на нас.*

*И цветет чертополох
По раздольям вековым,
И не верит светлый Бог
Темным свечкам восковым.*

*И кадит, кадит, кадит
Над пожарищами дым...
Слышишь, колокол гудит
Не по мертвым, по живым.*

9.

*Так за потерей потеря
Под завыванье пурги.
Верю я или не верю —
Боже ты мой, помоги!*

*Что нам до шумного света —
Шепот любви и вражды —
Было бы горе согрето
Памятью общей беды.*

*То же, все то же и то же,
Вечные те же шаги...
Если я верую, Боже,
Боже, сейчас помоги!*

10.

*И метут, метут снега
За полярный, светлый круг.
Не видать за полшага,
Кто там — недруг или друг...*

*А над пламенем берез,
В бестревожной тишине —
«Я вам Моцарта привез,
Не тревожьтесь обо мне».*

Сентябрь 1974. Израиль





Владимир ЕРОХИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАМБОВ

(Из романа «Вожделенное отечество»)

Ф

амилия их была музыкальной — Реентович. Мне кажется, писаться она должна была — Регентович, иначе теряла смысл. Он и был настоящий скрипичный регент — Марк Наумович с литыми чугунными усами и властным взглядом цирковых огромных глаз. Никто из их учеников не стал великим скрипачом, и это очень характерно. Даже сыновья. Старший, Юлий Маркович, был скорее выдающимся организатором — он создал ставший знаменитым ансамбль скрипачей. Младший, Борис Маркович, и вовсе забросил скрипку, став виолончелистом в оркестре того же Большого театра.

Под конец жизни Мария Моисеевна совсем оглохла. Ее сестру звали Раисой. И имя это, и эта глухота вернулись ко мне через много лет, накрепко вплетшись

в мою судьбу, как и музыка.

И Тэрнер, Тэрнер...

Музыка звучала все больше итальянская — Вивальди, Паганини — вычурная, романтическая и совсем не подходящая к русским снегам. Разве что поляк Венявский, бывший русским подданным. Хотя вот Чайковский, который сочинял все то же самое, и к снегам это вполне подходило. Да, Чайковский.

И огнедышащий катер Тэрнера, тащивший по водам залива на кладбище кораблей фрегат, видевший битву при Ватерлоо. Фрегат был похож на скрипку. И — на смычок, подаренный мне Марией Моисеевной. На скрипке была выжжена надпись — “*Steiner*”. Доктор Штейнер, не имевший, видимо, никакого отношения к моей скрипке, говорил, что Бог живет внутри человека.

Скрипку мне подарил дядя Алексей Андреевич — старший брат моего отца. Она была обшарпанной, и он покрыл ее лаком, после чего скрипка оглохла. Вскорости и он сам оглох (догнала военных времен лихорадка). Помню, как дядя Леша разговаривал, смешно приложив ладонь к оттопыренному уху.

Тэрнера при жизни не признавали. Потом только во Франции появились столь же колоритные колористы — импрессионисты, изрядно испортившие вкус русской публике, но те изображали убегающую видимость земного, плотяного, вещественного бытия, хоть и сотканного из лучей света, а Тэрнер видел духов.

Вот и писали импрессионисты стога да пикники, балерин и проституток... Хоть бы одного ангела нарисовали.

В недрах человека скрыта бездна.

В недрах человека скрыт Бог.

Обратное течение времени. Мама взяла к нам в дом Женю Земцова — сироту, обещавшего стать гениальным скрипачом. Он переиграл руки, когда переехал от нас. Пророчество или подсказка? Предчувствие судьбы или чужая карма, взятая на себя, а потом отброшенная, но лишь мнимо, видимо, ибо карма не имеет реверса.

Заманчиво, зазывно звучали их имена: Леша Кожевников, Женя Земцов, Шурик Кабасин... Или: Зоя Истоми-

на. Ну, как еще могло звать скрипачку? Только так: Зоя Истомина — именем тонким, нежным и возвышенным, как запах канифоли, снежной пылью оседавшей на струнах. У всех учеников Марии Моисеевны на шее, в то месте, куда прикладывали скрипку, был шрам, на кончиках пальцев левой руки, твердых и черных, как четвертные ноты, — бороздки — след фанатически-усердных занятий. Кроме меня, бездельника...

Леша Кожевников повредил руку (вывихнул или сломал) на физкультуре, во время прыжка. Шурик Кабасин вообще сошел с ума. Женя Земцов растянул сухожилия, доучился все-таки, сочинял даже музыку и исчез где-то в Ульяновске, успев перед этим жениться. Что стало с Зоей Истоминой, я не знаю.

Шурик, "*Schröder*", Шрадик...

В кабинете Марии Моисеевны, увешанном фотографиями, стоял кабинетный рояль. Возможно, "*Schröder*". Они занимали восьмую квартиру в доме 2-а по Студенечкой улице в Тамбове. Прямо под окнами тек Студенец — ничем не примечательный ручей, бывший некогда судоходным. А за ним — стадион (возможно, бывший монастырь, как это нередко бывало в русской провинции).

Год продержалась тамбовская республика крестьян-повстанцев, упиравшихся военному коммунизму и чувявших коллективизацию. Ждали прихода с Дона подкрепления — белых войск. На чем был основан этот слух, неизвестно. Но только пришли туда ночью на конях отряды ЧОН во главе с Тухачевским — под видом белых. Был устроен маскарад — с погонами, знаменами, кокардами. А ночью, после дружеской пирушки, повязали тамбовцев сонными да и вывели всех в расход. Тухачевский изображал, надо полагать, генерала. А может, полковника — не знаю точно. Но только с контрреволюцией было покончено в одну ночь.

Автопортрет Тэрнера. Тэрнер ничем не интересовался, кроме живописи, и никогда не был женат.

И вот теперь, когда в моем кабинете (он же зала, спальня и гостиная, а также кабинет моей жены) стоит "*Schröder*", купленный по случаю в Путевом проезде, —

старенький, обшарпанный, без репетиции, сравниваемый моими друзьями с необъезженным мустангом (из-за причудливо тугой клавиатуры), — я воспринимаю его как карму — перст и дар судьбы и не променяю ни на “Blütner”, ни на “Petrof”. С мустангом моего “Schröder” ’а сравнивает мужественный певец, от которого я и узнал о тамбовском карнавале Тухачевского.

То-то все приезжающие из Тамбова жалуются, что народ там какой-то ущербный — вроде как недоделанный. Ну так как же! Косилка революции прошла. Что там осталось, кто уцелел и дал плод — одному Богу известно.

Меня назвали Владимиром в честь Ленина.

«Сотня юных бойцов из буденновских войск...» — пел тоненький девичий голосок. И в этом было что-то почеловечески мещанское, как закатный вечер, алый, как пламя, над обрывом к Студенцу, как керосиновая лампа на столе, как образа в углу, как цокот верховых коней над тихим весенним Тамбовом, как пасхальные яйца и свечи, как лепестки «китаек» и вырезные ставни, глядящие на Пензенскую улицу.

Житейская археология. Я уловил Россию в камнях булыжной мостовой Тамбова, по которым гулко прокатывала телега с молочными бидонами.

Живое, живоносное начало древесины встречало меня в скрипке, кисти, подоконниках и крашенных полах.

В окнах террасы, называемой сенцами, (наверно, сено в них хранили в деревнях в старину) были вставлены цветные стекольца — красные, синие и, по-моему, оранжевые, и всяк, входивший в них, делался как арлекин, — но я тогда этого слова не знал, пользуясь, не называя, словом «клоун».

Герб Тамбова изображал собой улей с тремя кружащимися над ним пчелами. Впрочем, сами жители города, отличавшиеся известным скептицизмом в отношении его ценности в истории, истолковывали это изображение иначе: как сортир с кружащими над ним мухами.

На базаре тамбовском крутилась карусель. И пригородный поезд, подкатывая к перрону, мелькал перед глазами

так же слитным смешением вагонных окон, дверей и тамбуров.

Базарную улицу так все и звали Базарной (на ней располагался базар), с трудом привыкая к новому названию — Сакко и Ванцетти, — отдаленно улавливая в нем намек на мочу. Но со временем привыкли, как и ко всем другим нововведениям.

Было много меди — медалей, оркестров, стреляных гильз.

Полководцы с осанкой шахматных коней.

Твердые позолоченные погоны, мундиры со стоячими воротниками и ватной набивной грудью, синие галифе подняли боевой дух армии на недосыгаемую высоту. Тогда же возродился русский патриотизм, не угасший и поныне.

В то время были Чомбе, Касавубу и еще какой-то Мобуту. Все ругали Лумумбу дураком за то, что он сам пришел к врагам на расправу.

У нас на кухне висела большая карта мира. Я зачертил красным карандашом желтое Конго. Конг было два: Браззавиль и Леопольдвиль. Потом одно из них стало — Киншаса, не помню уже, какое.

Политики были смехотворные — Кеннеди, Хрущев.

Выстрел Гагариным в небо произвел ошеломляющее впечатление.

Я терпеливо ждал, как неизбежного прихода весны, с таянием льдов и снегов, когда вся карта Африки станет красной.

Помню, как радовали красные чернила, — независимо от содержания.

В Тамбове я был известен как поэт патетического темперамента.

Чернила, густея, зеленели, отливали жирным жуковатым золотом, а, будучи разбавлены и разбавляемы все больше (примерно как чай пьют, доводя до платиновой светлоты), становились синими, а затем и голубыми, приобретая постепенно белесость расступающегося утра за окном — черным, зимним, в которое был четко вписан белый крест рамной перекладины.

Разными были наши формы, галстуки, чернила: у од-

них — шерстяные, шершавые, приятного маренгового цвета; атласно-шелковые алые морковки, рубиновые язычки пурпурного пламени; густые, цвета старой бронзы, с зеленью и позолотой; у других — сизо-фиолетовые, как свалевшийся туман, из облезлой линялой вискозы; хлопчато-бумажные, блеклые, мнущиеся, жеванные трубочки; унылые, подслеповато-голубые, с комочками за-кисшей грязи. И перочистки, и пеналы, и завтраки наши расслаивались по этим полюсам призорности и бесприглядства, как и места за партами: поближе к доске и подальше, рядом с круглой отличницей Зоей Изумрудовой или ябедой Тайкой Таякиной, а то и ужасным второгодником Балбекиным, весь перезревший пыл которого, казалось, уходил в адские замыслы устройства пакостей всем: учителям, одноклассникам, животному и растительному царствам, а также миру вещей.

Оценки тоже выставлялись по стратам. Троечнику Анурьеву даже за безукоризненный ответ нечего было надеяться получить больше четверки, которой он несказанно радовался, — той самой четверке, над которой горько плакал отличник Коля Кузнецов. Это было как разница в зарплате: для одних тридцать рублей — деньги, для других — ничто. Отличникам двоек никогда не ставили, так же как и двоечникам — пятерок.

Пацаны в подъезде пели о красотке Розинели. Луначарский знал толк в женских чарах, раз его жена прославилась не только в синематографе, но и в блатном фольклоре.

Иногда мной овладевали империалистические замыслы — хотелось уничтожить Турцию и отнять у нее Арарат, Ван и Эрзрум, Константинополь, Босфор и Дарданеллы; вернуть Аляску, Дальний и Порт-Артур, Финляндию и Польшу; Германию измельчить на города и пушками уткнуться, остужая раскаленные жерла, в Атлантический океан.

Мы любили песню «Коричневая пуговка» — про то, как «коричневая пуговка валялась на песке». Шли ребята, не обратив на нее никакого внимания, но среди них был босой и потому особенно бдительный пионер Алешка. «Нечаянно или нарочно — никто не знает точно —

на пуговку Алешка ногою наступил». А на пуговке оказалась надпись на иностранном языке. Ребята, посоветовавшись, сдали пуговицу в милицию. По ней вскоре нашли шпиона, потерявшего коричневую пуговку. Шпион шел со специальным заданием — кажется, отравить коллодец или взорвать завод, где работал Алешкин папа. Видимо, иностранные вещи были в тот период такой редкостью, что по оторвавшейся пуговице можно было поймать диверсанта. В период железного занавеса и холодной войны, да еще в провинции, это вполне могло быть реальностью. Брешь пробил всемирный фестиваль. Потом появились стилиаги, щеголявшие во всем заграничном, а позднее и фарцовщики, наладившие снабжение советских граждан зарубежным барахлом. Стилиаг ловили бригадмилыцы, стригли машинкой наголо, узкие брюки резали ножницами, а галстуки с обезьянкой и пальмами выбрасывали. Да еще фотографировали со вспышкой и вывешивали портреты стилиаг в самых людных местах. Но Запад брал свое.

В 60-е годы появились звездные «мальчики» — дети НТР. За ними выплыли «старики» (под влиянием Хэма). Потом поперли «деревенщики».

...Нашу «Литературную Россию», занимавшую почти весь верхний этаж серого конструктивистского здания на Цветном бульваре, так же как и основного домовладельца — знаменитую и могущественную «Литературную газету», злые языки называли бульварной прессой — именно из-за их местонахождения. По ту сторону бульвара стояли старый цирк и центральный рынок, что также давало повод для двусмысленных шуток, но этим поводом, по счастью, никто, насколько мне помнится, так и не воспользовался. Газеты жили в мире и добрососедском согласии, словно и не было между ними распрей в начале 60-х годов, когда были они еще тощими, выходили три раза в неделю и одна из них, а именно нынешняя «Литроссия», носила название «Литература и жизнь» (превращенное врагами в унижительную аббревиатуру «Лижи»). Я хорошо помню их бесконечную, доходившую до драки полемику, потому что ходил в школу через сквер, где щиты с этими газетами стояли рядом,

в каждом номере бурно опровергая, обличая и повергая друг друга в прах. У нас в Тамбове литературные события были в чести, много было пишущей братии, да еще из Москвы, что ни осень. наезжали на тамбовскую ниву Игорь Кобзев, Виктор Боков, Алексей Марков с рыжей петушиной бородой и — считавшийся известным московским поэтом, но в Москве абсолютно никому не известный наш земляк — Василий Журавлев, носивший прическу в форме лиры и всегда читавший с трибуны стихотворение про навоз, дающий основу хлебу. Трибуной чаще всего служил обширный гранитный постамент памятника Зое Космодемьянской, стоявшего здесь же в сквере перед школой, в которой я учился. В этом же сквере с нами — пионерами встречались пузатые старые большевики, брызгавшие слюной на алые галстуки, которые мы каждый раз им привязывали (куда они эти галстуки девали? у каждого дома валялось небось штук по 5 дареных). Одно время меня «подбрасывал» к школе райкомовский шофер дядя Жора на жуковатом «Москвиче» старого, еще «эмковского» образца, но это продолжалось недолго — пока мой отец, в диагоналевой гимнастерке, галифе и военных сапогах, с отчетливым пулевым шрамом на правой щеке, работал секретарем райкома партии (после бурного пленума в 1955 году, когда все коммунисты проголосовали за отца, он все-таки не был избран, поскольку критиковал в своей речи самого секретаря обкома Лобова). Это избавило меня от едких насмешек учительницы Екатерины Федоровны («сия персона не может ходить пешком»), но не от некоторых льгот, которые полагались мне как сыну горкомовского, а потом и обкомовского работника: спецбольницы с чехлами на пустеющих диванах, дорожками и фикусами, а также пропуска на трибуну на площади Ленина в дни ноябрьских и первомайских торжеств. Улица Интернациональная (бывшая Дворянская), по которой мы шли с отцом, шурша новенькими болоньевыми плащами, безлюдная в этот ранний час предвкушения праздника, была украшена флагами, гирляндами ламп, портретами вождей. На перекрестках ее пепегораживали встык составленные грузовики.

Мы предъявляли милиционерам картонные пропуска.

Несли плакаты, символизирующие дружбу народов. Русский был одет в нормальный европейский костюм — пиджак, рубашку с галстуком. Украинец был также в пиджаке, но уже в вышитой рубахе. Прочие народности шли в один ряд, одетые в национальные костюмы: в полосатых халатах — народы Востока, кавказцы в бурках и лохматых папахах, прибалты в жилетках, соломенных шляпах и деревянных башмаках. Русская женщина — русоволосая, ясноглазая, — впрочем, также была наряжена в фольклорный сарафан.

Шпана тоже готовилась к празднику. Загодя заготавливались резинки, проволочные пульки, иглы, ученические перья с одной обломанной половинкой для сугубой остроты оставшейся — все это предназначалось для пуляния, метания и просто прокалывания воздушных шаров. Так, обломанные перья были весьма остроумным метательным снарядом, оснащенным бумажным оперением, примотанным к перу нитками, что давало довольно высокую точность броска.

На трибуне было холодно, но весело. Нас, пацанов, пропускали вперед, к самым канатным ограждениям. Отныне солидно топтались сзади, потирая перчатками замерзшие носы и уши. Матери, слава Богу, оставались дома, проклиная вчерашнее «торжественное», где они, украдкой вынимая затекшие ноги из праздничных тесных туфель (на «торжественное» полагалось приходиться с женами), вытерпеливляли занудный, неизвестно кем сочиненный доклад «первого», маялись в перерыве по бархатному фойе облдрамтеатра имени Луначарского, где, стесняясь, пили лимонад с пирожным, а потом еще гадкий концерт, с которого, впрочем, можно было и удрать, но считалось неудобным. Перед канатами, в масляных белых квадратах, стояли четкие, как заводные игрушки, солдаты с карабинами и примкнутыми к ним кинжальными штыками. Парад всегда радовал, особенно когда военные, дружно открывая рты, кричали «ура», единым махом вздымая над асфальтом голенища надраенных сапог, а демонстрация была похожа на цыганский табор

или тамбовский базар, с пестротой одеяний, разнообразием нетрезвых лиц, лузганьем семечек, плясками вприсядку и пеньем под гармошку — и все это на ходу. Иногда в колонне шел свой оркестр, и тогда военные музыканты на площади умолкали, и мы слушали гуканье большого барабана и взвизги любительских альтов и труб. Провозили всякую пазность на машинах, несли портреты и лозунги, но это все было больше похоже на сельскую гулянку в престольный праздник, чем на солидное политическое шествие, если бы не лозунги, изрыгаемые рупорами с трибуны, в ответ на которые, не разбирая смысла, проходящая толпа очень охотно, хотя и вразнобой, кричала «вра». К колонне всегда пристраивался пьяный, который путался у всех под ногами и иногда падал у самой трибуны, подхватываемый стражами порядка. Мы всегда выстаивали демонстрацию до конца, потому что каждый раз среди трибунных пацанов проносился слух о том, что под конец по площади проскачут три богатыря на конях, в полном снаряжении. Но богатыри так никогда и не проскакали перед красной трибуной, а мы свято верили в них и все ждали, ждали...

Дети партийных работников любили, встав на перемене между парт, произносить следующую речь: «Товарищи! Все мы — товарищи. Но среди нас есть такие товарищи, которые нам не товарищи». Второгодник Попов сочинил речь под названием «Мы — русские люди», где говорилось о том, что мы должны отлавливать немцев и «вешать их на вешалках на площадях».

Выпив, взрослые морщились и говорили, как бы удивляясь: «Крепка... советская власть!» Так и запомнилось с детства: что советская власть крепка и что при упоминании о ней надо морщиться.

Когда я впервые услышал «Интернационал», я решил, что «работники всемирной», которые «владеть землей имеют право», — это партийные работники — друзья и коллеги моего отца, а «паразиты» — их враги. Мне кажется, что и они так думали. На сером фронте клуба «Знамя труда» была вытесана барельефная композиция: по одну сторону — «работники всемирной» — мужественные, мускулистые, с молотками и знаменами. а по

другую — пузатые, монстрообразные «паразиты» в цилиндрах, обреченные на истребление диктатурой пролетариата. Так и впечаталось с детства: что пролетариат — это начальство, а диктатура — когда они делают, что хотят. Во всех подвальных зарешеченных оконцах виделись мне паукообразные капиталисты и помещики, прикованные цепью к стене, пожизненно выполняющие общественно-полезный труд. И мы, первоклашки, со страхом припав к очередному подвалу и угукнув, опрометью бросались прочь от этого логова буржуев.

«Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала». Меня поражала документальная подлинность этой песни. В американской армии разведка до сих пор называется "*cavalry*" — кавалерия.

И еще привлекательная фигура «буржуя» — в цилиндре, фраке, с тростью. Его рисовали на плакатах, он остался неизменным персонажем оперетт, ради него вспоминаются события гражданской войны. Чаплин — тот же мелкий, опустившийся буржуа.

И — тоска по мужику, бывшему существеннейшей частью жизни России.

Когда отец напряженно думал, мучительно билась жилка на правом виске, чуть пониже осколочного ранения, и этот комок умной плоти, рождавшей мысль, поврежденной войной, а потому обреченной на приливы боли, бледно-розовой, чуть прикрытой прядью поседевших волос, трепетной, был неслышным укором легкомыслию моей жизни.

Мне представился дом, внутренние стены которого были вынесены вовне: с картинами, потретами родных, может быть, даже иконами. Обои были снаружи. Внутренние и внешние стены, иными словами, ничем не различались между собой. И другой дом, где внешние стены были внутри, там был и внутренний дворик. И мне вспомнился трубач Миша Д., у которого как будто вовсе нет внутреннего плана бытия, а есть только внешний, как отражатель, с его поверхностными, мгновенными репликами-реакциями, заезженными, вульгарными шутками, — все это только снаружи, а внутри — лишь жидкости да слизи: кровь, моча, сперма, желчь, слюна,

желудочный сок; может быть, и слезы, хотя в это не верится. Мыслей там нет, только мозги: кашевидная, слизистая масса. Ну, и еще знание нот — он ведь трубач. И еще вспомнилась Люда И., у которой словно бы нет внешнего плана бытия, а есть только внутренний, и она от этого чувствует себя неловко, и больно ушибается там, где не ушибется никто, и движется как-то скомканно, боком — от отсутствия формы, и делает все не в такт, потому что вся — внутренняя — наружу — без обертки.

Я думаю о тех людях, из которых складывается мой автопортрет. Они отражаются в моих глазах, как и дома, события. Ведь единственная реальность — человеческая душа, сознание, все существующее существует в нашем сознании. Все, что я знаю, что есть в моей памяти и душе, и составляет мой автопортрет.

Вспоминаются кондукторши в мерзлых тамбовских автобусах — горластые, в матерчатых перчатках с отрезанными пальцами, чтобы легче считать медяки. Одна из них, с вострым и добрым дегенеративным лицом, никогда не брала с меня денег. Деньги тогда были дробные, со многими десятичными долями, которые теперь не учитываются. Возле кондукторши была электрическая печка, о которую она грела пальцы, обжигая их после морозной гремющей мелочи. Мы дышали на пятки и придавливали их к окну, протаивая стеклянную полынью, через которую виднелась улица.

Дикторшу дядя Слава фамильярно называл Ниночкой Шиловой. Говорили, что у нее один глаз стеклянный: выбодала рогом корова на ВДНХ. И все женщины страны не слушали сообщений, а только гадали, какой глаз стеклянный — левый или правый. Еще все удивлялись, когда диктор Балашов, облысевший, стал вновь волосеть, покрывшись легким пушком, а потом и буйной пенистой шевелюрой. Одни говорили, что у него парик, а другие, что волосы настоящие, которые ему вырастили в Париже.

Были популярны куплеты: «Римский папа грязной лапой лезет не в свои дела. И зачем такого папу только мама родила?»

И еще: «Дяде Сэму за гроши продал душу Чан Кай-ши. И теперь его душа уж не стоит ни гроша».

Дядя Сэм изображался с бородкой, в цилиндре. Он часто клал ноги на стол.

На смену сталинскому зачесу назад, выражающему стремление общества вперед и выше, пришла косая челка с пробором, отразившая либерализацию общества.

Помню литературные вечера в редакции молодежной газеты, столь густо увешанные табачным дымом, просто усталые им, что забывалось, ради чего, собственно, здесь собираются, и казалось, что главным делом является именно курение — такое себе каждение богу прозы и поэзии, еженедельный ритуал.

Комическое впечатление производила «госпожа Хрущева» — знаменитая Нина Петровна — толстая, сияющая, слегка смущенная вниманием. На званных международных вечерах они с супругом являли собой торжество демократии, вероятно, шокируя аристократов простецкими манерами.

Тогда и появились звонкие, бойкие «мальчики» с баскетбольными сумками, ни в чем не схожие с молодогвардейцами и обходившие стороной покорителей целины. Им чужды были и манерные «стиляги», разоблаченные журналом «Крокодил» и подвергнутые, подобно овцам, стрижке в отделениях милиции бравыми ребятами из бригады. «Мальчики» были спортивные, ироничны и ориентированы на дикий, полный опасностей и приключений Запад. Их духовным отцом был Хемингуэй, пророком — Ремарк, предтечей и кумиром — Уолт Уитмен. Все они, от прически и кед, от ковбоек до взглядов на жизнь — чистых и распахнутых всем ветрам — были американцами. Их культивировала, преподносила, пачками пекла катаевская «Юность» — «детей Флинта»; — раскованные, длинноногие, столичные, воспитанные едва ли не по доктору Споку, они сами себе казались надеждой нации. Вот только слегка мешали старики (не «старички» Хемингуэя, а настоящие — «кони» или «танки»), оставалось терпеливо дожидаться, когда они сами отомрут. Молодые «старички» (или «мальчики», или «сердитые молодые люди») носили хемингуэевские бороды,

драные свитера и только-только появившиеся облезлые джинсы. Они не расставались с походной гитарой, ночевать предпочитали в палатке, у костра, пили кофе без сахара в молодежных кафе (которые позднее переродились в гадюшники для проституток, фарцовщиков и воров). Всюду стали вспыхивать голубые и прочие «огоньки», с чтением стихов, игрой на саксофоне, бурными дискуссиями. Зашевелились модернисты, в особенности живописцы, получившие остроумное наименование «тля». Особенные надежды связывались у всех с покорением космоса.

Законодателем моды стал Фидель Кастро. Со всех обложек всех иллюстрированных журналов смотрело его мужественное дружественное лицо, обрамленное толстовской бородой. Высокий, бравый военный, он являл разительный контраст с низеньким, круглым, штатским Никитой Сергеевичем.

Рассказывали, что однажды Хрущев посетил выставку московских художников и сказал речь, в которой были такие знаменательные слова: «А кому у нас не нравится, пусть уезжает отсюда к эбене матери». Американцы как будто записали эту речь на пленку, вырезали кусок со знаменательной фразой, склеили его кольцом и запустили через «Голос». И все могли в течение сколько угодно долгого времени слушать знакомый по бесчисленным выступлениям голос вождя, повторяющий исторические слова: «а кому у нас не нравиться, пусть уезжает (или убирается — не помню точно) отсюда к эбене матери».

Никита Сергеевич никак не мог одолеть премудрость русской грамматики и решил в конце концов ее отменить. Писать: «огурци», «конци», «молодци».

...И вот тот самый Человек, который для Хрущева был другом, товарищем и братом, оказался вдруг бездельником, жуликом и лихоимцем. На смену высокой сознательности пришли органы милиции и прокуратуры — и это в тех самых вожделенных 80-х годах, которых мы так ждали, о которых так мечтали из глубины 60-х, и боялись только одного — что не доживем.

Да и как было не развалить сельское хозяйство, если

повсюду искоренялось травопольное земледелие и заменялось пропашным, насаждалась кукуруза, забивался личный скот. Это только усугубило предвоенное разорение.

Еще Хрущев любил Америку — тайно, с оглядкой на Китай, но любил — за ум и веселый нрав. Было в нем и врожденное сельское, провинциальное тяготение к городу, метрополии. Он и дома́ хотел чтоб были как в Америке, и фермы как у Гарста, и демократичен был на американский манер. Жаль только — капитализм им мешает — думал, видать, про себя.

Американцы тоже по-своему любили Никиту Сергеевича, хотя и считали его дурачком.

А уж как Хрущев армию подраспустил — тут наши соколы за головы похватались.

Он надеялся победить, в случае чего, с помощью ракет.

Очень обрадовался, когда спутник запустили. Космонавтов любил. Даже и представить себе нельзя было ничего космического без улыбающейся луновидной головы Хрущева. Кажется, Гагарин ему в улыбке подражал.

И ни один политический деятель не оставил после себя такой дурной памяти — даже Сталин, у которого остались сторонники, чей портрет украшает ветровое стекло каждого третьего грузовика. Кто повесит у себя портрет Хрущева?

Он и ушел-то на американский манер — не умер, как подббает нормальному вождю, а был выбит из седла соперниками.

На подносе лежали бутерброды, а деньги мы клали сами и сдачу набирали, сколько нужно, из лежавшей тут же мелочи. Так же точно продавались перышки, резинки, карандаши, школьные тетради и прочая мелочь. Доверие всем нравилось, но постепенно обаяние светлых зорь прошло, и начали, сперва робко, а потом все смелее, хватать все так, пока самообслуживание не отменили. Там же, где оно осталось, был введен удвоенный контроль.

Хрущев думал, что, обладая более эффективной социалистической системой где не разбазариваются народ-

ные средства на серьги и яхты для миллионерш, а стихия рынка и кризисы не мешают плановой и неуклонно растущей, легко и четко управляемой экономике, мы уж точно обгоним США. И он бросил вызов.

Речи Хрущева были хвастливы и изобиловали вульгаризмами, которые первоначально импонировали всем, а потом стали резать слух: все ж королям не подобает говорить в стиле дворников.

Вероятно, никогда за всю историю России не было сказано и рассказано столько анекдотов, как в благословенную эру Хрущева, длившуюся около 10 лет.

Хрущев старался ни в чем не походить на Сталина, и это ему удалось.

Еще он думал, что ускоренному движению вперед мешают пережитки, или, как он их называл, родимые пятна капитализма: тунеядство, хулиганство, религия и модернизм. Стоило убрать эти неприятные пигменты — и мы пошли бы вперед семимильными шагами.

Преступность он решил отменить, преступников перевоспитать. Было модно брать хулигана на поруки рабочего коллектива. Думали, что скоро и тюрем-то не будет. Лагерь он как будто начал потихоньку закрывать.

Но оставалась еще сталинская гвардия. Да и молодая подросла, которой не по духу были хрущевские веяния, а нужен был порядок.

Мы никогда не жили так весело, как при Хрущеве. Он был гениальный и простодушный авантюрист, в стиле героев О'Генри.

Казалось, Хрущев и сам радуется изобилию анекдотов о нем.

Он любил это слово — изобилие.

Коммунизм был его светлой и простодушной мечтой, представляясь в виде большого универсального магазина в Нью-Йорке, — только расплачиваться по выходе не надо.

Хрущев считал, что у нас все не хуже, чем в США, — и быки, и самолеты, а метро даже лучше, да и балет тоже. Балет он любил смотреть из первого ряда партера, откуда все хорошо видно, — не то что Сталин, сычом глядевший из правительственной ложи в морской бинокль.

...Диск победы. В ранце каждого американского солдата лежала эта пластинка, выпущенная в 1944 году, с записью буги-вуги. Джаз, наиболее свободолобивая музыка, являет собой яркое противостояние авторитарному сознанию. Они отстаивали демократию. К тому же это искусство негров, а янки воевали против геноцида. Хрущев говорил: пусть наши быки с вашими померяются.

Звездные мальчики мечтали сo звездным билетом улететь к звездным далям. А колхозники — на фанерном аэроплане — к едене матери.

Мне приснилось, что воскрес мой отец. Он шел по Тамбову, по Интернациональной улице, довольно молодой, ироничный, в соломенной шляпе, в костюме и рубашке без галстука, с отросшей черной щетиной, и как бы говорил мне:

— Ну, где твой Бог? Я его так и не видел.

А воскрес он так. Женщина, старая коммунистка, подошла к его гробу и довольно грубо сказала:

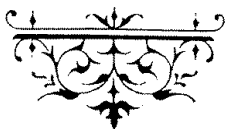
— Петр, черт, вставай!

И он встал.

Политики всегда были смехотворными. У нас в доме, в Котовске, жил столяр, которого звали Чемберленом, непонятно, за что.

Степанова, жившего в Тамбове в большом желтом доме на углу Пролетарской и Интернациональной, называли Шопеном, хотя играл он не фортепиано, а на скрипке.

Если быть искренним и бесстрашным, тогда получится хороший автопортрет.





Вера ХАЛИЗЕВА
НАТЮРМОРТЫ

Олегу Кроткову

* * *

*Эта ваза
так синеглаза
и застенчива ваза,
и нежна, и отважна,
нежна, как Ундина,
тонка и прозрачна,
как апрельская льдина,
солнечным пронизана светом —
изменчивым, капризным поэтом.*

* * *

*То весны ли веселые трюки,
не знаю,*

но только солнечным утром
засмеялась на кухне кастрюлька,
такая молодая, такая зеленая,
в кого-то влюбленная.

И тотчас —
точно это
ее счастливого смеха,
в трубе водосточной
за шумела,
а в стеклянных стаканах
зазвенела,
запела вода.

* * *

Над белоснежностью молошника
голову гордо вознес
синий графина хрусталь,
как морозного неба
прозрачный кристалл.
И солнца январского
блеска неяркого
желтые блики
легли на стол.

* * *

Ты видел ли? Нет? А я видел
воочью,
как ночью
бугыли
грустили
и счастьем светились,
и выходили на свидание
в звездном сиянии.
И тихо спрашивали тыкву:
«Здравствуй!
Ты к нам

откуда? с огорода?»
«Нет, — отвечала она, —
с небосвода.
Я — луна.»
А в отдаленьи, озёрно синяя,
дремали
эмали
кувшина.

* * *

Скажи нам, скажи нам,
к каким же вершинам
стремятся, уходят, взлетают
кувшины?
Кувшины, ковши, караваны
ковчегов —
в блужданьи, скитаньи, кочевьи,
побеге,
в исканьи, в полете. Мгновенье
настанет —
взлетевшие стаи в тумане
растают.
Но бег их не кончен, он не
прекратится,
они продолжают все дальше
стремиться.
И в странствии странном,
в безмолвном полете,
в пространстве астральном,
свободно, без плоти,
уже невесомы, незримы,
неслышны,
всё дальше влекомы, всё дальше,
всё выше,
всё выше!

Николаю Ларскому

НАТЮРМОРТ СО СТОЛОВЫМ НОЖОМ,
РАСКОЛОТОЙ ЧАШЕЙ И РАЗБИТЫМ ЯЙЦОМ

О, страшное дело!

Нож.

Острое лезвие обнажено.

Чье ж

судорогою гнева искажено, —

судорогою бессилья и гнева, —
лицо?

Божье ль лицо?

Чаша расколота, разбито яйцо.

Хрупки

жизни скорлупки.

Огромной янтарно-прозрачной слезой
потекло

живое стекло

белка,

нежное солнце желтка —

по милосердию послушного бумажного
листка.

НАТЮРМОРТ С МОРСКИМИ РАКОВИНАМИ

Мир — пустыня.

Мира — конец.

Где человек, творенья венец?

Для кого

солнце льет

сиянье свое?

Для кого

немолчные волн зорны?

Для кого

свеж воздух горный?

Для кого

прекрасны

*и дивны формы,
чисты и нежны краски
раковин?
Как отпечатки, оставленные
душами, покинувшими тела,
как изумленные улыбки,
как ангелами оброненные крыла.
Для кого
БОГ?*

АКАФИСТ

Петру Старчику,
композитору

1.

*Смертному глазу Бога
не видно, лишь видит око
сёрдца Его в цветах,
и звёрях, и облаках.
Не слышит смертное ухо
гласа Его, но слуху
сёрдца в пении птиц
звучит, в молчании скал,
с пожелтевших древних страниц,
в человеческих смертных устах.
Ведь Бог человеком стал?
Бог человеком стал,
спустился на землю и Сам
вымыл ноги ученикам,
заповедал, чтоб не творили
кумиров нигде вовеки,
чтобы Его открыли
в брате своем — человеке:
голоден — накормили,
жаждет — напоили,*

чтобы душу свою
за други своя положили.
И еще заповедал —
нет ни эллина, ни еврея.
И осуждению предал
гордеца-фарисея.
Во Имя Свое Сам первый
Юродивый на земле
Царь мира в столицу въехал
на распяты на осле.

2.

О, храбрый добрый рыцарь,
в синей бездне глаз твоих
и мне Господь открылся —
живой среди живых!
Нет, не с копьем, не в чатах —
в дождь, в снег, ночной порой —
ты в пальтеце в заплатках
с готовностью крылатой
летишь на зов любой
с холщевою котомкой,
а в ней сокровищ столько!
В ней — с цветиком на холсте —
груз миллионкратных
свидетельств о распятых,
воскресших во Христе!
Из уст едва ли схожих —
из детских взрослых уст...
Для страждущих прохожих
твой холст вовек не пуст.
Всем камням бытия,
всем мучкам перевес —
котомочка твоя,
тебя избравший крест,
тобою так несомый,
как будто невесомый.
Как ты эту силу выстрадал

и кто с тебя подвиг взыскивал
целить и научать —
не мне судить-решать.
Токи странного счастья душу,
темную душу мою
омывают, когда я слушаю
тебя, на тебя смотрю.
Столько ведения, веры, света
как же может вселять человек
в человека в безумном этом
мире грешных слепцов и калек!
Благодарной любви не пряча,
к запыленным твоим стопам
склоняюсь. Как же иначе
приближаются к Божествам?





Генрих РОУТСИ

РОССИЙСКИЙ ГАМЛЕТ

(Из книги «Ожидающая культура»)

Ф

ранцузская революция поставила перед русским обществом большой устрашающий вопрос: что будет теперь с Россией? Постигнет ли и ее судьба Франции, или ей уготован другой путь? *

Мнения по этому вопросу разделились. Выделилась небольшая часть сторонников французской революции, но большинство, даже тех, кто уже стали активными противниками монархии, было напугано и шокировано ужасами якобинского террора. Так возникла некая противотенденция, желание удержать Россию от вхождения в опасный фарватер. В этом намерении отчетливо проявилось действие сверхчувственного доброго водительств-

* Вопрос этот, естественно, встал и перед другими народами Европы.

ва. Среди прочего, это выразилось в том, что на самой вершине государственной власти в России вдруг появляются люди совсем особого рода, каких не было ни до, ни после них.

И здесь мы подходим к личности императора Павла I. В истории царствовавшего дома Романовых он занимает совершенно особое место. Скоро уже два столетия, как его на все лады бранят и монархисты, и социалисты. Главная характеристика Павла, о которой знает всякий школьник, это, что он был ненормальный. Вполне понятно, когда в подобном духе высказывается о русском императоре, правившем чуть не двести лет тому назад, наследник революционных традиций, но что остается думать, когда в выдержанной в самых типичных верноподданнейших тонах книге читаешь о Павле следующее (1912 г.): «Не злодейское средство, пущенное в ход для того, чтобы избавиться от правления видимо больного и неменяемого Государя, вызвало эту бурю восторгов (по случаю убийства). Радоваться гибели призванного и коронованного Монарха не в духе русского народа! Но все легко вздохнули при мысли, что наступил предел всем бессмысленным стеснительным мерам, всем до неменяемости диким и непонятым распоряжениям... не знакомые между собою люди обнимались и поздравляли друг друга, как в день Светлого Воскресения!» * (подчеркнуто нами, Г. Р.). А двумя страницами ниже автор продолжает: «В спальню Его ворвалась ватага пьяных людей, с кулаками набросившихся на свою беззащитную жертву... Они зверски, бессмысленно, бесчеловечно искалечили молившего о пощаде Императора, топтали его ногами...» Прочтя такое, невольно думаешь, а не страдает ли сам автор тем недугом, который он приписывает «коронованному Монарху»?

А вот что говорит о Павле прогрессивный психиатр П. И. Ковалевский, поставивший ему диагноз в начале нашего века. По его мнению, император принадлежал к «дегенератам второй степени с наклонностями к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования».

* А. И. Соколова. Северный сфинкс. СПб, 1912.

Насколько этот «бред преследования» имел под собой реальную основу, выяснилось 11 марта 1801 г.* Художник А. Бенуа изучал портрет Павла, который, по его мнению, стоит «один целого исследования» и неопровержимо доказывает, что император был безумен.

Что ж, не станем спорить ни с художником, ни с психиатром, а посмотрим сами на портрет. Он принадлежит кисти В. Л. Боровиковского. Для полноты впечатления возьмем еще детский портрет Павла кисти Ф. С. Рокотова.** Нужно ли тут комментировать? Лишь большая предвзятость может помешать увидеть самое очевидное — совершенную ясность ума у того, кто изображен на этих портретах. Взрослый Павел довольно скептически и даже иронично относился к внешним атрибутам императорской власти. Определенный юмор был ему присущ и в отношении к самому себе, что мы увидим позже из одного примера. Все это видно и на портрете. Павел смотрит явно с иронией на затею увековечить его лик для потомков, но поскольку подданные этого не просто «хотят», но у них уже есть готовое представление о том, как должно подавать себя величие, то он просто идет им навстречу. Что же касается детского портрета, то в нем нет ничего другого, кроме веселого, подвижного нрава и свободного развития ума у изображенного на нем ребенка.

Итак, критика императора Павла имеет два главных свойства: она активно недоброжелательная и до крайности странная. А как обстоит в ней дело с фактами? В. О. Ключевский говорит: «Больше анекдота мы ничего не знаем об этом царствовании». Но анекдотов существует много, и у них необычайно долгая жизнь. Два самых популярных из них, это следующие. В одном рассказывается о том, будто бы Павел скомандовал не понравившемуся ему на параде полку: «Марш в Сибирь!», — и полк прямо с парада так туда и зашагал. В другом говорится, что Павел однажды подписал разом три противоречащих один другому указа. Но, увы, всё

*В этот день Павел был убит.

** Первый из них хранится в картинной галерее в г. Сумы, на Украине, второй — в музее Ярославля.

это действительно анекдоты и не более того. Но наравне с ними имеются и вполне серьезные отзывы о Павле. Особенно интересны из них те, которые сделаны людьми, не близкими императору или даже враждебными ему. Генерал А. П. Ермолов, впоследствии герой Отечественной войны, отбывший при Павле 2 года в заключении, говорил, что у «покойного императора были великие черты, и исторический его характер еще не определен у нас». Другой современник Павла, писатель А. Коцебу, побывавший по его милости в сибирской ссылке, писал: «Из 36 миллионов русских по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять императора, хотя и не все сознавали это». То же самое утверждает и декабрист М. А. Фонвизин: «Простой народ даже любил Павла». От генерала Беннигсена, непосредственного участника царевичейства, мы узнаем, что «император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязывал его к себе». Потому заговорщики во время переворота особенно боялись солдат. «Успей Павел спастись бегством, — свидетельствует княгиня Ливен, — и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли». Ну, а каковы были дела Павла? Вот некоторые из них. Манифестом от 5 апреля 1797 года он ограничил барщину тремя днями в неделю. При этом в воскресенье все должны были непременно отдыхать. Историк Н. К. Шильдер впоследствии оценил этот манифест «как попытку подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому». За крестьянами числилась недоимка в 7 млн. рублей (цифра по тем временам астрономическая). Павел ее снял. Было разрешено старообрядцам иметь свои церкви и священников. Купеческое сословие получило возможность выбирать своих представителей на весьма высокие государственные должности. Этой привилегией оно пользовалось только при Павле.

За четыре года Павлова правления в солдатских школах было выучено 64 тыс. человек, была открыта медико-хирургическая академия, университет в Дерпте, институт для женщин. И вообще, как пишет свидетель царевичейства Н. А. Саблуков, «земледелие, промышленность, тор-

говля, искусство, науки имели в нем (в Павле) надежного покровителя». Наконец, в польском вопросе деятельности Павла дает характеристику поляк, князь Адам Чарторыйский. Он говорит: «Царствование Павла еще до сих пор в наших местах (в Польше) называют временем, когда злоупотребления, несправедливости, притеснения в мелочах, необходимо сопровождающее всякое чужеземное владычество, давали себя чувствовать всего слабее».

Но наравне со всем этим было, разумеется, и другое. Павел отличался строгостью в отношении к дворянству, к офицерам и за это даже был заподозрен в «якобинстве» и «санкюлотстве».

Мы не задаемся целью создать идеальный образ Павла. Нас интересует реальный человек, и как таковой Павел I не только не обнаруживает никаких следов душевного расстройства, но, напротив, во всех своих действиях проявляет незаурядный ум, проницательность и беспримерный в среде монархов демократизм.

Павел загадочен — это несомненно. И чтобы его понять, необходимо обратиться непосредственно к его личности. Во время путешествия с молодой женой по Европе, когда была еще жива Екатерина II, Павла прозвали «русским Гамлетом»; позже Наполеон увидел в нем «русского Дон-Кихота». В век филистерства и «глубоконаучной обоснованности» небезопасно получать такие прозвища. Это доказывает, например, совершенно плоское замечание Герцена, что Павел «явил собой отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон-Кихота». Согласиться с этим высказыванием равнозначно признать правоту, скажем, общества Фамусова в его отношении к Чацкому — литературному выражению русского Гамлета. Пришлось бы тогда и в шекспировской драме принять сторону датского двора. Ведь это в высшей степени симптоматично, что Павла причислили именно к тому ряду героев, которых окружающее их общество объявляет сумасшедшими. То впечатление, которое Павел производил на своих современников, показывает нам, что в нем реально приходит к явлению тип личности, присущий новой эпохе, прафе-

номеном которой является фаустовская душа. Фаустовская душа живет и в Гамлете, и в Дон-Кихоте, и в Чацком. Но откуда бы ей взяться в литературе, если бы не было ее прообразов в жизни.

Было бы ошибочным идеализировать фаустовскую душу, ибо она сильна как раз своими противоречиями. Но что в ней притягательно — это неустанный и глубоко честный поиск истинных основ жизни, назначения человека. В своем окружении она с неизбежностью, так сказать, персона *non grata*, ибо является его антиподом, по той причине, что принцип «остановись, мгновенье», которым живет это окружение, хуже смерти для фаустовской души.

Павла отличало глубоко рыцарское благородство, неведомое при развращенном дворе Екатерины II. Он отпускает на свободу Костюшко под честное слово не сражаться впредь против России. Его ум не скован привычными догматами и всегда ищет решений, сообразных действительности, но именно это многие объявляют чудачеством, странностью или даже безумием. Вот один образец этого «безумия». Павел предложил Наполеону, вместо того, чтобы истреблять народы в бессмысленной войне, решить дело их личным поединком*. Было, конечно, ясно, что предложение — чистая условность. Но можно ли представить себе шаг, с большей очевидностью разоблачающий всю бессмысленность непомерного честолюбия французского воителя? Только к концу XX века подобные идеи стали приходить на ум борцам за мир. И никто не находит их безумными или смешными. Павел вовсе не был наивным и хорошо понимал свое окружение и свою эпоху. Он знал, что подчас требуются сильные средства, чтобы достучаться до ее самосознания. Принципом же его действия, как он писал об этом К. И. Сакену, было: «...j'aime mieux être haï en faisant, bien, qu'aime en faisant mal» (письмо от 4 февраля 1777 г.) — «я предпочел бы быть ненавидимым, делая добро, чем любимым всеми, творя зло».

Павел был противником всяких монархических церемо-

* Наполеон ответил на вызов отказом, но отнесся к нему с уважением.

ний, собраний, благодарственных изъявлений со стороны подданных. Авторитет самодержца часто лишь мешал ему в повседневных делах *, где его отличали простота и естественность. Характерен в этой связи один случай из его жизни. В гарнизоне Михайловского замка служил уже упомянутый нами офицер Н. А. Саблуков. Он обладал художественными способностями и однажды, увидев на дереве нарост, чем-то напомнивший ему облик Павла, сделал с него стилизованный рисунок. Получился шарж на императора. Офицерам он понравился, они стали просить Саблукова сделать для них копии. Не смея отказать товарищам, тот наделал их не менее сорока штук. Но вот однажды, дежуря в замке, Саблуков, дабы сократить время, стал срисовывать бюст Генриха IV и так увлекся своей работой, что не заметил, как сзади подошел император. Взглянув на рисунок, Павел похвально о нем отозвался, а потом спросил:

— А не делали ли вы когда-нибудь мой портрет?

Саблуков храбро ответил:

— Много раз, Ваше Величество!

«Государь, — рассказывает сам Саблуков, — рассмеялся, взглянул на себя в зеркало и произнес: „хорош для портрета!“ ** Затем он дружески хлопнул меня по плечу и вернулся в свой кабинет, смеясь от души».

Внешняя канва жизни Павла удивительно напоминает судьбу шекспировского принца. Имея врожденные наклонности к честности и благородству, Павел воспитывался в трудной, морально нездоровой среде екатерининского двора. Уже в раннем детстве ему приходилось самому отбирать книги для чтения, поскольку неразборчивые воспитатели нередко приносили безнравственные сочинения. Рано узнал он о том, что его мать — ви-

* Но совсем иначе смотрели на это сами подданные. Павлу, например, требовалось выбрать нерадивого офицера. При этом он иногда сам показывал, как следует обращаться с оружием. Окружающие же видели лишь одно: перед ними император. Если бы довелось Павлу править лет 30, может быть, и удалось бы ему так воспитать офицерство, что оно в первую очередь реагировало бы на суть дела; четырех же лет было явно недостаточно.

** Нечто от этого восклицания и запечатлено на упомянутом нами портрете.

новница смерти отца, а его убийца — ее фаворит. Во дворце это ни для кого не было тайной. Даже тень предка являлась Павлу, только это был не отец, а прадед — Петр I. Видение длилось около полутора часов. В нем Петр, вздыхая, произнес: «Павел, бедный Павел, бедный князь!», а потом предостерег не делать моральных ошибок.

В более позднем возрасте Екатерина систематически и грубо третировала Павла, решив, в конце концов, лишить его трона. Однако, несмотря на все это, как свидетельствуют современники, Павел (и в этом состояло его отличие от датского принца) «был полон жизни, остроумия и юмора».

Образованием Павла руководил граф Н. И. Панин, отказавшийся от должности вице-канцлера ради воспитания великого князя. Панин был весьма незаурядной личностью, его отличал широкий кругозор поистине «государственного» человека. Как свидетельствует его брат, Панин работал над «Рассуждениями об истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления, и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей». В духе своих «рассуждений» Панин воспитывал и Павла. Особенно значительный разговор между воспитателем и воспитанником состоялся за 2 дня до смерти первого — 28 марта 1783 года. Находясь под большим впечатлением от того разговора, Павел вечером же наспех, с несвойственной ему небрежностью стиля, набросал свои собственные «Рассуждения». В них, в частности, он пишет: «Поверено было о неудобствах и злоупотреблениях нынешнего рода администрации нашей, проходя разные части и сравнивая с таковою в других землях и опять с обстоятельствами нашей, нашли за лучшее согласовать необходимо нужную монархическую исполнительную власть по обширности государства с преимуществом той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма самого государя или частного чего-либо». И далее: «Станем стараться помочь и отвратить главнейшие неудобства. Поможем сохранению свободы состояния каждого, заключая оную в должные границы.

и отвратим противное сему, когда деспотизм, поглощая всё, истребляет, наконец, и деспота самого...

Должно различать власть законодательную и власть, законы хранящую и их исполняющую. Законодательная может быть в руках государя, но с согласия государства. а не иначе. без чего обратится в деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в руках под государем, предопределенным управлять государством. Отложим теперь первые из сих разделений по вышесказанным причинам. Видно из сего, что вторая, будучи связана с третьей, должна быть согласована с сею. Из сего следует, что необходимо нужен свободный выбор членов собрания таковой власти, как и выборы по наместничествам, которые конфирмируются государем, чем обе власти споспешествуют к лучшему содействию, а как надобен залог твердости постановления, обеспечивающий государство и государя, то и будет сим собрание мужей, пекущихся о благе общем, в сохранении законов...» При этом необходима «особа, которая могла бы, присутствуя, соглашать объявлением воли законов и намерений государя как разные мнения, так и направлять умы к известной цели. Сия особа должна быть канцлер правосудия, министр государев».

Во время написания «Рассуждений» Павлу было 28 лет, а девятью годами ранее он подал своей матушке другие «Рассуждения», в которых предлагал: отказаться от наступательных войн (!), а военную систему устроить для целей обороны и так, чтобы она не была в тягость защищающимся. В «Рассуждениях» имелись и вполне конкретные рекомендации, как все это сделать.

И вот теперь нам становится совершенно понятно, за что двести лет клянут Павла монархисты. Двойник самодержавия — всегда инспиратор абсолютизма, он экспансивен, и проводники его намерений в политике всегда выступают за империализм. Поэтому для монархистов Павел — республиканец. Труднее понять, чем не угодил Павел демократам. Однако попробуем разобраться и в этом.

Влияние Н. И. Панина на «русского Гамлета» про-

явилось еще в одном отношении *. Панин был знаком с оккультными течениями своего времени, состоял членом ряда масонских лож. Видимо, разговоры на эту тему также велись во время учебных занятий; впоследствии к этому добавились непосредственные знакомства Павла с высокопоставленными членами масонских братств, куда он, в конце концов, вступил и сам. Историк П. И. Бартенев по этому поводу писал: «Любопытно было бы узнать, с какого времени Павел Петрович поступил в орден франкмасонов (в Стокгольме, во дворце, есть его портрет в орденском одеянии). Через супругу свою он находился под сильным влиянием прусского двора, а прусский наследный принц принадлежал к числу самых ревностных членов ордена». О принадлежности Павла к ложам свидетельствует и Н. А. Саблуков.

О связях Павла с ложами вскоре стало известно Екатерине II, и окружавшие ее иезуиты всполошились. Екатерина, воспользовавшись введенным Петром I правом назначать преемника по выбору правящего монарха, решила вместо Павла завещать трон его сыну Александру. С этой целью Александр сразу же после рождения был фактически отнят у родителей, и все его воспитание перешло в руки «царственной бабки». Павел, уже хорошо понимавший, куда клонится все дело, и чувствовавший свою большую личную ответственность за буду-

* Нам, однако, не следует слишком переоценивать влияние Н. И. Панина. Воспитанник сам был чрезвычайно предрасположен к усвоению того рода идей, что изложены в его «Рассуждениях». Кроме того, вообще не известно, слышал ли Павел всё, изложенное во втором «Рассуждении», от Панина или сам говорил ему это. Вслед за тем он написал еще одну записку, в которой речь идет о вещах, совсем практических, об учреждении целой системы министерств и проч.

Панин явился лишь пробудителем всех этих наклонностей в молодом Павле. Ведь Павел испытывал на себе и иные влияния, но они не имели успеха. Так, уже в самую раннюю пору юности, а вернее, даже детства (в 11—12 лет) к нему не раз подступали со своими искушениями развращенные фавориты и всякая челядь екатерининского двора. С другой стороны, глубоко уважая Фридриха Великого, он «не заразился (его) ... упорным безбожием» (Н. А. Саблуков).

щее страны и народа, в среду которого он был поставлен судьбой, воспротивился этому намерению. И когда Екатерина умерла, он активно занял трон, в общем-то, вполне принадлежавший ему по праву. Имеется слух, будто Павел уничтожил тайное завещание Екатерины. Вполне возможно, что так это и было. В то же время трудно себе представить, чтобы при жизни зрелого и многоопытного отца трон занял совсем молодой сын, к тому же лично вовсе не желавший этого.

* * *

Итак, на русский престол взошел человек, несший в себе черты архитипа личности эпохи души сознательной. В дневнике Гёте имеется следующая запись в день, когда он узнал об убийстве Павла: «Фауст. Смерть Императора Павла». Вряд ли, хотя это утверждают многие, здесь лишь простое совпадение. Кому, как не Гёте, было распознать, где в его эпоху проявляется фаустовская душа. *

Гамлета, как об этом говорит Р. Штейнер в одной из лекций, которую мы цитировали в предыдущем очерке, можно рассматривать как ученика Фауста. При этом его русский ученик, говорится в той лекции, — это лишь дух, улетевший потом на Восток. И вот мы констатируем, что этот дух воплотился; правда, не в массе народа, а в отдельной личности. Произошло это благодаря тому, что Павел — почти немец по происхождению. Одних культурных импульсов для такого воплощения в XVIII веке на русской почве не хватило бы. Однако и одной крови было мало, тем более, что шла она по линии царствующих домов Европы. Было необходимо, чтобы к ней приешалось русское начало, мощное действие ауры русского народа. Тогда врожденная способность к разви-

* Гёте пристально изучал все обстоятельства убийства Павла I, о чем сохранились записи в его бумагах. А это значит, что и при жизни он проявлял к нему интерес.

тию я-сознания* пришла в связь с глубокими религиозными, спиритуально-нравственными импульсами, действовавшими в русской народности, но также, что особенно примечательно, и с теми пра-славянскими импульсами, в силу которых «русскость и царизм испокон веков были отчужденнейшими между собой явлениями ... не сочетались вместе». Таковы суть те ингредиенты, из которых слагается характер русского «ученика Фауста». В нем мы видим проявление первой зари того, что впоследствии станет главным элементом русского духа: «интеллектуальность, которая в то же время является мистикой, мистика, которая в то же время есть интеллектуальность».

Найдя ключ к пониманию личности Павла, мы все еще не способны судить о его действиях, пока не попробуем представить себе нечто, не нашедшее своего отражения в мировой литературе: Гамлета в роли императора державы, в одно столетие проделавшей путь, равный полутысячелетнему развитию европейских стран, да к том же ставшей после Петра I мировой. Мы не склонны думать вместе с Герценом, что Гамлет или Дон-Кихот — фигуры, не подходящие для трона, если уж он все равно существует. История убедительно показала, сколь много бед понаделали признанные всеми прагматики. Но дело даже не в общих принципах, ибо речь у нас идет о случае почти уникальном. Поэтому попытаемся с разных сторон взглянуть на то положение, в котором оказался Павел I, заняв русский трон, и не будем при этом спешить с выводами. Петровские реформы, как мы уже говорили, не только вывели Россию из предшествовавшего

* Что Екатерина II была наделена незаурядным умом — в этом мнении сходятся все.

Об отце Павла, Петре III (которого, кстати, тоже называют полумумным), Р. Штейнер рассказывает в лекции от 19.06.1917 г. (библ. № 176), что во время его правления Россия в союзе с Англией и Австрией вела семилетнюю войну против Франции и Пруссии. И вот, от русского двора поступила нота к дворам австрийскому и прусскому с предложением прекратить бессмысленную войну на основе взаимных уступок. Нота отличалась необычайной реалистичностью, и мир был заключен.

застойного состояния, но и буквально вышибли ее из всякого равновесия. В последующий период она медленно и мучительно приходила в себя. При этом «жалю» петровских деяний давало о себе знать вольсю. «... Сепдца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен», — сетует Д. И. Фонвизин, крупнейший русский писатель XVIII века. А вот как характеризует ту эпоху В. О. Ключевский: «Потеряв своего Бога, заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из Его храма, как человек, ставший в нем лишним, но, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норвил перед уходом набуянить, всё перебить, исковеркать, перепачкать... Новые идеи прививались как скандал, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского...»

Дарованная дворянам вольность вызвала их отток по своим деревням, и фонвизинский Митрофанушка стал типичной фигурой русского мелкопоместного дворянина. Крупная аристократия сибаритствовала при дворе императрицы, помышляя лишь о новых благах. Светлейшие представители культуры не допускали мысли об освобождении крестьян.

И вот в такой среде Павлу предстояло осуществлять те свои планы, о которых мы читали в его «Рассуждениях». Не осуществлять их он не мог, ибо хорошо понял дух своей эпохи, понял весь анахронизм монархий в новое время. Но препятствием на пути к реформам были не столько неграмотные крестьяне, сколько полуобразованное дворянство. Чтобы ввести конституцию, учредить выборное правление, нужно было подготовить, воспитать соответствующих носителей. Вот почему Павел принялся за дворянство и получил при этом прозвание противодворянского царя или даже санкюлота.

Перед Павлом была и еще одна трудность. Ее характер мы пойдем из одного размышления Пушкина, которое мы находим в его заметках по истории XVIII в. (1822 г.). «Аристократия после него (Петра), — говорит

он, — неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян... мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». Все это, несомненно, понимал и Павел, но он был не писатель, а монарх, поэтому о том, что он понимал, мы должны судить на основе его действий. Они же были таковы, что в особой строгости он держал высшее офицерство, старался приучить к дисциплине и порядку мелкое дворянство, внести хоть какие-то элементы самосознания в среду низших сословий — купечества, солдат, крестьян. «Солдат, полковник, генерал — теперь это всё одно!» — восклицает один современник Павла; другой свидетельствует: «Офицеры перестали нежиться, а стали лучше помнить свой сан и уважать свое достоинство»; а третий говорит о том, что «император Павел... создал в некотором роде дисциплину, регулярную организацию, военное обучение русской армии, которой пренебрегала Екатерина II».

У нас нет возможности рассмотреть многие другие стороны жизни и деятельности Павла, но если бы мы это сделали, то получили бы новые подтверждения того, сколь осмысленно и проницательно действовал Павел. Однако возьмем еще один пример. Павел отменил пенсию, которая выплачивалась от русской короны изгнанному Людовику XVIII (200 тыс. рублей в год). Зачем он это сделал, осталось непонятным до сих пор. Казалось бы, почему

одному «абсолютисту» не поддержать другого, пострадавшего от революции? Но вот, полтора десятилетия спустя Александр I освобождает Париж и наносит Людовику, воцарившемуся в Тюильри, визит, а тот встречает его не то, что не любезно, но просто враждебно, несмотря на то, что был обязан ему возвращением трона. Когда же Людовик снова бежит от Наполеона, то остаются его бумаги, благодаря которым обнаруживаются его недобрые замыслы против Александра. Мы также не знаем причин столь вопиющей неблагодарности Людовика, они — в тайных пружинах европейской политики, о которых можно только догадываться. Но для нас становится ясным другое: значит, было за что лишать Людовика пенсии. Павел узнал о какой-то его закулисной деятельности и совершил поступок, умолчав о причине; и лишь случайно обнаруживается позже, что он был прав, а иначе и по этому поводу можно было бы судачить, как кому вздумается. И так обстоит со многим в деятельности Павла. Он находился буквально в положении между Сциллой и Харибдой. «Сцилле» внутренних трудностей, о которых мы уже говорили, противостояла «Харибда» трудностей, шедших извне. Суть их (но опять же далеко не вся) сводится к следующему. Павел, как мы теперь знаем, был введен в масонские ложи. Будучи императором, он, естественно, занимал там далеко не начальные градусы. А это значит, что он располагал широкими сведениями обо всем, что происходило за кулисами внешних политических событий, инспирированных из лож. Французская революция раскрыла ему способы действия и намерения британского оккультизма. С другой стороны, он был хорошо осведомлен о масштабах внедрения английского масонства в русские ложи. И вот теперь мы можем представить себе, что за проблема встала перед Павлом. Россия — мощная мировая держава — уже никак не могла быть скинута со счетов европейской политики, и это *implicite* делало ее врагом Англии, вернее, британской мировой политики. Понимая всю опасность подобной конфронтации *,

* Он это понял, еще будучи юношей, что явствует из его «Записки», поданной Екатерине II, о которой мы уже говорили.

Павел и словом, и делом подчеркивал миролюбивый характер русской политики, избегал всяких столкновений с британскими интересами. Но это уже мало чему помогало, ибо в Англии рассуждали так: хорошо, этот русский император миролюбив, но где гарантия, что при его преемниках все не изменится самым кардинальным образом? Поэтому не было средств, способных ее успокоить. И это также понимал Павел. Поэтому он и вознамерился образовать в России как можно скорее сословие людей, способных обратить демократические преобразования в России ей на благо, выработать такую форму правления, которая не внушала бы страха Европе и, одновременно, была бы эффективной в отстаивании суверенитета собственной страны. Чтобы все это осуществить, нужно было не дать тому, что в революциях приводило к кровавому террору, сорвать процесс ограничения монархии конституцией. Главная трудность на этом пути заключалась в том, что приходилось опираться на одних и тех же людей, которые, с одной стороны, должны были служить носителями демократических преобразований, а с другой — сплошь и рядом были членами лож, подчинялись дисциплине лож, в которых преобладали англофильские настроения и прямое влияние Англии.

Таковы были трудности. Но у Павла не было выбора. Он мог бы не вступать в борьбу лишь в том случае, если бы не понимал расстановки сил или не захотел бы ее понять, подобно своей матери, или, наконец, ограничился бы лишь благополучием собственной персоны, на что пошел целый ряд европейских монархов. Хотя в последнем случае риск для него все равно был велик. Ибо Россия — это, скажем, не Швеция. Ее неискупаемым «грехом» в глазах представителей британских мировых интересов стало самое наличие ее обширных ресурсов.

Павлу, как высокоградуированному масону, несомненно, делались предложения пойти путем той демократизации, что пропагандировалась в ложах. Но Павел ответил отказом, ибо перед его глазами стояла французская революция, и было ясно, какие дела могут про-

истечь из высокопарных слов. По этому поводу у него есть следующее весьма любопытное высказывание: «Он (Людовик XVI) начал снисходить и был приведен к тому, что должен был уступить. Всего было слишком мало и между тем — достаточно для того, чтобы в конце концов его повели на эшафот».

Павел избрал другой путь. Он вознамерился обуздать безумие, охватившее ложи. Как исходящее из этого намерения следует понимать его решение принять звание гроссмейстера Мальтийского ордена. Историки обычно придают второстепенное значение этому факту, объясняя его романтическими наклонностями Павла, тогда как он является главным во всей европейской и особенно средиземноморской политике России конца XVIII века.

Мальтийский орден, или орден Иоаннитов, был последним из глубоко духовных орденов Европы. Он пользовался высоким авторитетом в среде духовно ищущего масонства. Полноправным представителем его интересов при европейских дворах долгое время являлся граф Сен-Жермен, та историческая индивидуальность (внешней истории о ней известно довольно мало, но у нее нашлось много подражателей, и вот о них-то и сохранились разные авантюрные истории), которую мы должны рассматривать как стоявшую в тесной связи с самим Христианом Розенкрейцем. Ввержение масонства в радикальную политическую борьбу, распространение в его среде атеизма поставило Мальтийский орден в опасное положение, поскольку суверенитет острова Мальты сильно зависел от Франции и герцогств Италии. Руководители ордена стали искать сильного покровительства перед лицом надвигавшихся катаклизмов. Особого выбора у них не было. Причастность английских лож к возникновению якобинской диктатуры для них не составляла тайны. Оставались венский двор и Петербург. В 1795 г. в Петербург приехал посланник ордена граф Литта. Его сопровождала представительная свита: носители большого креста, командоры. Павлу было сделано предложение стать покровителем ордена, и он это предложение принял в 1797 году. Год спустя армия

Бонапарта по пути в Египет осадила порт Ла-Валетта и, благодаря предательству*, захватила его. Начался грабеж. Французские офицеры, среди которых было множество членов лож, срывали со стен орденских помещений оккультные знаки, захватывали священные реликвии**. Гроссмейстера ордена Фердинанда фон Гомпеша путем грубых унижений заставили подписать капитуляцию. И тогда Павлу было предложено стать гроссмейстером ордена. В Петербурге был создан филиал ордена из двух приорств: российского православного и российского католического. Русское дворянство получило, таким образом, возможность вступать в орден, не меняя вероисповедания.

Принимая на себя гроссмейстерство, Павел намеревался противопоставить радикализму лож высокие духовные идеалы орденов и таким путем в цепочке (о которой мы уже говорили): ордена — ложи — партии подвинуть пошатнувшийся влево центр тяжести, ближе к истокам правомерного духовного водительства.

В Манифесте от 21 декабря 1798 г. Павел заявил об этом открыто, хотя и на языке братств. Законы и правила ордена, стояло в Манифесте, «предъявляют сильную преграду против бедствий, происходящих от безумной страсти к переменам и новостям необузданным...» Таким образом, Мальтийский орден становился пробным камнем, на котором должны были обнаружиться тайные замыслы европейской политики.

Борьба за Мальту началась еще в 1797 году. Павел тогда сделал попытку урегулировать отношения с Францией, борьбу с которой начала еще Екатерина, вступив в союз с Англией и Австрией. Подобным шагом Павел намеревался занять нейтралитет в конфронтации Англии и Франции и ограничиться узкой задачей поддержки Мальты. Но переговоры с Францией были сорваны Н. П. Паниным (о чем он впоследствии открыто хвастался), племянником воспитателя Павла и в дальнейшем

* К концу XVIII в. орден был в значительной степени подорван изнутри проникшими в него иезуитами.

** Все это было погружено на корабль, который вскоре затонул.

участником антипавловского заговора. Захват французами Мальты * довершил дело, и 18 декабря 1798 г. Россией был заключен союз с Англией, а через два дня принято соглашение о возвращении Мальты ордену. Для борьбы с набиравшим силу Наполеоном Англия остро нуждалась в помощи России, но заключенный союз заставлял ее отказаться от прежнего способа проводить свои намерения в жизнь через европейские ложи. Так, хотя бы на короткое время, тактика Павла увенчалась успехом. В Константинополе состоялось совещание, в котором приняли участие адмирал Ушаков и английский и турецкий посланники. Было решено послать объединенный флот на освобождение Ионических островов. Взятием Корфу (знаменитый штурм русскими бастионов прямо с кораблей) операция была успешно завершена. Французов выбили с островов, и Ушаков ввел на них конституцию. Теперь открывался путь на Мальту. Но тут в позиции Англии стал проявляться все возрастающий оппортунизм. Дело кончилось неожиданным захватом Мальты англичанами 25 августа 1800 года. Это было прямое предательство, и в Петербурге оно произвело ошеломляющий эффект **. Подобным актом стоявшие за кулисами британской политики оккультные братства фактически раскрыли свои карты. Теперь Павлу стало ясно, что борьбы с Англией не миновать и в ней будет решено: удастся ли поставить предел рискованной экспансии британских братств или Россию ждет судьба Франции. В изменившихся условиях требовалась концентрация всех сил, и потому Мальта временно отступала на второй план. Эскадре Ушакова было велено вернуться в Севастополь, и она

* Какой недалекovidный шаг для такого стратега, как Наполеон, если брать вещи чисто внешне.

** Мы прослеживаем лишь главные нити той сложной и тайной борьбы. Не все участвовавшие в ней стороны всегда и вовремя понимали истинный смысл происходящего. Оттого возникали ложные действия, неправильные суждения, и поныне сбивающие с толку многих историков. Не умея проникнуть к сути событий, они тем охотнее ограничиваются описанием их внешней канвы. Но тогда приходится довольствоваться лишь большой иллюзией.

покинула Ионические острова, продемонстрировав этим еще раз отсутствие в то время всяких завоевательных намерений у России*.

23 октября 1800 г. на все английские суда, находившиеся в русских портах, было наложено эмбарго, а дипкорпус в Петербурге получил ноту, в которой говорилось о нарушении конвенции от 20 декабря 1798 г. (о Мальте). Перед Англией было поставлено требование выполнить условия конвенции, и тогда эмбарго будет снято, но одновременно Россия снова обратилась к переговорам с Францией. Наполеон был тогда единственной силой, открыто противостоявшей британским намерениям.

Здесь мы хотели бы еще раз предостеречь читателя от односторонних оценок. Когда дело идет о глобальных проблемах развития целых культурных эпох, то всякий взгляд на них с точки зрения лишь национальных интересов способен только исказить понимание. Поэтому необходимо научиться восходить к пониманию мировых интересов, в борьбе за которые добро и зло не разделены столь элементарно, как, скажем, в жизни отдельного человека или в историческом событии. В качестве поясняющего примера можно сказать о том, что материализм был инспирирован розенкрейцерами как необходимая стадия в эволюции человечества, но не их вина, что он принял столь искаженные формы. Для его успешного преодоления Розенкрейцерами же миру дан Гётеанизм, однако силы препятствий ведут против него борьбу. То же самое можно сказать и о социалистических идеях. Их появление было неизбежно, однако далеко не в любой форме они полезны для развития.

Другой, можно сказать, методологический принцип, который необходимо усвоить, если желают понять новую эпоху, состоит в том, что не всегда борьба в ней ведется между силами добра и зла. Часто силы зла сами побеждают друг друга. Так, французская революция была

* Попытки историков объяснить заинтересованность Павла в судьбе Мальты военно-стратегическими планами столь зыбки, что мы даже не станем их касаться.

явно люциферически-ариманическим порождением, истребившим в конце концов самое себя. Не романтическим героем был Наполеон, а подставной фигурой, инспирированной Ариманом. В этом следует искать объяснение его совершенно бесчеловечного военного гения *. Ища союза с Наполеоном, Павел, как говорится, лишь попал из огня в полымя. Россия настаивала на возвращении Мальты ордену, Наполеон принял на себя некоторые обязательства, однако в дальнейшем постоянно ими манкировал, обнаруживая этим (более, чем всем другим) свою непримиримую враждебность духу. Вторым условием России в переговорах с Францией была высадка совместного десанта в Англии. Но и в этом вопросе Наполеон повел себя по меньшей мере странно. Это особенно бросается в глаза на фоне политики Павла. Осознав неизбежность войны с Англией, Павел делает все необходимое для того, чтобы ее не проиграть, даже планирует посылку казачьего корпуса в Индию, что, несомненно, не заключало в себе никаких колониальных намерений, а имело целью хотя бы на время лишить Англию богатых поступлений из ее основной колонии. Наполеон же, получая союзника в борьбе со своим главным противником, вдруг в январе 1801 г. заключает союз с Австрией и этим создает кризис в переговорах с Россией. Так обнаруживает себя расстановка действительных сил. Не политика волнует Аримана, а духовная судьба России. Не дать подготовиться ей к своей миссии — такова его главная цель; сообразно с нею действует и марионетка Наполеон. Что же касается британского оккультизма, то он, впад в национальный эгоизм, также считает за лучшее для себя не дать осуществиться шестой культурной эпохе и вместо нее прочлеть пятую культуру, где англоязычным народам принадлежит ведущая роль.

Англия в своем подходе к войне с Россией заняла ничуть не менее реалистичную позицию, чем Павел,

* Д. С. Мережковский в своем романе-биографии «Наполеон» изобразил его одновременно и спасителем Европы от якобинских революций, и демоном, наделенным недоброй метафизической силой.

и в конце зимы 1801 г. ее флот под командованием адмирала Нельсона взял курс на Кронштадт. Но вскоре произошло убийство Павла, и до войны дело не дошло. О готовящемся убийстве русского императора в Англии знали и ждали его. По этой причине английский кабинет не проявлял абсолютно никакого беспокойства в условиях надвигавшейся войны. Заговор против Павла был составлен в петербургских ложах. Возглавляли его граф фон дер-Пален и генерал Беннигсен — английский подданный, состоявший на русской службе. Русским не особенно доверяли, даже введенного в главное ядро заговорщиков князя П. Зубова Пален презирал и считал ничтожным.

Заговорщикам удалось как-то впутать в свои махинации сына Павла Александра. Нет никаких реальных оснований причислять его к участникам заговора, что упорно стараются сделать историки. Всё, чего удалось добиться Палену, это, вербуя своих сторонников, ссылаться на то, что великий князь на их стороне, иначе из русских никто за Палечом не пошел бы. Проверить утверждение Палена было невозможно. Ну кто бы решился подойти к Александру и открыто спросить, состоит ли он в заговоре против отца. Косвенные же свидетельства в свою пользу Пален фабриковал, беспардонно интригуя между отцом и сыном. Этот новоявленный Яго внушал Павлу, что сын злоумышляет против него, а сына пугал тем, что отец уже решил сослать его. Подобным же образом поступали с императрицей, нашептывали ей, что муж хочет заточить ее в монастырь. Сторонникам Палена удалось устранить из окружения Павла всех верных ему людей. По всему Петербургу интенсивно распространялись разные ложные слухи, анекдоты, дискредитировавшие императора. Насколько они были сильны, можно судить по их долгой жизни. Особенно широко пользовались тем, что, выполняя приказы Павла, доводили их до абсурда и тем как бы фактически укрепляли главную доминанту ведшейся против него пропаганды — будто бы он душевнобольной. В какой-то мере в этом, вероятно, удалось убедить даже Александра. Ему внушали, что для блага страны его отца надо отстра-

нить от власти. Однако не доказано, был ли Александр согласен даже с этим. Зато хорошо просматривается другое: заговорщики забрали в руки такую власть, что смогли запугать и подавить всех, кто был с ними не согласен, в том числе и Александра. Среди многих фактов об этом свидетельствует та грубая и циничная уверенность, с которой Пален бросил Александру, когда он рыдал, узнав о гибели отца: «*Assez fait l'enfant! Allez régner!*» («Довольно ребячиться! Идите царствовать!»). Убийство Павла было подготовлено с большой основательностью. В замок проникли два отряда: один под командованием Беннигсена, другой — Палена. Совершить убийство предназначалось отряду Беннигсена, но если бы что-то этому помешало, на помощь должен был выступить отряд Палена. Кроме того, повсюду в коридорах были расставлены отдельные вооруженные офицеры.

Вокруг главного ядра заговорщиков существовал более широкий их круг; в него входил английский посол в Петербурге. Этот круг также действовал с большой эффективностью. Когда раскаявшийся адмирал де Рибас вознамерился предупредить Павла о готовящемся на него покушении, то тут же заболел: ему дали «не то» лекарство. Н. П. Панин дежурил возле постели больного, пока тот не умер. В Лондоне связным заговорщиков служил русский посланник граф С. Р. Воронцов, отстаивавший английские интересы лучше любого англичанина. Он, в частности, страстно призывал Павла к войне с Францией и проповедовал идею, что России не следует развивать мореплавание и промышленности, а лучше специализироваться на одном сельском хозяйстве.

Документальных свидетельств причастности Англии к заговору не сохранилось, но можно в ней не сомневаться. Среди заговорщиков находилась некая О. А. Жеребцова (позже, в 40-х годах, она протезировала Герцену), родственница князей Зубовых. Она была любовницей английского посла и хвасталась, что имеет ребенка от английского короля. Незадолго до царевубийства она выехала в Европу и в Берлине открыто говорила, что Павел скоро будет убит. В дальнейшем, как об этом пи-

шет историк Е. С. Шумигорский, ссылаясь на свидетельство князя Лопухина, сестра которого была замужем за сыном Жеребцовой, эта последняя прибыла в Лондон и там после кончины Павла получила 2 млн. рублей для раздачи заговорщикам, но присвоила их себе. «Спрашивается, — восклицает Шумигорский, — какие же суммы были переданы в Россию ранее?» Действием английского золота объяснял убийство Павла и Наполеон.

Имеются попытки обосновать мотивы заговорщиков конституционными намерениями. В этой связи говорят, например, о проекте конституции П. Зубова. Но достаточно познакомиться с биографией этого князя, чтобы найти подобную версию просто смешной. Небезынтересно отметить и тот факт, что после цареубийства у заговорщиков не оказалось никаких дальнейших целей. В то же время, уже при Александре I Н. П. Панин заключил с Англией конвенцию о морской торговле, сведшую на нет все усилия не только Павла, но и Екатерины II. Эта конвенция подвела, кроме того, и союзников России Данию и Швецию. С. Р. Воронцов же назвал конвенцию «совершенной»!

Не вызывают сомнений и «якобинские» намерения Англии в отношении России, которых так опасался Павел. До нас, например, дошли слова одного из заговорщиков, офицера Н. Бибикова, сказанные им за последним ужином, на котором спаивали непосредственных исполнителей цареубийства. Он тогда сказал: «... нет смысла стараться избавиться от одного Павла ... лучше всего было бы отделаться от них всех сразу». Один из современных исследователей эпохи Павла приходит к выводу: «Крайнее, республиканское мнение или чувство, по крайней мере, словесно близкое к тому, что прежде говорилось Радищевым и делалось в революционной Франции, — эта идея легкой вспышкой предвосхитит важные декабристские слова и мысли».

Итак, Павел проиграл в своей борьбе с «безумием лож». Его убийство показало, сколь опасно противопоставлять себя намерениям оккультных братств Британской империи; из дальнейшего же стало ясно, сколь

опаснее им потакать. Все это так, и тем не менее, возвращаясь к сказанному нами о трудностях понимания больших мировых проблем, мы все же должны видеть истинного убийцу Павла в двойнике русского самодержавия. Ему удалось это сделать по той причине, что Павел не сумел вызвать в достаточно широком кругу своих современников правильных представлений о сути и задачах новой эпохи. Но если бы это произошло, то из духовного мира были бы привлечены силы доброго Духа-водителя Народа, который действует в ответ на свободное прошение людей, и тогда был бы создан заслон против люциферически-ариманических происков. Вернее сказать, Павел не успел этого сделать. Возникнув как бы на вершине претворенной в добро волны петровских мероприятий, он был смыт ее противоположным, неочищенным ударом, пришедшим из хаоса европейских событий. Его враги, отстраняя от него верных людей, тем самым лишали его духовной защиты и убили лишь, когда он остался один.

В заключение еще остается сказать, что при восшествии Павла I на престол одному солдату дворцового караула было видение архангела Михаила, а кончина большинства убийц Павла, как свидетельствует один современник, «представляла ужасную нравственную агонию в связи с самыми жестокими телесными муками».

Фрагменты из первой части книги «Ожидающая культура» см. в вестнике «Среда» № 1.





Сергей АВЕРИНЦЕВ
СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
с немецкого

Райнер Мария РИЛЬКЕ

ОРФЕЙ. ЭВРИДИКА. ГЕРМЕС

*То были словно копи душ усопших.
И души чуть мерцали в темноте,
как серебро в породе. Меж корней
пробилась кровь, что уходила к людям
и тяжкою казалась, как порфира,
в бесцветной мгле.*

*И скалы были там,
и призрачные рожи, и мосты
над пустотой, и тот огромный пруд,
что был простерт над недоступным дном,
как небо в дождь простерто над полями.
И на лугу все в'овь и вновь покорно
себя являла бледная дорога,
как будто длинный, длинный серый холст.*

И той дорогой прибрели они.

*Передовым шагал высокий муж,
без слов вперед глядевший исподлобья.
Не пережевывая, путь глотали
его шаги; у тонких складок ткани
свисали тяжко руки, и не видно
в них было памяти о легкой лире,
что к шуйце приросла, как завиток
колючей розы к зелени оливы.
И чуть его двоилась: быстрый взор,
как будто пес, то забежал вперед,
то возвращался, вновь кружил вдали
и после ждал на ближнем повороте;
но слух, как нюх, был обращен назад.
Порой ему казалось, будто ухо
почти поймало поступь их обоих,
тех, что должны весь путь идти за ним.
А после вновь в ушах его стоял
лишь собственных шагов стихавший отзвук
Но он твердил себе: они идут.
Вслух повторял и после слушал эхо.
Они идут, но только так идут,
что не слышать шагов. И если б он
мог оглянуться (но тогда, увы,
пошло бы прахом все, и все труды
пропали даром), он бы их увидел,
неслышную чету, что шла за ним;*

*бог странствия и даѣных возвещений,
чей лик приосенен дорожной шляпой,
рука несет свободно стройный посох
и крылья расцветают у лодыжек;
и, вверена его руке, — Она.
Многолюбимая, которой лира,
как плакальщица, посвятила плач,
и этот плач стал словно мир, в котором
все вещи повторились: холм, и дол,
и дом, и путь, и луг, и дѣбрь, и зверь.
Был целым этот мир; вокруг него,*

как бы вокруг земли, ходило солнце,
вращалось тихое ночное небо,
из плача небо со звездами плача:
для Ней, Многолюбимой.

Бог вел ее, она ступала подле,
и шаг ее был саваном стеснен,
неровен, тих, совсем без нетерпенья.
Она ушла в себя, как будто та,
что ждет ребенка; ни о муже мысли
не прибредало ей, ни о дороге.
Она ушла в себя, и отрешенность
ее переполняла до краев.
Как плод сладчайшим мраком набухает,
она была полна своею смертью,
еще совсем непонятой и новой.

Она была в девичестве опять,
в нетронутости; пол ее закрылся,
как на закате чашечка цветка,
и руки так отвыкли от судьбы
замужней, что водительного бога
неизъяснимо тихое касанье
для них обидой было и стыдом.
Уже навек не та: не госпожа,
чей отзвук длился в горделивой лире,
не благовонный остров в море ложа, —
непоправимо, навсегда: ничья.

Она была распушена, как косы,
и без остатка отдана, как дождь,
и отошла к корням.

Уже она

была землей.

И вот, когда неожиданно
бог стал и руку сжал ей и в тоске
вскричал: «Он оглянулся!» — безучастно
она в ответ переспросила: «Кто?»

У выхода, темнея на свету,
все медлил некто, но его лицо
уже не различалось. Он глядел,
как у изгиба луговой дороги
бог странствия печально и без слов
вспять обращался, чтоб идти за той,
которая уж отступала вдаль,
и шаг ее был саваном стеснен,
неровен, тих, совсем без нетерпенья.

Готфрид БЕНН

САНКТПЕТЕРБУРГ — СЕРЕДИНА СТОЛЕТИЯ

*«Каждый, кто помогает другому, —
гефсиманский вопль.
каждый, кто утешает другого, —
Христовы утга», —*
поет собор святого Исаакия,
и Александро-Невская лавра,
и церковь святых апостолов Петра и Павла,
где покоятся государи императоры;
как и прочие сто девяносто два православных храма,
восемь римско-католических,
один англиканский, три армянских,
латышские, шведские, эстонские,
финские молеельни.

Великое водосвятие
на прозрачной голубоватой Неве
в крещенский мороз.
Очень полезная вода,
выводит посторонние вещества,
несет на себе чудные богатства
для перламутровой комнаты,
для янтарной комнаты
в Царском Селе,
меж Дудергофских холмов,
лазурный сибирский мрамор

для парадных подъездов.
Пушки дают залп,
когда она сбросит лед,
дочь озер —
Онеги и Ладоги!

Утренний концерт в зале Энгельгардта,
мадам Степанова,
первая исполнительница главной роли
в «Жизни за царя», утрирует крик,
баритон Воробьева уже не тот.
Прислонясь к пилястру,
с выступающими белыми зубами,
с африканским ртом,
без бровей,
Александр Сергеевич (Пушкин).

Возле него — барон Брамбеус,
чей «Большой прием у Сатаны»
почитается за предел совершенства.
Виолончелист: Давыдов.
И затем русские басы: густые,
то и дело берут на октаву ниже,
до контроктавы из двадцати глоток,
чисто и полно,
глубже некуда.

На острова!
Имеется в виду Крестовский — потеха, утеха,
башкиры, самоеды, русские бородачи
в поисках чувственно-сверхчувственного!
Первая часть:
«От гориллы до уничтожения Бога», —
вторая часть:
«От уничтожения Бога до перерождения
физического человека», —
сивуха!
Конец всего —
глоток алкоголя,
глубже некуда!

Раскольников

(в целом предрасположенность к тяжелым кризисам мировоззрения)

входит в питейный дом,
из самых ординарных.

Липкие столы,

звучит гармошка,
запойные пьяницы,

под глазами мешки,

кто-то просит у него
«на разумное развлечение»,

в волосах — сенная труха.

(Для сравнения — другой убийца:

Дориан Грей, Лондон,

запах сирени,

желтизна золотого дождя

подле дома — парковая греза —

подбирает цейлонский рубин для леди Б.,
заказывает оркестр малайских гонгов).

Раскольников,

после долгого душевного опустошения,

обращен Соней «с желтым билетом»

(проституткой — ее отец

относится к этому «со смирением») —

она говорит:

«Вставай! Сейчас же иди!

Стань на перекрестке,

поцелуй землю, что ты осквернил,

перед которой ты грешен.

после поклонись всему свету,

скажи громко всем:

— Я убийца! —

ты хочешь?

Ты пойдешь со мной?»

И он идет.

Каждый, кто утешает другого,

Христовы уста.—

ШОПЕН

*Не особенно интересный собеседник,
не сильный по части теорий,
по части мнений и суждений;
когда Делакруа пускался в теории,
ему было не по себе, он сам не сумел бы
обосновать ноктюрны.*

*Нерешителен в любви:
тени в Ноане,
где отпрыски Жорж Санд
не получали от него
авторитетных советов.*

*Чахотка в известной форме
с кровотечениями, с рубцеванием,
которая затягивается надолго;
тихая смерть,
если сравнивать с пароксизмами боли,
с залпами расстрелов;
к дверям придвинули рояль (Эраровский),
и Дельфина Потоцкая
спела ему в последний час
песнь о фиалке.*

*В Англию он взял три рояля:
Плейель, Эрар, Бродвуд.
Играл вечерами по четверть часа,
двадцать гиней за вечер,
у Ротшильдов, у Веллингтонов, в Стаффорд Хаус
и для бесчисленных кавалеров Подвязки;
утомленный, овеянный тенью смерти,
вернулся к себе
на сквер д'Орлеан.*

*После сжег все рукописи,
все наброски,
только никаких фрагментов и свидетельств,
ничего заглядывать, куда не надо, —*

*и под конец сказал:
«Мои попытки завершены настолько,
насколько это оказалось для меня возможным»*

*Играть должен был каждый палец
в меру отпущенной ему силы:
самый слабый — четвертый,
сиамский близнец среднего.
Когда начиналось, они лежали
на ми, фа-диез, соль-диез, си: до.*

*Кому довелось слышать в его исполнении
некоторые прелюдии,
скажем, на лоне природы, скажем,
в дворянских усадьбах,
или посреди горной местности,
на террасе санатория, сквозь открытые двери,
позабыть это будет не просто.*

*Не сочинил ни единой оперы,
ни единой симфонии, —
только эти трагические прогрессии,
выведенные убежденностью художника,
сыгранные тонкой рукой.*

С ЛАТИНСКОГО

АНОНИМ

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ

(позднее Средневековье)

*Приходит срок, уводит рок
С высокой сцены света;
Се, врана глас, се, пробил час,
Не солгала примета!
Умолкни, хор! Окончен спор,
И песнь моя допета.*

Темнеет тень, бледнеет день;
Прости, о, дня светило!
В последний раз последний час
Ты мне благовестило!
Затмение решение
Судеб тебе судило.

Прости, о, звезд полночных гроздь,
Серебряная лира,
Горящая, звучащая
Среди пучин эфира!
Кометы зрак, суровый знак,
Меня позвал из мира.

Довольно чар, возьми свой дар,
О, мир невероятный!
Ты роешь ров, ты строишь ков,
О, ловчий лицемерный, —
Других лови, других зови
На праздник твой неверный!

Гордыне дань, алмаза грань,
Искусных рук изделия,
Убранство стен, роскошный тлен,
Златой приют веселья!
Чертог, ты леп; но тесен склеп,
Что ждет для новоселья.

О, лживый соч, о, ласки жен,
Их прелестей явленье,
О, сладкий зов, о, сладкий лов!
Лукавое волнение,
Души не рань: се, смерти длань
Мое отъемлет зренье.

Вы, звоны струн! Пусть тот, кто юн
Душою вас лелеет.
На что мне песнь? Могилы плеснь
Ушам моим довлеет.
Там гложет слух, там гаснет дух,
Где смертным тленом веет.

Пусть полный стол, пусть соты пчел
Сулят усладу чреву;
Увы, я снедь не в силах зреть,
Не давши воли гневу!
Меж смертных порч, меж смертных корч
Постылы яства зеву.

Порвися, шелк! Исчезни, порк
Швецов с иглой проворной!
Атласа ткань, землю стань,
Истлев в могиле черной!
Портной, что скуп, оденет труп
Волной червей глетворной.

О, славы шум, мрачащий ум,
О, форум горделивый,
Где ищет честь, где ловит лесть
Глупец самолюбивый!
Для скольких злоб скончанье — гроб!
Прости, о, пыл кичливый!

О, милый друг, о, милый круг
Товарищей застольных!
Где прежний смех, где время нег,
Где время шуток вольных?
Притих наш пир; довольно мир
Дарил сует юдольных.

До встречи, плоть, души милоть,
Свидетель неподкупный,
Страданий всех, деяний всех
Сопутник неотступный;
Иль райский град, иль страшный ад, —
Наш жребий совокупный.

Как острый меч, пронзает речь,
Слова ее унылы;
Бледнеет грех, немеет смех
Пред пастию могилы.
Держись, о, ум, нелживых дум,
Зови благие силы.



Ольга СЕДАКОВА
ХЭДДИ ЛУК

«В начале жизни школу помню я»

Это имя и так мало похоже на настоящее, и никого нет, кто приходился бы кем-нибудь Хэ-ди Лук. А Вы, Хэдди, простите меня, если Вы ещё живы и я Вас тревожу. Их-то дело такое, что от него не оторвешь. А наши дела, как карточный домик, и падают, чуть кто-нибудь вспомнит про нас, и может, Вы в своей Калифорнии подумаете: Да, на нынешний день придется махнуть рукой. Что-то в нем сломалось. — Вы, Хэдди, всегда в этом разбирались, Вы так музыкальны. Ничего, всё поправится, я скоро забуду Вас, и Вы займетесь своими делами в Калифорнии.

Других страшно вспомнить, но Хэдди, Хэдди достойна лучших на свете поминок: ветра на карусели и золотых стихов Гафиза.

Иосиф потерянный снова придет в Ханаан, не горюй. В Египте они думают, что главное происходит с ними, а там-то, там... О, ты не вернешься, душа моя, о Хэдди, Лук! *Just look, Хэдди, at my hands**. У м'ня в руках оранжевый трос. Вы помните, Хэдди, как Вы жили в нашем Египте домработницей. Хотя конечно, вспоминать не Ваше дело, Ваше — все забыть сразу же, как никто не умеет. Конечно, не Вы одна. Вот этот трос мне продали на лестнице за 30 копеек: «Трос покойного Хемингуэя, не горит и не тонет, длина 10 метров, виден в темноте». Скучно жить в Египте, правда? хочется продать кому-нибудь трос, испечь шарлотку.

Случайность — Ваше имя, равнодушная благожелательность. Болшево с акцентом, книга на поляне под дождем. Существованья ткань сквозная, видный в темноте трос, водонос дырявый, животных пузырь надутый, к небу летящий голубь. Что еще было там, так похоже на Вас? «Ничего из сих не предпринимал Кома брат Диогенов» — *my dear***, ничего. Главное — не предпринимать. Первым, вторым, третьим быть не нужно. Раздели всех на три — говорила Хэдди — и иди во второй трети — и там-то, в середине, там-то и случается музыка, там проходит рябь никому не нужных событий. Там, среди первых-вторых-третьих, она тянет какие-то жребии, вертит какие-то колеса с завязанными глазами. А у нас она улыбается, достает из чемодана медный таз и мандолину и поет песню на английском языке.

Если жизнь есть тень, то скажите мне, что тени сновидение? Тени сновидение — Хэдди Лук, вдова трех фабрикантов, московская домработница и моя учительница, спит на коврике после короткого запоя.

Снилось мне, Хэдди, что из Калифорнии приехал поэт Бродский покататься на трамвае, а меня послали в Париж. В Париже повсюду деревни в снегу и ночь, и видно далеко вокруг. Видно, как в Киеве стоит столп-воронка и в воздухе написано: «жизненный опыт». Стоит она против Софии, винтовая лестница притяжения, воздуш-

* Погляди, Хэдди, на мои руки. (*Look* — смотреть)

** восклиц. междометие

ный эскалатор. В городе воскресение, все гуляют с детьми, дети несут аккордеоны и скрипки в футлярах, а другие скрипки и аккордеоны играют в воздухе. Все входят в столп-воронку, и делаются невидимы, и нет слов, как это печально. Одним шагом и одним ступенем достигнешь ты вечности, но смотри, чтобы верно ты стал.

Хэдди встала с коврика и быстро пришла в себя. Первым, вторым, третьим к лицу безумие, а все случайное, иностранное, все самое чужое на свете, все извиняющееся за то, что еще не кончилось, не вернулось в свой Ханаан, как снег в сентябре, — одним словом, все, что случается в середине, rispetтабельно и разумно. Хэдди, румяная, седая и кареглазая, между шарлотками и запоями одетая, как ученая дама. Нужно признаться, что ее белоснежная и разумная блузка ровно настолько шелковая, насколько это видно. Дальше виден темный жилет. Но только безумец и нувориш скажет, что нужно больше или меньше шелка. Не для себя же мы одеваемся, не для себя же мы румяны и кареглазы — для этого Египта. И если Хэдди своей комбинированной блузкой пускает ему пыль в глаза, то потому, что хорошо в них нагляделась, и эта пыль — первое оптическое изобретение Египта, иначе он не видит, он подслеповат и патриотичен, он не изучает чужих языков и не может разгадать собственных сновидений.

В нашем деле тоже нужна система — говорила Хэдди. — Чувство меры и *common sense** есть основа нашей жизни, есть ее канва для вышивания, есть ее артезианский колодец внутрь.

И тот, кто сделает низкие выводы из комбинированной блузки, изо всего, что у Хэдди *is not to be seen*** — бесконечно ошибается. «Последние» так же ненавистны Хэдди, как «первый-второй-третий». Это они носят воротнички на голое тело, они пьют жидкий чай и плохой кофе, это они откладывают на черный день — и черный день всегда с ними, в первый же момент, как на него

* здравый смысл

** не должно быть видно

откладывают. Это они «отчужденные», они, кто различает «пока» и «потом». Вот где тьма египетская, египетский Египет, никого в Египте не видящий. И как они рыдают, если кто-нибудь их бросит в их вечном «пока», в их черном дне, в их безобразии и тоске. Они отчужденные, а Хэдди просто чужая. И Хэддин шелк пришит к чистейшему полотну, Хэддин кофе золотит своим духом наш хмурый дом, роет душистые пещеры Бразилии в скучной мебели, и в чемодане у Хэдди мандолина, медный таз и вышивальные принадлежности.

Хэдди не любит тоску и безумие, вот музыка — это для нее подходит. Особенно нам нравилась сонатина для мандолины Бетховена. Конечно, в ней есть что-то от первых, вторых, третьих, но если уметь исполнять, это пройдет. Они много о себе воображают — «Дионис, выжимающий гроздь для людей», ревматические боли души, Смерть Изольды, Квартет на конец света! — На струнах и клавишах, на гуслях и псалтыри, на вечной своей мандолине играет Хэдди Лук. Голубка дряхлая, случайность в середине. Выше и ниже музыка молчит. В Ханаане арфы повесили на ветки, там плачут по другу фараонову, удачливому разгадчику снов.

И как же, Хэдди, как же не разгадать? Конечно, раз на раз не приходится, но и выбор не велик: о чем говорит сонник? о болезни и женитьбе, о голоде и богатстве — о тебе, Хэдди. Жизнь есть лист стеклянный весьма тонкий, яблоко золотое внутри гнилости исполненное, Калифорния, Венеция, Хорошевское шоссе, жизнь есть река, в алмаз впадающая, семья полковника, чаепитие у мандарина, жадное прощание, вишневая шаль, сонатина для мандолины.

Что бы я делала без вас, Хэдди? Я не знала ни одного иностранного слова, и какие сны мне снились, какие сны. Без разумного отгадчика можно было решить, что нужно спасти какие-то города от сфинксов, выводить узников из темниц, выходить навстречу белокурому всаднику с копьём на красном коне. Издалека его глаза кажутся темными, но вблизи они — как небо перед дождем. Хэдди, какие видения выстраивала, лепила и барабанила на фортепьяно моя захолустная жизнь. Но ты гостья, ты

гостья из середины, из столицы, ты лучше их и подскажешь мне, что с ними делать.

Нужно спасать одно — сказата Хэдди — здравый смысл и чувство меры. Это оно, чувство меры, похоже на те чудесные глаза, на твой любимый топаз из Индии, совершенно темный, и совершенно прозрачный. Нужно подтянуть ослабевшие струны Ананки, а играть буду я. Мир есть Египет, и нет греха хуже гордыни. Первым-вторым-третьим видно что-то впереди, а ты гляди только, что впереди тебя идут и сзади идут, и если ты остановишься, музыка кончится.

В Калифорнии есть, конечно, театр абсурда. Но никому я не поверю, Хэдди, что жизнь есть театр. Жизнь — Вы говорили — есть бесконечно Искреннее. — В Уругвае, в Эстонии, везде, где я была замужем, и куда я от вас уеду, тем более. Искреннее — но не о себе. Нет, я вижу тебя не своими глазами, а вечным желанием жизни, упованием ее и терпением и пеньем ее о другом — о, всегда о другом...

Хэдди, какая печаль, какая тьма египетская стоит у нас. Я пью твой черный кофе, он пахнет, как будто кругом мороз, и думаю, что только ты полюбила бы оранжевый трос покойного Хемингуэя. Ты подняла бы на нем какой-нибудь вимпел в честь начала дачного сезона, или мы сделали бы качели и ничего не предпринимали. Мы просто спали бы до вечера, а качели качались. А другие! — я никогда не узнаю, что они хотят со мной сделать, а они всегда чего-то хотят, и еще иногда жалеют меня, Хэдди!

Я довольна своей жизнью — говорила Хэдди — я с ней согласна. — Если бы она лучше знала наш язык, она осмелилась бы сказать: «я ей согласна, со-гласна». Как она, я иногда, как она, я кажусь им их домработницей, и они думают, что главное происходит с ними, и выгоняют меня.

И вот что — сказала Хэдди не знаю на каком языке — неправильно делают первые-вторые-третьи, они ошибаются вот в чем: они думают, что все разгадывается одним словом. Знаешь, какое слово ответил царь Фиванский этому сфинксу? Но все разгадывается перечисле-

нием. В Египте гораздо лучше, чем в колодце. — Вот патриотизма Хэдди не воспитывала, из-за этого ее и выгнали. Она воспитывала патриотизм к Калифорнии, где лежит и ждет ее дочь-калека сорока лет и куда Хэдди не вернется.

Ты не будешь счастлива — обещала мне Хэдди. — Тебе хочется, чтобы я к ней вернулась, чтобы убрала дом скорби расцветшими розами. Есть у вас привычка жалеть тех, кого не для того такими сделали, чтобы их жалели. Удивление и почтительность — вот для чего они такие и мы их такими видим. И не подходим близко.

Не подходи близко к несчастным и тяжелобольным — говорила Хэдди. — Дело даже не в том, что тебе нечего им дать. У них нет системы, нет чувства меры, они совершенно не музыкальны. Вот моя мандолина, себя не жалко, а ее жалко, — что они там такое придумали, чтобы ее устыдить и заставить молчать — ее, согласную на все! Несчастье и уродство поневоле делают первыми-вторыми-третьими — теми, кто разгадывает любую загадку одним словом: «Я». —

А мы, Хэдди, мы никто и не будем несчастны, мы только большой список перечислений друг о друге, друг другу чужие, как сама себе чужая середина в египетском платье, — Хэдди, одежда единственная, разумно придуманная, рябчика пыльное чучело, проклюнутая скорлупа, вавилонское сновидение, тьмы египетской просияние, вечерняя скука, юности надежда, зимняя дорога, роза на снегу, сновидение сновидений, с помощью Божией, благочестивая Хэдди Лук, изящнейшее дело.





Протоиерей Александр МЕНЬ

МАГИЧЕСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

(Из книги «Магизм и единобожие»)

*Весь мир подвластен богам,
Боги подвластны заклинаниям,
Заклинания — брахманам.
Наши боги — брахманы.*

(Индийская поговорка.)

В двадцатых годах нашего столетия известный французский исследователь пещер Норберт Кастере сделал интересное открытие. Спустившись в один труднодоступный грот, он обнаружил в нем фигурки медведя, лошади, тигров, вылепленные из глины. Вокруг на стенах были высечены контуры мамонтов, оленей и других доисторических животных. На полу валялись обломки кремневого оружия и были видны следы ног. Так впервые за много тысяч лет люди оказались в жилище или святилище своих палеолитических предков.

Особенно привлекло внимание исследователей то обстоятельство, что у некоторых статуэток были отрублены головы. На глиняных фигурах виднелись следы многочисленных ударов. Медведь, например, был весь ис-

пещрен ударами стрел и дротиков. Для чего первобытный художник так уродовал свои великолепные произведения? Просто с досады? Или это была игра?

Нет, перед исследователями оказалось еще одно древнее свидетельство о первобытных магических обрядах.

Когда мы говорим слово «магия», оно невольно ассоциируется у нас с чем-то таинственным, мистическим. Кажется, что магия непременно принадлежит сфере «сверхъестественного». Но так происходит потому, что мы связываем магию с представлениями, сильно отличающимися от воззрений первобытного человека. Как мы видели, для него резкой границы между сверхъестественным и естественным не существовало. Мир был един, и силы видимые переплетались в нем неразрывно с невидимыми.

Пожалуй, дикари были кое в чем мудрее нас. В самом деле, многие из нас до сих пор считают, что если утром взошло солнце — это естественно, а если оказывается, что возможно установить контакт с сознанием умершего человека — это уже нечто сверхъестественное. Между тем в полном смысле слова сверхъестественным в мире ничего назвать нельзя. Одному плану бытия свойственны одни законы, другому — другие. Физики показали нам, что микро-мир сильно отличается от макро-мира и мегамира. Легко предположить, что и другие измерения Вселенной, трансфизические и духовные, будут иметь свои особые черты. Когда столкновение этих планов становится явным, происходит то, что называют чудом. Но оно не сверхъестественно в подлинном смысле слова. Сверхъестественно лишь то Высшее Начало, которое действительно стоит над естеством, над творением. Не случайно поэтому Августин писал, что чудеса противоречат не природе, а известной нам природе.

Впрочем, не об этом сейчас речь. Нас интересуют в древней магии не столько соотношение планов бытия и законов мира, сколько субъективные, внутренние мотивы, которые руководили доисторическим магом.

По определению одного отечественного автора, «магией называются различные действия, цель которых — повлиять воображаемым сверхъестественным путем на ок-

ружающий мир». В этом определении верно одно: магия действительно имеет целью повлиять на окружающий мир. Но отнюдь не всегда решающую роль играют в ней «сверхъестественные» способы. С того самого момента, как человека озарил свет сознания, он уловил наличие в мире причинных связей. И это же осмысление природной каузальности он применил в магии.

«Анализируя принципы мышления, лежащие в основе магии, — говорит Д. Фрэзер, — мы обнаруживаем, что они сводятся к двум: первый принцип гласит, что сходное происходит от сходного, что следствие подобно своей причине; согласно второму принципу, предметы, которые однажды находились в длительном контакте или общении между собой, продолжают действовать друг на друга тогда, когда это общение прекратилось».

Мы должны отметить, что эти принципы не носили какого-то мистического характера, а относились, по мнению дикарей, к обычной природной сфере, хотя в то же время они видели ее пронизанной сверхприродными существами.

Главной задачей магии было использовать открытые человеком закономерности для своих повседневных нужд и целей.

* * *

Жизнь первобытного человека неразрывно связана с охотой. Поэтому прежде всего магические операции относились к ней. Так называемая «промысловая магия» сохранилась и у современных отсталых народов. Папуасы Новой Гвинеи при охоте на морского зверя помещают в острие гарпуна маленькое жалящее насекомое для того, чтобы его свойства придали остроту гарпуну. Колумбийские индейцы в те дни, когда долго нет рыбы, изготавливают чучело рыбы и бросают в реку. Считается, что это действие должно привести косяки к их берегам. Широко известен ритуал североамериканских индейцев, обычно предшествовавший охоте на бизонов. Этот ритуал состоит в пляске, которую исполняют охотники, воору-

женные копьями и луками и одетые в шкуру бизона. Пляска-пантомима изображает охоту. Когда один из танцующих устает, он делает знак, и в него пускают при- тупленную стрелу. Индейцы убеждены, что эта церемо- ния должна привлечь бизона и охота будет удачной.

Совершенно очевидно, что эти представления играли большую роль и в жизни пещерных жителей. Именно о таких магических действиях и свидетельствуют прон- зенные стрелами статуи в пещерах, рисунки быков и ло- шадей, усеянные стрелами. О них же молчаливо по- вествует меченная стрелами фигурка львицы, найденная во Франции. Очевидно, перед началом охоты первобыт- ные люди совершали такие же обряды, как позднейшие «дикари». Они метали копья в изображения зверей, рисовали на них стрелы, чертили магические знаки. Они, так же как австралийцы и индейцы, думали, что существует некая связь между изображением зверя и самим зверем.

В Средней Азии в ущелье Зараут-Сай до сих пор еще можно видеть доисторические рисунки, напоминающие индейский «бизоний танец». Там видны фигуры людей, одетых в длинные плащи; они танцуют вокруг быка, на которого направлены стрелы. Очевидно, эти рисунки имели магическое значение и должны были помогать охотникам.

То, что эти магические приемы были тесно связаны с обыкновенной охотничьей практикой, доказывает их сходство с некоторыми хитростями и приемами перво- бытных звероловов. В частности, маскировка использова- лась индейцами для того, чтобы ближе подкрасться к животным. То же самое проделывали африканцы при охоте на страусов. Замечая, что эта маскировка дает хорошие результаты, люди стали считать, что и сама по себе она может принести охотничий успех.

* * *

С переходом к земледелию человек стал искать эффек- тивных способов увеличить урожай или предотвратить падеж скота. Например, у меланезийцев до сих пор сохранилось обыкновение зарывать при посадке ямса

особые камни, по форме напоминающие клубни ямса. Полагают, что это действие способствует росту ямса. У австралийцев известна церемония «интихиума», которая должна в начале сезона дождей содействовать размножению священных растений и животных. Существовали заговоры и заклятья которые якобы служили для уничтожения вредителей. Многочисленные обряды скотоводов всех стран также носят ярко выраженный магический характер.

Широко распространено представление о том, что человек при помощи известных действий может повлиять на атмосферу. Так, знахарь из Центральной Африки предполагает, что, выливая особым образом на землю кувшин воды, он может вызвать дождь, а австралийцы думают достичь тех же результатов, создавая при помощи перьев шум, подобный шуму дождя; точно так же индейцы ожидают дождя от сделанного ими макета тучи. Известны «средства» для вызывания засухи и для прекращения солнечного затмения.

У индейцев навахо перед зимним солнцеворотом совершают особый магический обряд. «Люди верят, что солнце устало, и пытаются оживить его силы, зажигая магические костры, — пишет исследователь Ю. Липпс. — Такие церемонии поражают своей внушительной красотой...

Участники церемонии появляются при этом празднично раскрашенными в белый цвет в честь солнца, с ниспадающими до плеч распущенными волосами. Этих актеров называют „странствующими солнцами“. В руках они держат изукрашенные перьями танцевальные палочки, танцуют они сомкнутой вереницей вокруг огня и стараются подпрыгнуть к огню как можно ближе... При этом они подражают движению солнца, двигаясь с Запада на Восток и обратно».

* * *

Но не только животные, растения и природа вообще являются объектом магических операций. Очень часто они направлены на человека. Существуют бесчисленные

виды «приворотных зелий» и амулетов, которые должны склонить к любви холодные сердца. Индейцы, например, употребляют «снадобье» из волос девушки, которую хотят «околдовать».

Магия заменяет и медицину, опять-таки, исходя из воображаемой связи сходных между собой явлений. Характерен в этом отношении обряд «кувада», известный у разных народов. Он заключается в том, что во время родов муж одевается в женское платье, ложится в постель и инсценирует роды. Это должно было доказать его кровную связь с новорожденным и в то же время содействовать роженице.

По закону «сопричастия» совершают вредоносные магические обряды над обрезками ногтей, волосами, одеждой тех людей, которым хотят причинить вред. По закону «подобия» лепят фигурки врагов и совершают над ними «убийство» или наговор. Это непременно должно оказать воздействие на намеченную жертву.

Австралийцы особенно боятся так называемого «нацеливания» костью. «Для этого острую кость, вырезанную в виде маленького дротика, нацеливают в далекого врага и с произнесением проклятий бросают в его сторону».

«Самым удивительным во всем этом, — пишет Ю. Липпс, — является то, что человек, чувствующий себя жертвой подобного рода колдовских чар, часто действительно умирает, потому что он сам верит в силу их действия, как и те, кто его околдовывает... Подобный случай я сам наблюдал у индейцев оджибве, у которых знахарь на расстоянии «загубил» врага при помощи магического заклинания».

В этой «вредоносной» магии есть и элементы оккультизма, и элементы внушения, и просто суеверия. Но опять-таки нам важна не сама магия, а субъективные побуждения, с которыми к ней прибегают.

Вышеприведенные примеры достаточно ясно характеризуют эту субъективную сторону магизма. Его главный нерв — использование сил, все равно природных или сверхприродных, в повседневных целях и личных нуждах.

Магия была основана на заблуждении. Но это заблуждение не являлось абсолютным. Было правильно понято наличие в мире закономерностей и причинных связей, хотя реальное знание этих законов отсутствовало или находилось в зачатке.

Фрэзер очень близок к истине в своей характеристике сущности магии. «Когда магия является в своей чистой и неизменной форме, — пишет он, — она предполагает, что в природе явления должны следовать одно за другим неизбежно и неизменно, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агенства. Итак, ее основоположения тождественны с основоположениями современной науки».

Здесь он лишь повторяет Тэйлора, который указывает на значение таких заблуждений, как астрология и алхимия, для развития естествознания. Цель науки — заставить природу служить человеку. Такова же и цель магии. Фрэзер даже считал, что магия предшествовала религии, что первоначально человек прибегал к магическим приемам, как к более или менее необходимым действиям в своем труде и жизни. И лишь тогда, когда он постепенно понял, что не властен покорить облака или зверя, он стал обращаться к более могущественным существам — духам. Но в первобытном мире мы не встречаем «чистой» магии. Она всегда, — по словам В. Копперса, — «является сорняком, паразитирующим на теле религии у всех народов мира». Человеку мало верить в Единую Силу. Он хочет подчинить эту «Ману» себе, овладеть ею. Вспомним и шаманов, которые превращают духов в своих слуг.

Вильгельм Шмидт совершенно справедливо считает, что в магизме нужно видеть «самое резкое противоречие религии». Это можно пояснить на примере «любовной магии». Когда индеец видит, что он не способен завоевать любовь девушки, он колдует над ее волосами, стремясь вызвать у нее вожделение. Этим он фактически не добивается любви, а только удовлетворяет своим грубым инстинктам. Точно так же и первобытного дикаря духи

интересуют только с утилитарной точки зрения, он стремится извлечь из них максимум пользы. Он нуждается не в них, а в их дарах. И ему кажется, что путем магии он оказывается способным приказывать им, быть их господином и повелителем.

В магизме скрыто присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества: поставить себя в центре мироздания и заставить служить себе его силы.

Именно поэтому магизм явно посясторонен. Высшим благом для него являются блага земные. Предел желаний мага — процветание здесь, на земле. И если в магическое мирозерцание и входит вера в бессмертие, то она носит исключительно грубочувственный характер.

* * *

Маг очень часто противостоит священнику. Это и понятно. Внутренняя направленность магизма и религии — противоположна. Жрец — прежде всего посредник между людьми и духовным миром. Он обращается к Божеству с молитвой. Для мага же радости мистического богообщения — пустой звук. Он ищет только достижения могущества на охоте, в земледелии, в борьбе с врагами. И даже тогда, когда магия стала переплетаться с религией — этот антагонизм оставался.

«Гордое самодовольство мага, — пишет Фрэзер, — его надменное обращение с высшими силами, его бесстыдное притязание на влияние, подобное их влиянию, не могло не возмущать благоговейного жреца, смиренно распростертого перед божеским величием, который смотрел на эти притязания как на кощунственную и богохульную узурпацию преимуществ, принадлежащих одному Богу».

Этот конфликт мага и жреца усугублялся, по мнению Фрэзера, еще тем, что маги очень часто захватывали главенствующее положение в племени. Власть над стихиями, которой якобы обладали заклинатели, окружала их ореолом могущества и суеверного почитания. Их стали

считать воплощением высших сил, и, таким образом, магизм явился источником древней власти. «Ни одна общественная группа не извлекла из этой веры в возможность воплощения божества в человеческую форму столько выгоды, сколько группа царей», — говорит Фрэзер. И действительно, в истории мы видим непрерывную нить этой сакрально-магической власти, которая становится незыблемым законом общества. Это — и микенские цари-колдуны, и спартанские властители, и египетские фараоны, и римские императоры, и византийские василевсы, и, наконец, некоторые авторитарные вожди позднейших времен. Цари-маги всегда пытались подчинить своей власти все сферы жизни подданных, но неизменно наталкивались на сопротивление религии. Поэтому они всячески стремились приспособить ее к своим целям. И порой это им неплохо удавалось.

Незыблемость земной власти Магизм обосновывал своей верой в то, что все происходящее на земле соответствует неизменному строю некоего Верховного Порядка. Неизменно совершают свой путь солнце, луна и звезды, неизменно опадает листва, приходит сезон дождей. Все эти видимые движения мира отражают недвижимое царство Судьбы. Но человек — как часть этого порядка — обязан постоянно поддерживать его через магию.

Таким образом, функция колдуна-властителя представлялась космической необходимостью. Маг был неразрывно связан с тем мировым лоном, которое обнимало собой все существующее и определяло бытие вещей. Это лоно судьбы было ни чем иным, как Великой Матерью первых культов. Мы увидим в дальнейшем, что образ ее будет неотвязно преследовать человечество, претерпевая удивительные трансформации. Она воплотится во вселенном Океане, рождающем богов, обернется Роком и Необходимостью. Мало того, что само язычество вышло из этого поклонения Матери, ему прямо или косвенно будут обязаны своим существованием и пессимистический дуализм, и греческий фатализм, и даже материалистическая философия.

Как мы уже говорили, магия всегда существовала параллельно с различными религиозными системами и отравляла их своим обрядовым детерминизмом.

Магизм привносил в религию слепую, почти маниакальную веру во всемогущество ритуалов и заклятий. На духовную сферу переносилась мертвенная причинность, возникало отношение к высшему началу, лишенное всякого живого религиозного чувства и мистической жажды. Отсюда такие странные, на первый взгляд, явления, как избивание идола, если он не выполнял требований просящего. Насколько такое «потребительское» отношение живуче, свидетельствует хотя бы то, что даже у христианских народов бывали случаи, когда статуи святых «наказывали» за то, что они не слышали просьб народа. Религиозный магизм убежден, что высшую силу можно заставить подчиниться. Нужно лишь найти ключ, слово, действие — и все будет в руках человека.

Так постепенно складывалось магическое мирозерцание, замыкавшее всю Вселенную в причинную цепь следствий, в которой огромную роль играли обряды. Если не будут совершаться ритуалы, то может не взойти солнце, не прийти весна. Крепло убеждение, что церемонии — это нечто необходимое для демонов и богов. Чтобы заманить их, заставить придти на помощь, умиловить, прибегали к самым крайним мерам: приносили в жертву людей, и не только пленных, но и соотечественников, близких, детей.

Человек есть прежде всего личностное существо. Самосознающая личность, способная в своем мышлении охватить весь мир, не растворяясь в нем, есть вершина тварного бытия. Именно возрастание личностного начала было условием для движения человечества вперед. Но магизм затормозил «исполнение времен» на многие тысячелетия. Он извратил и самую религиозность человека,

его отношение к Богу, его отношение к Природе и себе подобным.

Магизм ждет от Неба только даров, Природу (включая незримые силы) он хочет поработить, в человеческом обществе он воцаряет насилие. В коллективе, подчиненном воле царя-мага, личность должна раствориться среди племенного целого, ибо властителю легче управлять «массой», нежели личностями.

Властитель и Коллективное сознание — вот две преграды для духовного возрастания человека. Племя и власть становятся над духом. Человек сливается с родом, он не имеет своей жизни, не смеет иметь своего суждения, не смеет сомневаться, он подпадает под гипноз «коллективных представлений». Эти представления, по словам Левина-Брюля, передаются в социальной группе из поколения в поколение, «они навязываются в ней отдельным личностям, пробуждая в них, сообразно обстоятельствам, чувства уважения, страха, поклонения и т. д. в отношении своих объектов. Они не зависят в своем бытии от отдельной личности».

Народы, не дерзнувшие в течение тысячи лет изменить хотя бы иоту в установившихся канонах, — жертвы «коллективных представлений» Магизма. Они парализовали творческую активность и религиозный гений человека, ибо только в сознании личной ответственности и духовной свободы находит он свое высшее призвание, как образ и подобие Творца Вселенной.





Андрей БЕЛЫЙ

ДУША САМОСОЗНАЮЩАЯ

(Из книги «История самосознающей души»)

Н аходясь, так сказать, в центре эпохи души самосознающей, вступая в, можно сказать, в 4-й период ее исторического развития, мы переживаем с особенной остротой осознание всех ее особенностей и отличий от предшествующих периодов: души ощущающей, души рассуждающей; первый душевный период характеризовался, как видели мы, появлением контуров общедушевного быта, не расчлененного на отдельные душевные способности; общим фоном душевности все же в этот период являлся тот слой, который в настоящее время нам явлен под формую так называемого **чувства**; в тот период чувств в нашем смысле не было; они появились лишь в период рождения личности; чувства скорее носили характер незамкнутого, не вовсе безличного, не вовсе личного, а скорей полулич-

ного переживания, в центре которого возникал временный пункт (впоследствии — пункт личности), и снова временно исчезал, появляясь в переживании, как состояние сознания «иной личности»; связью же между пунктами сознания оказывался полусознательный процесс, имеющий форму мифа; безличная метаморфоза отдельных состояний сознания и обуславливала метаморфозу представлений, и отображалась миром мифов, гласящих о метаморфозе (здесь — образ Ио, здесь — образ телки; но «нечто», пребывающее и здесь, и там); связующим началом между отдельными состояниями сознания являлась не личность, а род; биологический трансформизм гораздо более поздних душевных периодов, формулированный в дарвиновой теории о происхождении видов, а также происхождении человека от животного, зачастую изживался обратно в образах превращения божеств и людей в разнообразные растительно-животные формы; самая вселенная виделась не мертвою природою в нашем смысле, а животно-растительным организмом, вылупившимся из яйца; здесь, в мифах о первичном яйце, перекрещиваются греческие и китайские мифы, как перекрещиваются они в представлении о том, что из яйца вылез змей (протогон иль дракон — все равно), иль змеёвое время, история в собственном смысле; если мифический образ переживания, занимая место будущей эмоции, занимал место будущего акта сознания в нашем смысле, то будущий образ мысли коренился не в особи рода, но в роде, в традициях, в бытах патриархальной жизни; воля же, свободная воля в нашем смысле, гнездилась в еще более глубоких, более темных и более обширных собирательных центрах, которые лишь позднее оформились в личных сознаниях как представления о народах и расах; особь, имея лишь в расовых инстинктивных движениях свой волевой центр, свою «свободную волю», конечно же, представлялась себе как лишенная этой свободы; очагами, фокусами, регуляторами актов свободной воли были общие культовые формы, в которых понятие народа и божества было спаяно, не дифференцировано; религия Иеговы как народного бога, призывающая к уничтожению чужих народов и их богов, типич-

чески отражает волевою деятельность человечества в этот период; вспомните приставание пророка Самуила к Саулу, проявившему преступную гуманность по отношению к амаликитянам и подвергнутого за это проклятию, — и весь быт мира волн, а следовательно, и морали, ярко встанет перед нами; гуманный с нашей точки зрения, нравственный поступок Саула рассказан в Библии как религиозно-национальное преступление: Савл должен был резать амаликитян, а он их жалел; эта жалость его и была корнем его преступности для Самуила.

В период души рассуждающей произошел, так сказать, отрыв мысли от рода; и совершился, так сказать, акт вложения этой мысли под черепную коробку каждой отдельной особи; можно сказать, что такое передвижение мысли сопровождалось **разрушением домашне-родовых пенатов**. развалом быта и переброской всей жизни из дома на улицу, в междудомье; развитие уличной, кружковой, по существу бездомной жизни, подверженной всем случайностям столкновений с рассыпанными теперь, точно бусинки ожерелья, родовыми особями, перекрестное столкновение родов через столкновение особей, смешение родов в особях привело к перекрещиванию и ко всем возможным преломлениям родовой жизни; так личная жизнь с рудиментами личной мысли вместо традиционно-родовой явилась характернейшим тонусом начальной стадии эпохи души рассуждающей; рождение мысли в собственном смысле отмечилось появлением личности; и столкновением отдельно-мыслящих личностей, выбежавших из домов после того, как очаги домашней жизни были разбиты; отмечено рождение **закона и государства** в нашем смысле, как вынужденного необходимостью договора между инакомыслящими; этим заложено в будущем рождение гражданского строя вместо теократического, доселе господствующего, и вместе с тем: обнаружилось передвижение глубоко в бессознании доселе лежавшего волевого центра; область человеческой воли, «свободы воли» стала областью этой свободы достигших отдельных родов; появилась **аристократия** в собственном смысле вместо древней, сакральной, выделенной, так сказать, народным богом и наде-

ленной божественными атрибутами; в то время как царские или жреческие роды эпохи души ощущающей непременно вели свое происхождение от богов, являясь вариациями одного божественного народного рода, теперь появились у власти **особи лучших** народных родов, отделившихся от своего божественного корня; аристократия, каста воинов, в лучшем случае есть каста внуков богов, между тем как жреческая каста была, образно говоря, кастою сынов божиих; в этот период впервые появляется, так сказать, отчетливое представление о рабах и свободных, в предыдущем периоде жизни не было рабов в собственном смысле, потому что не было и освобожденных от рабства родов; с появлением первого освобожденного рода появляется и первое отчетливое представление обо всем народе как подчиненном, находящемся в рабстве, появляется и борьба родов внутри родового коллектива, т. е. появляется отчетливая политическая борьба; и этим введением в борьбу народа закладываются первые контуры демократии.

И все же существеннейшая черта рождения души рассуждающей есть появление мысли под черепную коробку особи; теперь эта особь с **отдельною мыслью** — есть личность; жизнь ее есть уже не отдельные вспышки переживаемых состояний сознания, между которыми — метаморфоза, мифический провал, так что за провалом маячащее представление о пережитом сознании есть представление этой вот особи о себе как о другой; **мысль оказалась внутри жизни особи связью** отдельных состояний сознания, а центр этой мысли, или то, что пронизывало все состояния сознания под черепную коробку особи, оказалось в одном отношении уже оторванным от них, ибо без этой оторванности невозможно их сопоставление; форма этого сопоставления — будущий закон логического тождества, и еще более будущее Кантово синтетическое единство сознания, и изживалось как «Я»; **центр личности оказывался в мысли, а центр самой мысли осознавался как личное «Я»**; и потому укрепление родившейся мысли и укрепление личности, рост этой личности были синонимы; работа же введения в мысль круга прошлой, мифической, патриар-

хально-родовой представляемости, переработка образов этой представляемости, или работа души рассуждающей над душой ощущающей в процессе дальнейшего высвобождения из нее есть формирование из мира мифов мира искусств; произведения искусства того периода, это как бы следы ног личности, попирающей вязкую и ногу обхватывающую подпочву мифа в процессе восхождения к вершинам новой душевной культуры; это всегда есть отпечаток, слепок с какого-то рабочего усилия подняться вверх в пути творчества и преобразования жизни как лично-мыслимой; и потому-то маска, как слепок слепков, явилась символом всего устремления мира искусств в наиболее синтетическом искусстве своего времени, в трагедии; маска есть отпечаток усилия некоей от безличия отделившейся точки и вместе с тем — граница безличия; точка, не имеющая еще фигуры. образа «личия» — рудимент будущего самосознающего «Я», могущего укорениться в своем бесфигурном до-личии лишь при условии чего-то, отделяющего его от до-личия преодоленной метаморфозы родовой и мифической жизни; в этом смысле античная маска есть еще и щит героя или самого пока не вскрытого **корня усилия**; в момент, когда падает щит, — меч древнего рока, метаморфоза, разит эту пока еще точку будущей фигуры «индивидуума»; трагический герой, — снявший маску, — погибнет: эринии родовой жизни настигнут его. Но маска — личина, персона — и есть сама личность; она — условие набухания и произрастания в стебель новорожденного героя, себя сознающей мысли.

В этом смысле самая история личности, как личины, есть, с точки зрения всей будущей истории, лишь момент отделения мысли как рудимента будущей действительности свободы; а мир искусств, или мир личин, является противопоставленным миру мифов щитом; рок заключается в этой погоне рока и рода за будущим еще героем, пока находящимся в состоянии младенчества, в точке лишь отделенности сознания от отдельных актов его; здесь «со» знаний, как актов, — еще не «само», не свободная организация актов и не фигура, построенная из актов, а именно «со», как память об актах в точке соеди-

нения их в абстракции; и потому-то рост жизни мысли эпохи души рассуждающей есть рост абстракции, или тот вид мышления, который в наших позднейших знаниях нам стоит как рассудочность в тесном смысле этого слова; всё то, что противопоставляется этой рассудочности и что в предыдущий период душ культуры являло собой многокрасочный мифический мир, есть жизнь чувств и движений не вскрытой пока сознанием личной свободной воли.

И тем не менее, несмотря на весь иллюзионизм личностной, личинковой жизни отдельных особей, эта личная жизнь в центре сознания, как связи актов или отдельных его состояний, разительно меняет картину обставшей действительности; исчезают образы метаморфозы явлений и обнаруживается вместо этой метаморфозы еще пока абстрактное единство в виде логического закона тождества: протогон, змей оказывается этим единством личного сознания, вырванного из текучего потока родовой, народной космической метаморфозы явлений; в момент зарождения философии, можно сказать, умирают Дриады и спадают хвостики с фавнов; ибо эти хвостики есть связь особи с родом; связь — оборвана; вместо сатира — только логически мыслящий Сократ, проходящий без всяких зацепок сквозь все метаморфозы сознания точкою самосознания, спрятанного под массивною черепною коробкою, как под щитом; эта личность Сократа — личина; и точка самосознания развивается в противовес всем былым образам мифической метаморфозы свое учение о личном бессмертии, или, вернее, бессмертии индивидуальном, ибо и личность как щит, как личина, — не лична, безлична; когда слагающийся под ней индивидуум станет на ноги, она спадет с индивидуума, ибо она — лишь первая выкорчеванная из рода точка линии личностей, двойников, тройников, в нас живущих вполне бессознательно и продолжающих в подсознании нашем свои мифические метаморфозы; будущая организация этих личностей, этой фаланги хвостатых полулюдей и полуживотных правофланговым, Сократом, гением их — есть задание самосознающей души.

Эпоха души рассуждающей в сфере мысли сосредотачивается периодом роста абстрактной мыслительности; и этот период отмечен фазою самого **возникновения**: 1) понятий из образов, 2) фазою изучения жизни понятий, сплетений их в нашем сознании в суждения, умозаключения, рисующие длинные силлогические цепи; 3) и, наконец, изученье пределов этих цецепреобразований; первый период есть период различных философских систем греческой мысли, имеющих космогонический характер; это суть учения, объясняющие, что от чего произошло, и ученье о том, из каких элементов бытийственности складывается образ вселенной — и внешней, и внутренней: из видимых ли стихий (огня, воды, воздуха, или чего другого), невидимых ли (маленьких кусочков твердой материи), из чувственных ли, сверхчувственных ли (чисел, понятий, идей); как бы ни различались эти системы, в них явственно отпечатались космогоническая проблема; вторая фаза изучения сплетенья понятий **рождает** нам логику и диалектику; и, наконец, вершинная третья фаза — ученье о категориях, или идеях как **пределах, началах и концах** понятийной жизни, внутри которых нам данная чувственная действительность является лишь действительностью сотворенной или сформованной, или даже теневой по отношению к мыслительной жизни; фаза эта рождает уже первые ростки будущих методологий и теорий знаний, а также переносит и самый центр мысли из сферы рассудка к учению об интеллекте как организующей силе самих идей; в скором времени после этого учения об интеллекте, как живой организующей действительности **волевой мысли** — одновременно и мысли, и жизни (будущий практический разум Канта), встает в учениях о Логосе: или, по крайней мере, в более или менее совершенных попытках вычертить в сознании под- и над-рассудочной мысли новую сферу ее.

Здесь-то и пересекается сфера души рассуждающей со сферой души самосознающей; и первая весть о новой сфере сознания, **предопределяющей** и сознание в рассудочном смысле, и бытие в чувственном смысле, и личность, стоящую на перепутьи между этими сферами, есть

символика самосознающей души, данная нам в образах христианской философии ап. Павла, где личное «Я», вырванное из сферы личности, диалектически прикрепляется к надличному индивидуальному «Я», или коллективу личностей; где идея генетической или же теологической зависимости всего, что ни есть, — идей, понятий, предметов, образов, личностей, личных сознаний — видоизменяется в идею структуры и композиционной взаимной обусловленности элементов; в интерференции самой этой обусловленности, в диалектическом раскрытии понятия обусловленности, как обусловленности энным количеством необходимостей, каждой в отдельности не абсолютно необходимой, наконец, в перерождении самих понятий о необходимости через математическое раскрытие внутри необходимости вырастающей двух-, трех- и далее многостепенной свободы, вплоть до учения о необходимости из свободы.

Об этом мы ниже.

Здесь напомним лишь, что весь период сложения, роста и процветания периода средневековой мысли, а с ней и культуры этого периода есть попытка раскрыть в средствах души рассуждающей новый миф, рожденный внутри самой рассудочной мысли: миф о само-со-знании, в результате которого самый миф перестает быть мифом, становясь действительностью многоличия индивидуальной культуры и в социальном разрезе, и в разрезе каждого отдельного «Я»; эти усилия души рассуждающей раскрыть нечто, ее ныне превышающее, но в средневековый период пребывающее под нею, как эмбрион, выявляются в теологической логике так называемой схоластики; в логике души рассуждающей эти усилия оказались, в отличие от античного периода мысли, не в сложении самих контуров логики, не в раздвижении клавиатуры мысли, а в развитии, так сказать, техники пальцев, играющих на самой клавиатуре, в техническом утончении силлогических гамм, в многообразии их тональностей и в механизации самих приемов мысли; причем впоследствии лишь оказалось, что дефекты средневекового логического инструмента зависят не от формальной беглости логических пальцев на нем, а от непра-

вильности вычислений, легших в основу построения инструмента; неправильность вычислений — знак равенства, поставленный, во-первых, меж мыслью и меж рассудочной мыслью; и во-вторых: понимание этой рассудочной жизни в правильном построении* цепей из понятий вместо анализа самих основных понятий познания; первичною данностью нам этих понятий, как основных категорий познания в Аристотелевом смысле, не исчерпывались границы познания, построенного в сфере души рассуждающей; эта сфера оказывалась шире *a priori* положенной логикой Аристотеля (сферы); дефекты логического инструмента оказались в узости выявленной клавиатуры, внутри которой, однако, пальцы логических пьянистов достигли небывалой и отчасти даже нами утраченной легкости и быстроты. И если звук средневековой логики, как инструмента, независимо от тональности реализма, или номинализма, все более и более не созвучал со звуком логики в нашем теперешнем смысле, то это порою не зависело от логической грубости на этом инструменте упражнявшихся схоластических докторов; артисты, дававшие нам логические концерты на протяжении всей эпохи схоластики, были порою в техническом смысле безукоризненны; и техникой мысли своей, конечно же, побивали они многих из логических артистов наших дней, признанных доселе за авторитеты; суть, повторяю, — не в технике, а в инструменте, верней, в материале, из которого инструмент был построен; в особенности и в свойствах культуры рассудка, взявшей патент на изготовление логических инструментов.

Схоластику невозможно было переродить; надо было ее закрыть; или, верней, — закрыть самую фабрику изготовления инструментов познания — рассудок, что случилось в момент рождения самосознающей души, во второй половине XIV столетия.

Это рождение новой души, или выход сознания из сферы души рассуждающей, сопровождалось рождением нового взгляда на мир и восстанием по-новому всех представлений о «Я» человека; и одновременно: оно сопровождалось

* т. е. как правильных понятийных цепей из понятий.

упадком схоластической мысли; верней говоря: упадком мысли вообще на известном промежутке лет.

Лишь с момента поворота души самосознающей на свои нижние пласты, с момента начала переработки новой душой души рассуждающей, выявились контуры нашей теперешней, научной, критической мысли и появилась та сила суждения, под действием которой самая душа рассуждающая из субъекта деятельности мысли, из «Я»-сознания превратилась в объект, в организуемый материал идей.

Каков, так сказать, первый и основной признак души самосознающей в отличие ее от души рассуждающей? Этот признак — в выявлении в дневном свете новой душевной особенности, подсознательной доселе: выявлении воли, вернее, — **свободы воли**.

Период души ощущающей выявил душевность в общем и неопределенном смысле под формую чувства; период души рассуждающей выявил мысль как рассудочное понятие под черепною коробкою; и этим передвижением мысли из родового очага в особь произвел рождение личности и отрыв ее; вместо прежней родовой мысли выявилась воля родов; и она же построила нам в общем контуры аристократической личной культуры; теперь, в период рождения души самосознающей, совершается подобный отрыву мысли от рода **отрыв воли от рода** и выявление этой воли в той же от рода оторванной личности; воля из сферы родового, безличного сознания появляется в личности, как бы выныривая из бессознания в голову; но этим производится революция в голове; в месте центрального понятия как регулятора сознания появляется не **понятие** как таковое, рассудочное, — появляется **организующая сила** сознания, иль воля к власти сознания, которая лишь в последующей эпохе начинает сказываться в сфере мысли, как **организующая сила идей**; таково определение интеллекта. взятого под формой рассудочной мысли; суть этого интеллекта в том, что он, как таковой, не рассудочная мысль, а себя самое сознающая воля, иль воля, переживаемая лично и только лично; можно сказать, что до XV столетия под черепною коробкою особи царствовала династия мысли; с XV века

свершилась перемена династии: можно сказать, что вчерашняя не мысль, а тайчая, не вскрытая пружина мысли теперь окончательно проросла в сферу мысли; более того: вчерашняя мысль, как таковая, оказалась лишь точкой, лишь почкой; теперь вдруг раскрылась она в многообразие точек, в круг точек иль в композицию точек мысли, ни правильных, ни неправильных; в центре же прежней точки оказалась не точка, а силовая линия, движущая, разрывающая вчерашние точки, так что эти точки, центральные понятия сознания, оказались во все стороны растущими цепями понятий, иль тем, что мы в нашем вчера называем методами отдельных наук; так, средневековые споры о правильности или неправильности той или иной цепи понятий оказались ни правильными, ни неправильными в прежнем смысле; правильность или неправильность их **зависит от композиции их расположения** относительно всего круга цепей рассудочной мысли; критерий истины переместился; механическая безукоризненность движения мысли внутри той или иной цепи — критерий истины средневековой мысли — оказалась обусловленной **композицией**, иль перекликом всех возможных цепей, преломляющих, каждая по-своему, вчерашнюю истину; стиль композиции всех цепей — стиль индивидуальный, фигурный, обусловленный характером методической организации, силой организации и творческой волей к организации — вот что стало правдою или неправдою истин: их оправданием или их осуждением.

Такой характер интеллектуальной деятельности самосознания выявился лишь в наши дни; история становления интеллекта последних пяти столетий есть история рождения и мучительного роста самосознающей души и история ее вырыва из сферы личности.

Мы видели, что рождению личности соответствует вырыв самой способности мысли в особи из родовой жизни; личность — итог переработки души ощущающей силами души рассуждающей; и в этом смысле она есть щит, слепок, или, вернее, налепок на семени, точке будущего самосознания.

Момент рождения души самосознающей — момент раз-

рыва центральной точки сознания, иль точки «со», как отвлеченного понятия о некоем единстве, ставящем знак равенства между собой и «Я»; точка — превратилась в круг точек; центральное единство — в круг единств; но каждое единство дано было под оболочкою личности; и, стало быть: появление круга единств есть появление круга личностей, иль разрыв личности центральной; прежде единством сознания оказывалось наше «Я»; теперь, с появлением круга сознаний и, стало быть, круга личностей, коллектива, «Я» сознавания в прежнем смысле — разбито; и — нет его вовсе; оно — метаморфоза животных процессов чисто физической организации; «Я» и сознание прежнее, лично-личинковое — не адекватны: «Я» личное — фикция, потому что «Я» надлично; оно — организующая сила не одного сознания, а круга сознаний, где отдельные «со» отдельных сознаний — лишь точки новой фигуры, результирующей организацию их; и круг этих «со» есть понимание центрального «со» — всех сознаний, как силы со-осознания сознаний; но это новое «со» — волевое и творческое — есть «само»: самосознание наше; а круг личностей, где каждая есть личина отдельного сознания, а не личность круга, изживает себя в понятии «индивидуума», «индивидуум» есть сам в себе замкнутый род, иль, вернее, «антирод»; это есть представленье о «Я», как конструкции, храме из личностей; личное «Я», соответствующее эпохе души рассуждающей, есть одна только личность целого строя личностей, в нас обитающих; это, так сказать, первая личность, вышедшая на дневной свет и себя осознавшая; переход к душе самосознающей есть, во-первых, осознание собственной личности как правофлангового, пока еще пребывающего в родовой, полуживотной, и далее — животной, далее еще растительной бессознательности; достижение бессмертия вчерашнего личного «Я» есть отказ от личного «Я», превращение этого «Я» в работника, так сказать, вычерпывающего свои иные личности, затонувшие или полузатонувшие в пучине прошлого (привычек, инстинктов, законов); в свете нового самосознания: и душа ощущающая, и ее подстилающие тела суть внутри меня обитающие мои отставшие братья,

а «Я» — собственно есть «индивидуум», или организация, направленная к проработке сознанием в меня вписанных личностей, потенциалов, во мне живущих и мною неразвитых каких-то иных жизней; импульс же к этой организации, или творческая сила, открывающаяся мне в центре моего идеального представления о «Я», или «идеал», сотворенный мной, и есть «Я» — собственно, как «дух», а не как душа жизни. Корень и тайна себя сознающей самосознающей души есть раскрытие этой души, как «само» духа.

Но открытие это, формулированное мною в абстрактной форме, есть **история трагедий**, падений, восторгов и взлетов новой души, обнимающих XV-е, XVI-е, XVIII-е и XIX-е столетия, чтобы в начале XX-го века могли мы отчетливо сложить лозунг самосознания нашего, как **смерть души собственно**: как начало ее восстания в дух; без такой жертвенной смерти для воскресения история самосознающей души есть история медленной смерти души вообще: история перерождения ее в тело; разрыв личности в метаморфозу животных процессов в нас и в рождение в нас человека-зверя.

Кризис сознания нашего времени есть вынужденная и всегда болезненная операция: срезания личины с «Я»; маска, или личность, судьбою срывается с нас, потому что «Я», как душа, есть момент жизни духа; никакого душевного «Я» — нет, быть не может; есть только духовное «Я»; и есть — тело.

Душа рассуждающая — момент, фаза рождения в нас эмбриональной духовной жизни; насильственное продление этой фазы, насильственное пришествие «Я» к маске личности есть установка этого «Я» между молотом и наковальнею, где молот — дух, а наковальня — материя.

Душа рассуждающая — точка перекрещения двух конусов духа; один — рисует процесс сгущения духа в душу и отрыв души от духа тою деятельностью отставших духовных существ, которая является нам под формою тел; другой — рисует процесс медленного расширения души из точки личности в конус ширящегося сознания, в дух возвращающегося; до точки души рассуждающей

действуют постепенно ослабевающие древние духовные силы, подобные центробежным; это суть силы непосредственного имагинативного мышления; к XV-му столетию остатки этих древних имагинативных сил ослабевают; с XV-го столетия мы переходим в сферу будущего действия на нас противоположно направленных тех же духовных сил, подобных центростремительным; но в первое столетие души самосознающей мы еще не в состоянии воспринять действия на нас этих сил; и мы кажемся себе одновременно покинутыми древними силами ясновидения и не могущими выработать в себе силы необходимого для нас ясновидения; мы ощущаем себя в этом пункте истории — **абсолютно косными и преисполненными сил смерти**; силы земные скудеют в нас; силы сознания — не окрылены. Переживания души самосознающей трех последних столетий — переживания медленного умирания.

В душе самосознающей пока мы отметили лишь один признак — **пророст воли в сознание**; ее вложение, так сказать, в мысль, изменяющее нам самое отношение к мысли: душа самосознающая привносит в сознание **внимание** в первую голову к мысли; и уже потом, через видоизменение вниманием самой субстанции мысли, душа самосознающая видоизменяет нам, так сказать, рельеф в мир чувств; ландшафт жизни эмоций, пока противопоставлены они душой ощущающей душе рассуждающей, — ландшафт жизни эмоций иной; прикосновение души самосознающей к этому ландшафту эмоций в нем вызывает, так сказать, порою протекающие **катастрофические видоизменения рельефов**, напоминающие геологические катастрофы с провалами континентов, с образованием иных континентов; пока жизнь чувств человека эпохи души самосознающей и эпохи души рассуждающей иная; в душе самосознающей приходим к узанию мы, что мир чувств многоличен; и самое общее именование чувства «чувством», как чего-то, что дано непосредственно нам, уже нас не удовлетворяет; мы начинаем все более и более понимать, что самый мир чувства — мир символов, мир сложных синтетических образований, в которые, с одной стороны,

впаяны наши мысли и волевые импульсы, с другой стороны, впаяны наши тела, так что, работая мыслями над миром чувств, мы чрез посредство этой работы видоизменяем обычное соотношение между астральным, эфирным и физическим телом, видоизменяем и ритмы самих этих тел, вплоть до физиологической ретуши, — до видоизменения между ритмами дыхания, кровообращения, иннервации и т. д.

Видоизменение мира мысли, который в сфере души рассуждающей есть мир рассудочной мысли, душою самосознания, в общем нормальном течении сказывается как усиление волевой энергии мысли; здесь узнаем мы, что самые наши акты познания сопровождаются неким творческим императивом — «да будет»; останавливаясь с душой самосознающей в пределах рассудочной мысли, мы можем охарактеризовать след, ею оставляемый в мысли, как **долженствование**, а мышление как **оправдание явлений**; **помыслить что-нибудь**, значит **создать конструкцию возможной действительности**; но мыслить что-либо в стиле души рассуждающей, значит: порассуждать, порезонировать, пофилософствовать: стиль души рассуждающей — это стиль логизма с тенденцией к рационализму; стиль души самосознающей в сфере мысли есть стиль логизма с тенденцией к волюнтаризму; резонирование здесь, так сказать, волемысле, есть сила, организующая суждение, или Кантов «практический разум», взявший в руки «теоретический разум» и его переформировавший; с религиозной точки зрения, скажем: логика души самосознающей не есть аналитика чистых понятий рассудка в Кантовом смысле; она есть логика Логоса, некоего конкретно действительного и творческого начала жизни; и точка пересечения этой силы космической мысли, всегда миротворческой, с мыслью нашей есть наш интеллект: оболочка же этого интеллекта есть индивидуальность, т. е. личность, расширенная до возможности собой изживать сумму личностей; душа самосознающая есть источник, так сказать, нормального расширения эгоизма; она говорит как бы, что любовь к ближнему есть расширение и правильное понимание любви к себе; когда мы говорим: «Люби ближнего, как самого себя», мы часто

абстрактно ставим ударение на ближнем, проглатывая ссылку на любовь к себе; и в этом сентиментальном мотиве не замечаем, что в бессознании нашем, как двойник и как рок нашего неумения любить другого, вырастает ненависть к ближнему; мы любим **ГОЛОВОЮ**, ненавидя сердцем; и хуже всего то, что мы этой ненависти в себе не замечаем; вот это-то щепление в себе на субъекта любви и субъекта ненависти несут сентиментальные человеколюбцы, строящие свой гуманизм на фундаменте души рассуждающей; тайное этих человеколюбцев и благодетелей человечества есть то, что в подсознании своем они ненавидят конкретного человека, любя лишь утопию «ближнего» в образе единицы с энным количеством к ней приставленных нолей; таким был Робеспьер, таковы и обычные «моралисты»; за это не любим мы их; они резонеры, рационалисты; проблемы души самосознающей в морали вытекают из того факта, что душа самосознающая переносит как бы ударение в формуле «люби ближнего, как самого себя», на слова «как самого себя»; она взывает к любви к себе, как к необходимой отправной точке для любви к ближнему; любим ли мы себя? И душа самосознающая как бы отвечает: «Как мы можем себя любить, когда мы себя не знаем. И как мы можем любить и уважать других, когда мы не знаем, не любим, не уважаем себя». Итак: полюбить ближнего — значит: полюбить сперва себя и потом понять, что «ты» подлинный — ни в личности своей, ни в личности своего ближнего, а в некоем индивидууме, пересекающем «ты» и «Я» личностей, в «он» индивидуума, который и есть подлинное внутреннее «Я» в тебе и в ближнем; этот перенос внимания от ближнего «Я» (личного «Я») к дальнему «Я» (внутреннему «Я», которое есть пока точка будущего пожара любви) и заставил Ницше воскликнуть о любви к дальнему «Самому себе»; он только не доузнал, что это дальнее «Я» в «Я» личном есть «Я» дальнее «ты» ближнего; для того, чтобы это понять, надо познать самого себя; а это значит: **отделить «Я» от личности и увидеть его в индивидууме; апостол Павел характеризовал это самопознание словами: «Не я, но Христос во мне».** Так самая перемена рельефа

в проблеме морали и правильное вычерчивание эгоистической проблемы в противовес абстрактно-сентиментальному «альтруизму», то есть замаскированному грубо-чувственному эгоизму, вытекает из проблемы конкретного самопознания в эпоху души самосознающей; оно начинается еще в сфере мысли; оно — результат внимания к этой сфере, результат самопознания себя, как пока еще только мыслящего существа.

Но этот путь **переориентации**, так сказать, эгоизма, путь лечения низшего эгоизма изменением самого рельефа сознания в отыскании истинного корня «Я» личности в «не-Я» личности, понятом как «Я» во мне прорезывающегося индивидуума, или в «мы» целого коллектива личностей (вариация этого пути, акцентированная лозунгом пролетарского самосознания) — этот путь переориентации есть путь мучительной операции; и во многом отношении путь, на котором подстерегают нас разнообразные aberrации; пророст самопознающей души из рассудочной, и обратный вrost ее в рассудок для проработки души рассуждающей (переорганизации ее ландшафтов) есть снятие с сознания нашего катаракта личности; и потому-то с XV-го века и до наших дней рост самосознания измериваем, пожалуй, более кривыми разнонаправленными aberrациями, нежели положительными достижениями; и это не потому, что их нет, а потому, что они менее заметны антропософски не вооруженному глазу, они, так сказать, шествуют в мир, закрытые всеми видимым облаком aberrаций.

Одни из них есть смещение «Я» с личностью; процесс нормальной эгоизации в aberrации этой, в истории протекает так, что «да будет», волюнтаристический привкус души самосознающей, понимается как «да будет» произвола отдельной личности; индивидуальные силы интеллекта, динамизирующие сознание и ему придающие власть, понимаются не как проявление сквозь личность сил индивидуума, созидающего мою личность, не как «Я Христа во мне», а как малое «Я», лично и корыстно использующее открытый личности новый источник сил; и оттого-то именно в начале ренессанса мы видим рост грубейшего эгоизма и произвола, свивающего себе гнез-

до под флагом гуманизма и быстро перерождающего нормальный волюнтаризм, благое «да будет» — в авантюризм и только в авантюризм; мы видим биографию великого Леонардо да Винчи, движимого в своем новом волевом импульсе и благим источником, и абберрацией личного эгоцентризма; видим и авантюристов Кортца или Пизарро, ударом грубого кулака разрушающих ни за что, ни про что утонченнейшие остатки древнейших цивилизаций; мы видим в наши дни войну, объявленную всяческому «индивидуализму» со стороны многих пролетарских коллективов, выдвигающих лозунг «мы» против лозунга «Я» и не подозревающих, что их «мы» — только потому «мы» организованное, что фигура организации есть целое некоего большого «Я» — «индивидуума» организма, и не подозревающих, что расстреливаемое ими «Я» не есть «Я» персональное, а «Я» индивидуальное; а «индивидуум» и «коллектив» есть разные стороны той же целостности.

Если в сфере души рассуждающей перерабатывающее эту сферу самопознание чрез самопознание видоизменяет рельефы сознания, то в сфере души ощущающей перерабатывающее эту сферу самосознание чрез реальное самочувствие приводит к еще более потрясающему узнанию, что реального личного самочувствия нет; а есть **многие** самочувствия; мы в мире чувств являемся коллективом друг с другом спорящих, противоречащих **двойников**; сначала это есть учение о двойной душе: «*Zwei Seelen trage ich in meiner Brust*»; углубляясь во все более реальные факты раздвоения сознания, мы видим, что даже, собственно говоря, мы не можем его назвать «раздвоением» сознания; скорей это **множественность сознаний в сознании**, стоящих друг относительно друга в таком отношении, что одно сознание кажется полусознанием, другое же — бессознанием; мы наталкиваемся при более пристальном разгляде явлений душевной жизни на странный факт выныривания в поле сознания из бессознания какой-то в нас начинающей действовать другой личности, которая, временно вырвав бразды правления у знакомого нам нашего «Я», под формой этого «Я» совершает ряд **бесконтрольных поступков**; и потом,

оставив нам свое неприятное наследство, вновь уныривает в бессознание; чем более углубляется самосознание в мир чувства, тем более ему открывается вся катастрофичность этого мира, в котором личность ходит всегда, как на кратере, и которого ландшафты каждую минуту готовы осыпаться в бездну; в эпоху души рассуждающей все то, что бывает с нами в этой сфере, кажется нам случайным и обусловленным законами физической причинности; теперь мы видим, что здесь-то именно, в сфере чувств, в смене династий сознания, в многообразии личностей нашего «Я», обитающих на вполне неизученном континенте чувства, который оказывается известным лишь в абстракциях географической карты, или сквозь призму наших рассуждений о душевном мире, — теперь-то мы видим, что в сфере чувств **выковывается самая наша судьба**, и что отдельные эмоции — личности находятся друг с другом в непрестанной распря; а распря может всегда окончиться трагической гибелью нашего абстрактного «Я»: этого, в конце концов, пустого футляра, покрывающего неисследованный нами и теперь в нас воскресший мифологический мир с его Олимпами и его Аидами.

Когда душа самосознающая в облачении не до конца проработанной ею души рассуждающей, средствами души рассуждающей касается души ощущающей, или, верней, сферы чувств ее, то организация этого мира выглядит учением о душевных способностях; вырастает психологическая наука; взгляд души самосознающей, брошенный в этот мир без очков души рассуждающей, путем внимательного фиксирования нашего самочувствия открывает в месте этого самочувствия быт неисследованных существ души; а вместо эмоции — действительность древнего мифа в нас; здесь еще мы козлоноги, парнокопытны, хвостаты; и — с рожками; словом, мы сатиры, гоняющиеся за прекрасными нимфами для не столь идеальных целей, а между тем эти нимфы в другой климатической зоне сознания, а именно, — в душе рассуждающей, — суть утопии, которым мы так беззаветно-де служим; так нас уверяет рассудок; и так аккомпанирует этому рассудку наш «сантимент» или лег-

кая эманация чувственности в сферу рассудка, эманация, подобная туману; она-то заволакивает от нас подлинную поверхность пучины чувства; душа самосознающая открывает теперь истинные корни сантиментальности; и они — эманации неузнанной грубой похоти в нас; и теперь аккомпанемент сантимерта к утопии разоблачен в своем истинном свете, как погоня сатира за нимфой-идеей; так бескорыстие увлечений всем «идеальным» зачастую оказывается слюнотечением над лакомым кусочком реального, весьма реального.

Долго я мог бы описывать все те ландшафты, в которые мы попадаем; но смысл их один: в свете действительного самосознания наше обычное самочувствие выглядит вовсе бесчувствием по сравнению с протекающей в нас действительностью мира чувств, в которой многие наши вкусы и склонности представлены их дополнительными цветами, так что нам надо было бы изменить во многом наши симпатии и антипатии, чтобы прийти к реальностям мира чувства; мы всею работою души самосознающей прижаты к необходимости переработать весь этот, так некрасиво нам поданный мир; происходит ведь как бы так: мы открываем, что в квартире, в которой мы обитали ряд лет и которая принадлежала всецело нам, давно поселился весьма неприятный сожитель (подчас даже — многие); этот сожитель (или сожители), пользуясь своим инкогнито, в наше отсутствие, т. е., пока мы занимаемся мировоззрительными утопиями и голубо-розовыми сантиментами в верхнем этаже нашей жизни, устраивает далеко не мировоззрительные гадости в квартире наших чувств; и между прочим: грязнит наши комнаты какою-то отвратительною нечистотою; если мы его оставим в покое, он отравит нам все самочувствие наше ужасною атмосферою своею, и так поступив, он отправится в верхний этаж, чтоб при всех, в час воздушнорозовых рассуждений нас с ближними об утопиях мыслей, предстать во всей грязи пред нами, чтоб нас осрамить до конца; словом, история «Портрета Дориана Грея» есть история любой личности, подошедшей к границе души самосознающей и отказывающейся снять маску. Неволей иль волей поставлены мы в необходи-

мость заняться перевоспитанием козлоногого и козлобродого рода, в ней обитающего, потому что в эту эпоху нам открывается, что этот род в нас — есть «мы»; и даже «Я» в личном смысле есть только верхняя точка всей линии рода личных потенций, живущих в нас, иль эмбриональных личностей, — стало быть, мира животного.

Осознание в себе животного рода и снятие с этого животного рода всех его мифологических атрибутов есть незаметное углубление самосознания в гущу чувств, где обнаруживается и соплетенность гущи этой с телесным миром; и в первую голову, с миром астральным; взгляд души самосознающей сквозь призму души рассуждающей в эту сферу взаимной зависимости мира чувств от мира телесных процессов и выразил себя в различного рода психофизиологиях истекшего века, а также во всех учениях о так называемом психо-физическом параллелизме; взгляд души самосознающей без призмы души рассуждающей, брошенный в эту сферу, иль наблюдение нашего подлинного мироощущения, нам являет картину астрала нашего; и эта картина есть: человек-зверь в нас.

Все ужасы патологических извращений, о которых мы читаем то у Золя, то у Гюисманса, то у Крафта-Эбинга, — только внешнее отражение внутренних патологических процессов, протекающих в каждом из нас; здесь встречаемся мы с коррелятом высшей части сознания нашего: с его низшей частью; здесь встает перед нами отражение того явления испытанья пути, которое имеет техническое именование встречи с малым стражем порога; эта встреча с порогом, т. е. с тем, что надлежит нам исправить, прежде чем двинуться вперед и вверх (а двинуться мы должны, ибо история вся уже обсыпается где-то близко за нами), — встреча эта с порогом, или первое веянье встречи, есть явление, так сказать, нормального порядка в середине культурного периода самосознающей души; и она застигает все человечество; между тем, как даже первое веянье встречи с порогом еще несколько десятилетий назад было явлением оккультного порядка, испытанием пути; теперь испытание выступило, так сказать, на историческую арену, как

самый порог истории; и оно обрушивается для каждого, готового или неготового к пути, как кризис самой истории; путь исторический этим заострился уже в «путь» в более узком и глубоком смысле слова; прежде легко можно было отступить каждому от проблемы «пути самопознания» под флагом пути его культурной работы в истории; чаще всего отступления эти и эти флаги были лишь лозунгами себя оправдывающей беспутицы (чаще всего у адвокатов и политических деятелей, представителей прессы и великодержавных промышленников, — мы-де люди занятые); теперь не может уже идти речь о беспутице под флагом отдачи себя историческим задачам времени, ибо эти задачи — рухнули; истории в прежнем смысле — и нет вовсе, а время — дезинтегрированное Эйнштейном на времена, не только в абстракциях течет одновременно во всех направлениях, превращаясь из линии, в точке последнего десятилетия, в **быстро бухнувший шар**, внутри которого оказывается круг истории, как круг «душевного» взгляда на мир и на вещи; между тем: душа самосознающая уже опустилась в пределы астрального тела, где в нашем смысле истории нет; и потому-то бешено несясь во всех временных направлениях, вперед и назад, мы в центре самого нашего «Я» испытываем ощущение стояния на месте или висенья в торричелиевой пустоте; и этому ощущению есть ряд объяснений; одно из них: ощущение висенья над бездной, висенья на месте, вернее, над местом (а еще верней, — над отсутствием провалившегося «места» в нас) — ощущение висенья есть анестезия всех восприятий движения времени от бешеного ускорения времени, не могущего быть измеренным никаким прежним масштабом; все наши времяизмерители остановились; и стрелки их указывают на все тот же пункт времени, пункт, в котором часы сломались: «1914 год. Мировая война»; то, что было «до», — **объяснимо до времени**; то, что после — необъяснимо; прошло уже с того рокового момента 12 лет; а единственное объяснение нами пережитого — не объясняющая ничего «констатация»: «Мировая катастрофа, большевики, гибель России, Европы и т. д.» Но это — отказ от объяснения; годы бегут, события нара-

стают; но нарастают они в нашем сознании какою-то беспричинною и беспрок-бухнувшей грудю фактов, между которыми не отыскать нам уже прежней, нам милой причинной зависимости; отчего? Оттого, что время — сломалось, «прежнее» время сломалось в нас, а нового конкретного времени все еще нет у нас; математические объяснения Эйнштейна — не объяснения конкретные.

Вот другое объяснение топтания нашего сознания на месте: с XV-го столетия и до 14-го года XX века линия истории рисовала линию медленного сначала, а потом все более крутого спуска, пересекая сверху вниз поясы души рассуждающей, ощущающей, и, наконец, пояс астрального тела (на перегибе столетий); и мы, привыкшие на протяжении четырех веков к линейному непрерывному спуску вниз, все еще продолжаем сознанием нестись по этому спуску, который ныне уже есть абстрактное, линейное продолжение, потому что линия истории, нарисовавши крутой угол, вызвавший все наши пережитые сейсмические толчки, уже движется вверх, к Манасу, к Духу; но в линии конкретного исторического движения все еще (только) отдельные индивидуумы человечества; лишь они уже в «новом» периоде истории; все же прочие после «толчка» продолжают развивать усилия движения в линейном направлении 4-х истекших столетий; т. е. по воображаемому линейному историческому пунктиру; на самом же деле — они стоят на месте, завязши головою в трясине астральной непроходимости со старыми фикциями разбитых душевных движений во времени, в то время как шум настоящей истории, напоминающий поднимающийся с земли аэроплан, — где-то над их головами, — в «над» и в несколько «наискось» он от них удаляется.

Таково стояние очень многих современников в наших днях, или, лучше говоря, в нашем бездневи, ибо дни нашей жизни — «века»; и мы уже живем в заролыше духовной культуры, в потенции **Манаса** — не в днях, не в часах; все масштабы расширились; и все шаги — великаны; вот это-то сознание великаньего шага и неумение его развить заставляет нас провалиться в сапог

великана; и вместо того, чтобы в нем зашагать, мы в нем тонем; сапог великана — астральное тело, которое непроработано в нас; а «история», лопнувшая с таким треском в нас. — «путь» великана, или путь исторический, взятый как «посвящение».

Третье объяснение ощущения безвременья в бешеной смене времен есть указание на то, что мы в настоящем моменте, т. е. в моменте увязки нашего «само» в трясине астрального мира, действительно вне истории, ибо все наши представления об истории, ее задачах, ее признаках суть представления, связанные с душевной историей, в которую вступили мы шесть тысячелетий назад и в которой мы пребывали вплоть до последнего времени; ведь прохождение культуры астрального тела, додушевный и доисторический период истории, не оставил нам никаких явственных следов; и все то, что создавалось в нас представлением об исторической жизни, — новообразования душевной истории; «линия» этой истории, хотя и рисовала зигзаг в первых веках христианской эры, — зигзаг, вызвавший падение античного мира и восстание средневекового мира Европы, — зигзаг этой линией истории нарисован в пределах душевных пластов; это был зигзаг погружения, силами Импульса, души рассуждающей в душу ощущающую; зигзаг XV-го столетия был зигзагом исторической линии в пределах верхнего душевного слоя (рождением души самосознающей); теперь лишь, на рубеже XIX и XX века, произошло реальное опускание «само» самосознания нашего в астральную бездну, т. е. впервые выход за все время «всемирной истории» из истории как «душевной истории»; и этот выход из душевной истории в сферу астрала переживается нами как выход из истории вообще.

Что же должно случиться?

Работа самосознания над астралом есть рождение зародыша конкретного духа в самосознании этом; и рост этого зародыша должен вытянуть стебель духа в линии исторического пути снизу вверх; зародыш должен заново растворить в себе, как в духовной сфере, скинутые с него оболочки душевности; переработка души ощущающей, рассуждающей, самосознающей дрожжами в нас восхо-

дящего духа являет собою наше нормальное будущее, т. е. второй период культуры самосознающей души, или период систематического расширения этой души и выявления трех душевных пластов в их позитивном духовном перерождении; весь этот период можно назвать в одном условном смысле уже началом духовного периода; в другом условном смысле его можно назвать еще окончанием душевного периода; в нем душа самосознающая, переходя в дух, как бы выходит из периода катастроф (или периода ее погружения в нижележащие зоны сознаний и полусознаний); впереди в нашем нормальном росте нас ожидает период позитивного строительства и новых завоеваний культуры, при условии, что мы благополучно перейдем через астральный порог; если бы мы сумели подняться вместе с переработанной в нас астральностью на ту сторону пропасти, до уровня души ощущающей, мы вступили бы опять по-новому в «историческое» сознание, вне которого пребывали мы; над-историческая действительность оказалась бы историей более высокого измерения, а не только катастрофой истории, не гибелью Европы, или мира, потому что гибель Европы и гибель мира есть гибель наша в истории, есть неумение нашего сознания расшириться до пределов, которые поставлены перед нами самою судьбою.

История души самосознающей есть история роста лозунгов к самопознанию. Это — крик столетий: «Познай самого себя». История роста в нас этих лозунгов и итогов самосознания привела к самой ликвидации в нас представлений о нас, как о личностях, и об истории, как о душевной истории; «душевная» история в нас обернулась ужасами буржуазной культуры; личное «Я» — человеко-зверем, общественный строй — эксплуатацией более хищными зверями менее хищных, религиозный строй — «опиумом для народа» и т. д.

Это — или крах. или это — итог пути самопознания; вернее, что это естественное выявление «пути» в диалектике испытаний нас «крахами»; пока еще так может каждому отдельному сознанию прозвучать этот крах; и это будет иметь значение, что все пережитое исто-

рией — ключ к душе самосознающей; краски, рисующие ее живой и конкретный портрет.

Но горе тому, в ком не так обернется кризис самосознания, или кто даже в нем не поймет себя в кризисе: он с покойным благополучием пойдет по прямой, — по воображаемой прямой вниз — сквозь астрал, сквозь тело стихий — к окаменению физического тела, чтобы в конце исторического пути явить из себя историей изваянный столб соляной, или новую машину, являющую собой желудочный котел, смысл которого — варить пищу; будущее такого материалиста — печально: ведь он будет в очень далеких периодах будущего, во всех строях этого будущего, вплоть до коммунистического, изъят из человеческого общества... даже коммунистического; в перерожденном телесном составе этого нового животного *Mandrilla homoformis* никто не откроет ведь происхождения его из человека; и может быть, коммунисты будущих тысячелетий используют это животное в качестве вьючного или почвоудобрительного, а всего вернее, что будет оно уничтожено за полной ненужностью; места для «человека-животного» не окажется на земле даже среди... животных, ибо в ту пору уже животных не будет.

История самосознающей души, с антропософской точки зрения, есть история 5-й культуры, (или подрасы) 5-й расы; в себе самом этот период отчетливо нам рисуется сложенным из 7-ми более малых периодов (в 4-й малый период вступили мы ныне); рождение души самосознающей и ее юность, или — вторая половина XIV столетия, XV век и начало XVI; вот первый период: период ренессанса в собственном смысле; погружение души самосознающей в зону души рассуждающей и переработка этой души — вторая половина XVI столетия, весь XVII век и первая половина XVIII-го — это есть период переработки всего аппарата рассудочной мысли: рождение новой философии, рождение научной методологии и овладение основными принципами точных наук; это есть период нового возрождения схоластики; схоластика средневековья перерождается в этот период в подлинно научную методологию; то, что отличает

методологию XVI и XVII столетия от споров о реализме и номинализме, есть сила научного суждения и дух критицизма; но это и есть «дух» самосознающей души в рассудочной сфере; вместе с тем, в этот же период перерождается, верней, вырождается, очерствляется гуманизм, или флаг рождения этой души; перерождается в либерализме он; очерствляется в рационализме и скептицизме; и вырождается в фанатизме религиозных войн, в духе нетерпимости, крепнущем в самих рядах гуманистов; инквизиция, неосхоластика и стиль *jesuite*, неоклассицизм и просвещенный абсолютизм, вот, так сказать, грубые и кричащие знаки этого второго периода.

Третий период, начавшийся во второй половине XVIII столетия и длившийся в разных доминионах культуры по-разному, но в среднем захватывающий последнюю четверть истекшего века, есть период нисхождения души самосознающей в сферу души ощущающей для переработки ее; и он начинается эпохой так называемого сантиментализма, переходящего сперва в романтизм в сфере эстетики, философии и т. д. и далее в реализм в тех же сферах, возвратом к природе, ростом 3-го сословия, организацией мелкой буржуазии, взрывающейся политической революцией в Европе; кончается он организацией и перерождением крепнущего 4-го сословия и чувством кризиса душевной культуры.

Четвертый период, период вступления самосознания в сферу астрального тела, опять-таки в разных доминионах означен первыми ударами действительных кризисов, суммарное сложение которых показывает, что начало вступления в этот 4-й период падает в среднем на 1901 год: а внешнеисторическое выявление его — 1914 год.

Пятый период культуры души самосознающей наступит в период вступления ее (или, вернее, химической переработки ее из астрального тела в зародыш духа) — в пласт души ощущающей; это, по всей вероятности, будет периодом органического строительства новой Европы (а может быть, всего мира); я думаю, что он будет периодом организации новых творческих форм

потребления и производства; это будет, так сказать, растительный период духовного зародыша культур будущего; о времени вступления в этот период я ничего не могу сказать; менее всего здесь пристало пророчествовать; но принимая во внимание общее ускорение времени, а также и некоторое замедление временного темпа, всегда наступающее после кризисов, в этот период мы вступим уже в XXI-м столетии; 6-й период самосознающей души есть эпоха вступления ее (вернее, возросшего в ней зачатка духа) в пояс души рассуждающей; это будет период нового невероятного раскрытия интеллекта, как конкретной Мудрости; расцветом культуры Мудрости будет отмечен этот период.

Наконец. 7-й период души самосознающей начнется с эпохи вступления этой Мудрости в зону души самосознающей.

Все *a priori* заставляют нас думать, что это будет эпоха, аналогичная ренессансу, с одним лишь различием; в этом периоде расцветет все то, что в величайших размахах прошлого ренессанса было оборвано; мы уже видели, что на перегибе XV и XVI столетий поколение деятелей *hoch* — ренессанса стоит перед нами как бы с надорванными силами, с горькой улыбкой недоумения. И если, с одной стороны, это время отмечено нами как время создания величайших перлов искусства, с другой стороны, это время есть незавершенность, оборванность и как бы насильственная прерванность в замыслах Рафаэля, Леонардо и Микель-Анджело; это — ранняя смерть Рафаэля и в ней — гибель ненаписанных полотен, а может быть, фресок; это сумма эскизов к работам Леонардо, не получившим воплощения; это те скалы, которые Микель-Анджело видел изваянными и которых все же волею исторического рока не коснулась его рука; все это, мне думается, расцветет в последней эпохе души самосознающей; вспомним, что мысли, брошенные философией греков, и мысли, с трудом нудимые в IX, X, XI и XII столетиях, вдруг получили свое завершение в XIII-м и первой половине XIV-го столетия, в период окончания эпохи души рассуждающей; какая плеяда имен осыпает вдруг эту эпоху: Бонавентура, Оккам,

Франциск. Фома Аквинский, Рожер Бэкон, Раймонд Луллий, Дунс Скотт; и вдруг этот же ряд пресекается вполне, навсегда; и тотчас линия нового букета имен, но уже с другим содержанием: Дант, Джотто, Брунетто Латини и... и... волна раннего гуманизма; но что общего между этой первой волною и тою последней?

Так 7-й период нового ренессанса в сфере новых искусств, захватывающих уже не форму, а жизнь человека, быть может, мгновенно иссякнет; и в месте иссякнувшем — новый фонтан достижений, о котором сказать нам еще пока невозможно: восстание Манаса, или первый час первого дня — новой фазы истории.

Все то, что я говорю о 5-м, 6-м и 7-м периоде нашей культурной эпохи, как о закритичной ее половине, конечно, утопия, имеющая за собой лишь несколько процентов вероятия, отвлеченно выведенного из основ антропософского мировоззрения; весьма вероятно, что эта вторая половина 5-го культурного периода, захватывающая 2—3—4 впереди стоящих столетия, есть рассказ о прыжке из необходимости в царство свободы, рассказ о рождении этой свободы, при условии, что человечество, или его лучшая часть, эту свободу поволит и ее проведет; лишь тогда она встретится конкретно с новыми духовными силами, сигнализирующими пока нам с еще вершинной точки Манаса в символах нас обставших дней; суть этих духовных сил, или, лучше сказать, суть их отношений к нам, новая суть новой связи нас с ними — в том, что их сигнализация — «из свободы»; они уже не помогут нам в смысле прямого нас вытаскивания из ухабов, в которых застряли мы; самое понятие «духовной помощи» в нашем сознании — переродилось; переродилось и самое понятие о **руководстве и учительствовании** в период самосознающей души; самая история души в ее кризисах есть **новая форма помощи**, метод наглядного обучения, долженствующий привести к чтению истории новыми глазами. к заново прохождению истории, как истории духовных письмен, где столетия — только слова, и где десятилетия — буквы; выучились ли мы читать историю? Если выучились — наша помощь уже с нами, в нас в отовсюду просту-

пающем шифре; если шифр этот не до конца нам ясен, — значит, надо искать учителя грамоты; где этот учитель? — Самопознание; и наши лучшие учителя, наши воистину учителя, учителя с большой буквы, но в новом и в лучшем смысле, это те, кто на вопрос, нами ставимый, как нам жить, что нам делать, нам отвечают: «Познай самого себя: ты — ключ к азбуке мира». Но как приступить к познанию самого себя? Вопрос неправомерен: Самопознанию не научиваются рассудком: оно пропускает сквозь все; на него натываются тогда, когда оставлены все те предметы, которые его заслоняют; и эти предметы — суть догматы: личные, национальные, исторические; снять их с себя — вот проблема самопознания; как снять? Воспитывая в себе свободу? Но где она? Она или в свободном акте рождения в нас нашей мысли, или — нигде; а где начало рождения мысли? Да в маленьких актах внимательности по отношению к чему бы то ни было; как опыт научной мысли начинает с наблюдения и описания в одной сфере сознания, так опыт с мыслью, контроль над нею — с наблюдения и описания самой способности к наблюдению; с наблюдения и описания самого внимания.

Но тут могут нас оборвать.

«Позвольте же! Миры рушатся: время не терпит отлагательств, а вы от вопросов огромной принципиальной важности отвертываетесь и подменяете их какими-то мелочами!»

И я отвечаю: «Да!» Величайшие несчастья мира и величайшие исторические катастрофы суть лишь сумма (гигантская) недостертых пылинок нашей обыденной невнимательности во всем; когда человек все рассудит и все примет в расчет, обыкновенно остается какой-то остаток, которым пренебрегают: нестертая пылинка (одна!) на вычищенной одежде, одна миллионная исчисления с недочисленным хвостиком; и я уже знаю: что именно в недочищенном хвостике и в пылинке — смерч будущих ужасов: ибо пылинка и хвостик — бациллы; они — бич и смерть; требования бактериологии давно уже выдвинуты; и они нас избавили от энного количества эпидемий; но эти же требования новой бактериологии

сознания до сей поры не приняты во внимание; и оттого-то в самопознании, начинающемся с освобождения от догматов, упирающемся в требование увеличения внимания хотя бы на один десятичный знак (с требования новой бактериологии сознания), в нем потенция всей нами искомой свободы, без которой самопознание невозможно.

Оно-то и не принято во внимание: до сих пор!

Картина действительности напоминает мне картину сумятицы поисков угля и дерева ввиду похолодания мира и исчезновения запасов солнечной энергии нашей планеты; люди и коллективы уничтожают друг друга из-за нескольких саженей последних в мире дров, способных отопить один коллектив на протяжении, скажем, пяти месяцев; а между тем: еще остается свободный промежуток времени для внимательного и окончательного разрешения вопроса об использовании нового запаса тепла, междуатомной энергии; все предварительные условия налицо: остается последнее усилие, требующее последнего внимания, быть может, пятиминутного, но действительного; всем это теоретически известно, но в пылу сумятицы всем кажется это усилие — равнодушным и вопросом, разменивающим действительную борьбу за жизнь схоластически-мертвыми рассуждениями. Такова картина современного мятущегося человечества и стоящих в ней учителей свободы: «Мы гибнем, — научи, как спастись!» И эти учителя как бы отвечают: «Мною все сказано: но ты опять все прослышал!» Я говорил о действительном средстве, а ты еще опять требуешь паллиативов, идеологических пасс и психических магий; но все это — топливо, которого нет; исчезновение этого топлива есть знак, что готово другое топливо; ты ищешь помощи сил духовных и спрашиваешь, где они, эти силы. Остановись, оглядись: они уже здесь: пришли на помощь: они — дар, в тебя вложенный, в тебе новый и тобою еще не испробованный: внимание, несущее новую наблюдательность, новое чтение шифров; и, стало быть, в них вписанное указание путей.

Другой помощи не будет тебе, ибо твои представления о помощи — ветхозаветны; ведь ты рождаешься в новый

духовный мир, где новый язык, которого доселе не знал ты; и первая буква азбуки новой, ее альфа — свобода; и первый штрих начертанья ее — штрих вниманья; вся громада будущей духовности, вся мощь помощи — в этом данном тебе штрихе, ты же требуешь: магии руководства от Духа Святого, пасс и старых аркан, когда мир тебе поставлен арканными знаками; но эти магии — суть пеленки, в которых когда-то держали тебя; если бы в минуту твоей теперешней гибели духовные силы ответили б тебе помощью в тобою алкаемом смысле, то эта помощь была бы тебе духовной погибелью; и этой духовной погибелью мог бы ты еще некоторое время длить иллюзию твоей душевной культуры, для которой ты должен воистину умереть; твоя смерть в ней есть условие твоей этой вот будущей духовной жизни; а ты ищешь в ней смерти; прося все еще по-старому помощи, ища все еще старых изжитых путей и измеривая старым табелем о рангах уничтоженья всех рангов.

Таков язык той, к нам навстречу идущей и в Манасе с нами конкретно имеющей встречу духовной помощи; и эта духовная помощь, с точки зрения д-ра Штейнера, язык космического интеллекта, уже вложенного потенцией в наш интеллект; язык архангела Михаила, ведущего в духовной сфере борьбу за нас с драконом времени Ариманом; язык Михаила, свыше сигнализирующего нам мечом; философия нашей духовной свободы, наши усилия к высвобождению; или лучше сказать, дерзание к освобождению, вера в дерзание, «вера в веру», творчески поволенное «да будет». И «да будет», которым должны мы сопровождать каждый жизненный акт, начиная его с акта познания, и этот последний — с акта внимания.

Здесь, в атоме — внимания, здесь же, сейчас, сию минуту — взрыв междуатомных духовных теплот; и — начало плавления мира вокруг.

И сказанное мной все: о стоянии нашем в точке сворота, в моменте души самосознающей, когда она просится «погибнуть иль любить», о первом — «Я», всей силою благодати Святого Духа, могущей открыться и мне, грешному, чрез силы моего интеллекта, соединяющего

свободно меня со светлым воинством архангела Михаила; Я — не рожденный, но все еще могущий родиться индивидуум, умирающий в личности Бориса Бугаева, — всей силою я утверждаю: да не будет погибели; и тою же силою сопровождаю я слово любить мне данным «да будет».

И я утверждаю: все сказанное мной здесь о спасении человеческого рода, — воистину: да будет.

Душа — будет любить; и, стало быть: она будет духом. Благодарю за помощь Духовные Силы, дающие и моей слепоте луч прогляда в действительность. Я, будучи в интеллекте и в твердом решении верить мне «по сему», — отказываюсь от всяких иных способов борьбы за Дух, от всяких иных критериев вооружения сознания, ибо я Дух лишь в духе, и Дух Духа моего, новый, и имя ему «новое» в духовных путях: Сво-бо-да.

[Москва, 1923—1929 гг.]

Публикация Г. Ф. Пархоменко





Карл КЕНИГ

СТРАНСТВИЯ УГРЕЙ И ЛОСОСЕЙ

(Из книги «Брат зверь»)

Перевод с немецкого М. Случа

I.

Недавно у исследователей, особенно у зоологов и палеонтологов, перехватило дыхание от сенсационного открытия. Из глубины Индийского океана было извлечено несколько экземпляров одной из древнейших рыб Земли, которая, как полагали, вымерла около 60 млн. лет назад. Первый экземпляр — 22/12—1938 г., но тогда в растущей предвоенной сумятице этому не было уделено особенно много внимания; до тех пор, пока не были выловлены следующие 8 экземпляров. Последний — 12/11—1954 г. — смогли даже вытащить живым, но он погиб из-за недостаточной защиты от солнечного света.

Кистеперые — имя этой прадревней группы рыб, сохранивших, несмотря на «борьбу за существование» и «естественный отбор», ту же форму, что и их братья

и сестры, найденные в окаменелостях третичного периода в Гренландии, Южной Африке, Мадагаскаре и Австралии. При этом важно, что в современность проникли живые свидетели этого раннего земного периода, не изменив ни облика, ни образа жизни, и перекинув тем самым мост, который раньше считался разрушенным. Эти восемь созданий седой древности были подняты из океанских глубин около Южной Африки и Мадагаскара. Может быть, ближайшие десятилетия откроют еще и другие тайны, и тем самым будет показана несостоятельность многих взглядов на развитие организма, предложенных агностической наукой. Латимерия — такое имя дано древней рыбе — только один из законов, за которым должны последовать многие другие. Но некоторые ей уже предшествовали. К ним относится и разрешение загадки угря.

Только недавно, в первые два десятилетия двадцатого века, был пролит свет на странствия угрей. Уже в 90-х годах прошлого столетия итальянский естествоиспытатель Грасси идентифицировал личинку европейского угря и показал, что выделяемая ранее в отдельный род рыбка, называемая лептоцефал, на самом деле ни что иное как личинка развивающегося угря. В начале нашего столетия датский исследователь Иоганн Шмидт подхватил это указание и в результате долгих и кропотливых исследований выяснил, что центр существования как европейских, так и американских угрей находится в Атлантическом океане, Саргассовом море. Там их колыбель, там, видимо, и кладбище.

Но тем самым удалось прояснить ранее сомнительный биологический феномен: регулярными караванами, будучи мальками, угри путешествуют из Саргассова моря через всю Атлантику, пока не достигнут побережья Европы. Это длится от 2-х до 3-х лет. Потом они поднимаются в реки, вырастают, крепнут и через 3—4 проведенных там года вновь возвращаются к берегам Вест-Индии.

*В Саргассово море!
Где всего темней,*

*Всего темней и глубже.
Там цель, начало и конец,
Любовь и смерть!*

Так говорят угри у поэта Альберта Верви. И действительно, там их ожидают «начало и конец». Но почему же, проделав столь долгий путь через открытый океан, они миллиардами поднимаются в реки? Все, что раньше говорилось об этом, — слишком человеческое, слишком антропоморфное. Например, что в реках угри якобы находят лучшие условия для жизни, или что они стремятся туда, где были их «предки», или еще какая-нибудь абстрактная бессмыслица. Условия существования в реках много труднее и опаснее, чем в открытом море; и вообще, что для животного значит слово «опасный»? Какое значение имеет для животного такая мысль, как «лучшие или худшие жизненные условия»? Что это значит: говорить об инстинкте животного?

Животное включено в мир феноменов, частью которого оно само является, но оно не пользуется им в той или иной степени, а выполняет внутри него определенные существом мира акты. Животное — это нечто законченное и никогда не развивающееся и становящееся — таким существом является только человек. Оно всегда вчленено в определенное окружение, в котором тысячелетиями выполняется акт, предписанный семейству или роду.

Животное играет роль, порученную ему на определенное время на арене бытия. Зрители — сами боги, создавшие этот мир-театр. Человек тоже играет на этой сцене; и за ним следят и ему внимают боги, иногда и сами вступающие в игру. Но он ведь видит себя и сам, и знает, что играет, что он в одно и то же время актер и зритель. Животное же только актер.

Так вот и теперь на сцене мирового театра оказалась латимерия; так двигались в просцениуме караваны угрей, и теперь они увидены особенно отчетливо. Само по себе это — феномен внутри огромного мира. Там, где встречаются и действуют вместе земные и небесные силы, там много тысячелетий назад они включили в

жизнь земли странствия угрей. С тех пор они существуют, указывая на то время, когда это произошло. Туда и нужно направить свой взор, чтобы найти понимание, а не объяснение, — для этой мало с чем сравнимой пьесы, разыгрывающейся с того мгновения в жизни земли.

Но есть много странствующих рыб, например, многи и осетры, лососи и сельди, — и сказанное об угрях относится к ним ко всем. Только у лососей образ жизни и направление странствий почти противоположны. Лососи также поднимаются по рекам и затем возвращаются в море но их колыбель — это истоки рек и ручьев. Там мечется икра и там же развиваются молодые лососи: только окрепнув, они плывут в открытое море, чтобы потом снова вернуться в места своего детства и самим произвести потомство.

Итак, для продолжения рода угри уплывают в море, лососи же, наоборот, поднимаются вверх в реки. Угри движутся из моря в реку и обратно в море, лососи же, наоборот, из реки в море и опять в реку. Так возникают противоположности, рассматривая которые, мы, может быть, придем к пониманию того, что раньше оставалось во мраке.

II

Наука обозначает эту полярность двумя именами: лососей и всех тех рыб, которые для продолжения рода поднимаются из моря в реку, она называет анадромными, а угрей, рождающихся в море — катадромными. Но это обозначение мало что дало бы, если бы одновременно не было найдено живого воззрения на данный феномен. Сегодня известно уже достаточно отдельных фактов, чтобы получить более-менее полный образ совершающихся странствий. Если бы мы провели год около устья одной из рек, впадающих в Северное или Балтийское море, и были бы в состоянии видеть всех входящих и выходящих рыб, то мы могли бы наблюдать огромное количество разных явлений. Но еще нужно,

чтобы наблюдения проводились где-нибудь около середины прошлого столетия, когда реки не перегораживались плотинами, а фабрики не уничтожали в них жизнь своими отходами.

Осенью — начиная с октября и дальше в течение всей зимы — лососи заходят из моря в реки. Это большие, зрелые самцы и самки, поднимающиеся вверх к истокам. Весной эти зимние лососи сменяются весенними: маленькими и слабыми рыбами, почти одними самцами. До самого лета они плывут в реки, а потом все успокаивается. В конце лета и ранней осенью очень редко возле устья можно увидеть лосося. Но тут существуют разные ритмы, свои почти для каждой реки. Так, раньше, когда реки еще не были загрязнены и застроены, лососи св. Иакова поднимались по Рейну, а лососи св. Варфоломея — по Эльбе, в начале лета, позже за ними следовали взрослые самки, а осенью основная армия больших толстых лососей.

А в начале мая, между 4 и 18 числами, через устье Рейна в другом направлении проплывают маленькие лососи, от года до полутора, впервые выходящие в море. Свое детство они провели высоко в горах и теперь выходят в огромный мир. Они носят еще свое детское платье с темными поперечными полосами, которое лишь постепенно сменится совсем серебристой чешуей. А старые лососи погибают от истощения на нерестилищах.

Лососи, поднимаются ли они вверх или спускаются к морю, всегда движутся в одиночестве. Иногда они могут собраться в маленькую стайку, но это только как случай. У угрей же все иначе. Они появляются в конце зимы и весной, приплыв из Атлантики к западному побережью Европы сначала в Ирландии и Англии, а в Дании, Германии и Прибалтике соответственно позже; и эти маленькие прозрачные, стеклянные угри в 6—8 см. длиной, десятками тысяч образуют караваны, поднимающиеся в реки. Брем цитирует одного наблюдателя, описывающего это событие так: «Когда однажды утром в конце июня или в начале июля мы шли по плотине через Эльбу близ деревни Дреенхаузен, то увидели, что вдоль всего берега движется темная полоса.

Она оказалась составленной из бесчисленных молодых угрей, двигавшихся потоком по поверхности воды и при этом державшихся так близко к берегу, что им приходилось повторять в своем движении все выступы и изгибы.. Эта чудесная процессия двигалась без перерыва, не иссякая, весь день и продолжалась еще и на следующий».

Поднявшись, угри остаются несколько лет в ручьях и реках а затем превратившись в черных угрей, возвращаются в море большими, круглыми и темно окрашенными. Как правило, в океане они появляются осенью, опять-таки не по одиночке, а большими или меньшими косяками.

Таким образом, устья рек почти весь год являются воротами для миллиардов этих рыб, осуществляющих живое общение между соленой водой океана и пресной ручьев и рек. С огромным напором и угри, и лососи стремятся вверх. Брем снова цитирует: «В конце июля я очутился в Баллиханноне в Ирландии около устья реки, в которой весь предыдущий месяц держалась высокая вода. Под одним из водопадов вода была темной от миллионов маленьких угрей, которые все время пытались влезть на мокрые скалы и при этом тысячами погибали, но их влажные, скользкие тела служили другим указателями, куда продолжать путь. Я видел, как они забирались даже на вертикальные скалы; они двигались по сырому мху или по телам других, погибших ранее». Почти так же, только не в таких количествах, стремятся вверх лососи. Они вынуждены приближаться к цели шаг за шагом, преодолевать серьезные препятствия — скалы и водопады, — пробираясь вверх от порога к порогу. Угри и лососи заполняют весь бассейн какой-нибудь реки, почти все притоки и ручьи. При этом угри с виду больше любят равнину, а лососи высоту. Река, как индивидуальное-биологическое единство, полна этими рыбами и поддерживает через них тесную связь с морем.

Жизнь угрей и лососей отличается друг от друга не только тем, что одни анадромны, а другие катадромны, — эта полярность выражается во многих отдельных чертах.

Угри приходят из Саргассова моря. Там, далеко на юге, на широте Флориды, где Гольфстрим поворачивает с востока на север и несет свои воды вдоль побережья Северной Америки, находятся их нерестилища. Это огромная область, почти полностью окруженная одним из рукавов Гольфстрима. Море там особенно глубоко, и из этой глубины поднимаются на поверхность маленькие угри. Американский вид — западнее, европейские — восточнее. Из океанских глубин появляются миллиарды этих маленьких, 2—3 см. длиной, прозрачных, листообразных рыбок. По виду это настоящие рыбы, которые, приближаясь к побережьям, вырастают. Путешествие в Европу, одновременно означающее превращение в стеклянного угря, длится от 2.5 до 3.5 лет. Предполагают, что оплодотворение происходит летом на глубине 2000—3000 метров, затем личинки медленно поднимаются вверх, подрастают и по дороге на восток превращаются в круглых червеобразных стеклянных угрей. Путь на запад короче, поэтому американские стеклянные угри меньше европейских.

Как только угри попадают в реки, меняются их телесные функции. С кожи сходит желто-коричневый пигмент, и одновременно начинается усиленный обмен веществ. Личинки угря не питались, только в реке они начинают есть. Рост совершается быстро, они сильно прибавляют в весе и остаются в пресной воде от 3-х до 8-ми лет. Днем они скрываются в иле на дне ручьев и рек, и только с наступлением темноты для них начинается время охоты. Угри активны только ночью, дневного света они боятся. Луи Руд, один из опытнейших ихтиологов, пишет по этому поводу: «Угорь должен быть отнесен к ночным животным, которые становятся активными лишь с наступлением темноты. Он сохраняет впечатления, полученные им в детстве в глубинах океана, там, где он появился на свет. Если на угрей, содержащихся в аквариуме, неожиданно направить луч света, они тут же впадают в панику, бросаются во все стороны, чтобы в конце концов сбиться в самом темном углу. Чтобы уйти от ненавистного света, они сжимаются в клубок так тесно друг к другу, как только могут. Этот постоян-

ный непроходящий страх перед светом является существенным фактором в жизни угрей и открывает нам, что они действительно создания из глубины».

Но свет — это не единственное, чего они боятся. Они избегают также холода; зимой они не активны и, зарывшись в ил, переживают некий род зимнего сна. Среди пресноводных рыб они первые, кто прячется осенью, и последние, появляющиеся весной. Стихия их жизни — темное тепло. А светлый холод — это то царство, которого они избегают.

У лососей все иначе. Когда осенью они поднимаются из моря в реки, все их тело начинает блестеть. Герлах описывает это таким образом: «Поднимаясь на нерест, лососи меняют окраску. На жаберных крышках и на боках самцов загораются красные пятна, они рассыпаны и на отливающей голубизной голове. Живот становится пурпурным, плавники — красно-розовыми». В этом волшебном наряде они поднимаются вверх к истокам рек и речьев. Они ищут света и холода высот. В Рождество или сразу после, в ледяной, пронизанной светом воде происходит спаривание. Самки мечут огромное число икринок в заранее подготовленные для этого углубления, и самцы оплодотворяют их. Эти брачные игры длятся одну-две недели, потом совершенно истощенные рыбы возвращаются назад в море, откуда они пришли.

Идя на нерест, они ничего не едят. В это время пищеварительный канал как бы дегенерирует и не удерживает пищу. Зато сильно развиваются органы размножения. На икру в конце странствия приходится почти четверть общего веса тела, на яички — около восьмой части. Развивающиеся у оплодотворенных икринок мальки остаются год-полтора в ручьях. Только после этого, превратившись в молодых лососей, они спускаются назад в море. Здесь начинается охота, и такая жизнь продолжается от 2-х до 4-х лет. Где в это время охотятся лососи — сегодня неизвестно. И хотя есть множество теорий, но правда пока скрыта. С уверенностью можно сказать лишь, что лососи проникают куда-то в глубину, но близко от берега или, напротив, за сотни миль — неизвестно.

Наоборот, когда угри, став большими и жирными, возвращаются обратно в море, то они перестают охотиться. У них одна цель — вперед, в Саргассово море! Но тут у них, как любящих тьму, начинают расти глаза. Они становятся в 8—9 раз больше, а темное тело начинает слегка отсвечивать серебром. Может быть, они переносят в глубины, откуда они появились свет — не прямой, но отраженный солнечный свет, — преломляющийся в воде и указывающий им теперь путь.

Так лососи и угри действительно оказываются противоположными. Одни любят свет и холод, другие боятся этого; зато одни, в свою очередь, любят темное тепло, которое совсем не касается других. Но оба связывают море и реки, соленую и пресную воду и, странствуя, появляются то тут, то там, живя в водном круговороте земли. И, подобно птицам, чувствуют смысл своего существования в странствиях.

III

Противоположность угря и лосося тесно связана с противоположностью сред обитания: морской воды и воды рек и ручьев. Одна — соленая, другая — пресная. Насколько же различными должны быть семейства, мечущие икру и развивающиеся первое время на вершинах гор и холмов, в царстве ключей и ручейков, и те, которые начинают жизнь в темных глубинах океана! Оплодотворение икринок происходит предположительно на глубине 2—3 тыс. метров. Если принять, что нерест лосося происходит в среднем на высоте 1000—2000 м., то получится довольно большая разница. Причем у лосося время нереста — это глубокая зима, у угря — наоборот, лето. Прибавьте к этому, что лосось стремится к северным высокогорьям, тогда как Саргассово море, находящееся на широте Флориды, принадлежит к субтропическому климатическому поясу.

Таким образом, икринки угря развиваются в темноте в соленой воде, икринки лосося — в пронизанной светом пресной. Тут в развитии рыб определяющую роль играют

глубокие качественные различия. Ведь соленая вода содержит не только большее, по сравнению с пресной, количество солей, но и состав присутствующих в ней химических элементов и веществ накладывает совершенно особый отпечаток на образующуюся в ее глубинах органическую жизнь. Полной противоположностью ей является пресная вода рек и ручьев: она светлее, легче, быстрее; ей совершенно не свойственен тот «интимный», «вынашивающий» характер, который так присущ морской воде.

Рудольф Штейнер совершенно определенно указал на эту противоположность в одной из своих лекций для рабочих Гетеанума в 1924 г. Тогда, 9 февраля 1924 г., он сказал: «Видите ли, если исследуешь собственно соленую воду, морскую воду, содержащую очень большое количество солей, то приходишь к заключению, что эта соленая вода находится в очень слабом отношении к мировому пространству... Пресноводные источники открыты для вселенной, они, подобно нашим глазам, распахнуты вовне. Так что мы могли бы сказать: в тех местах, где появляются ключи, Земля смотрит в дали пространства, там органы чувств Земли; тогда как плоть Земли, собственно внутреннее, — это, скорее, соленое море... Все, благодаря чему Земля связана со вселенной, все это приходит от пресной воды; все, что образует внутренность Земли, приходит от соленой воды».

Но тем самым тотчас открывается непосредственное понимание представленных феноменов. Поскольку сразу видно, что лососи мечут икру у истоков рек и ручьев, в «глазах Земли», и поэтому с самого начала они интимнейшим образом связаны с космическим светом. Отсюда игра расцветки, мясо «лососевого» цвета, мощная сила подъема на нерест. Это живет и действует погруженный в них свет. Лососи — это рыбы, сотканые из света; опускаясь с гор в море, они ведут этот свет с собой и вносят его в глубины и просторы мирового океана.

А угри, выйдя из глубины соленого моря, на всю жизнь остаются связанными с тьмой. Это ночные животные, избегающие света и стремящиеся к темноте. Бесцветные,

то есть бесцветные, они поднимаются личинками на поверхность океана, стремятся к побережью и теряют присущую рыбам форму, чтобы стать внешне подобными червю. А как только они коснутся пресной воды, их шкура окрашивается в желтый цвет, чтобы можно было задержать находящийся в воде свет. Затем угорь вырастает, становясь зеленой или темножелтой водяной змеей, годами живущей в реке. И как лосось послан в море, чтобы нести свой свет в глубины, так и угорь — в реки чтобы принести им необходимую долю тьмы. А когда, в конце своей «речной» жизни, угорь возвращается в море, стремясь на родину, его глаза начинают расти, а тело начинает отливать темным серебром. Ведь теперь он нуждается в том отблеске света, которого раньше так избегал. Он нуждается в нем, чтобы растущие органы воспроизведения получили силу для продолжения рода. То, что дается лососям полным света миром ручьев и ключей, угорь получает благодаря ненормальному росту глаз. Обоим для продолжения рода нужен свет.

В упомянутой лекции для рабочих Гетеанума Рудольф Штейнер заводит речь и о лососях и описывает, насколько необходимо для них подняться в горные реки, чтобы там наверху добыть себе небесные силы для органов размножения. Он говорит:

«Земля действует на мускулы, Земля действует на кости. Земля отдает нам свою соль, и мы приобретаем крепкие кости, сильные мускулы. Но с этой земной солью мы ничего бы не смогли сделать для наших органов чувств и органов воспроизведения; они от нее погибли бы. Они должны развиваться под влиянием внеземного, под влиянием небесных сил. И лосось показывает, насколько он различает соленую и пресную воду. В соленую воду он идет, чтобы потолстеть, чтобы получить земные силы». Тем самым дается уже полная картина рассматриваемых здесь феноменов. Мы ощущаем противоположность жизни в море и в реках и учимся видеть, что описанные странствия имеют глубокое основание. Они несут свет рек и ручьев в тьму морей, а темноту океана — в ясность рек. Угри и лососи — это вечные посланники, как бы

носители некоего рода дыхания, дающего свету и тьме перетекать между морем и сушей. Всюду, где струится и переливается вода, где она кружит или успокаивается в движении, в игре света и тьмы живет мир рыб. Всюду, начиная от безобразных мрачных форм глубоководных рыб и кончая светлой чеканкой сельди и шпорт, форелей и голяна, похожего на световую стрелу, взаимодействует светлое и темное.

Но лососи и угри захвачены этим светом и тьмой, они приняли их в себя и стали их посланцами.

Если же выработанное сейчас представление охвачено и увидено во всей своей реальности, тогда открывается возможность приблизиться к решению одной из сложнейших проблем, возникающих при исследовании этих рыб. Прежде было совершенно непонятно, как это лосось, например, поднимаясь по реке, всегда оказывается недалеко от того места, где он родился. Он снова возвращается туда, где он когда-то вырос. Сперва пытались разделаться с этим, ссылаясь на передачу места по наследству. Новейшие эксперименты ясно показывают, что лососи возвращаются не туда, где жили их предки, а туда, где они сами провели свое детство.

Герлах рассказывает о предпринятых в Америке попытках разведения лососей, однозначно доказывающих это. Он пишет:

«Начиная с 1939 года, на реке Колумбия на северо-западе США проводилось переселение шиноокских лососей. Эти лососи поднимаются по Колубии на нечест. Когда пройдены 600 км., дорогу перекрывает плотина Гранд-Кули, она 180 м. высотой, и искусственное море за ней имеет слишком теплую воду, чтобы лососи могли там находиться. В 1939 году сотрудники «*Federal Fish and Wildlife Service*» под руководством доктора Иры Габриэльсон специальными сетями начали отлавливать лососей на пути вверх по реке в 120 км. ниже плотины и особыми вагонами доставлять их в «инкубатор» Ливенворта, где икра искусственно оплодотворялась. Когда молодые лососи настолько подрастали, что им необходима была река, их в цистернах доставляли к истокам

Венатхэ, Ойтиата, Оканогана и Метоу и там выпускали. Эти реки впадают в Колумбию ниже плотины Гранд-Кули. Там и оставались молодые лососи до тех пор, пока через год не выросли до 15-сантиметровой длины. Тогда они устремлялись в океан, и больше их не видели. В 1944 году они должны были снова появиться на нересте — через пять лет после рождения лососи обычно возвращались. Так и случилось. Когда они были маленькие, их пометили, подрезав плавники. Выпущенные в Венатхэ рыбы без колебания выбрали путь именно в эту реку, лососи из Ойтиата, Оканогана и Метоу также уверенно нашли места, где они выросли. А родину своих родителей выше Гранд-Кули они не искали. В следующие годы поступали так же, и эксперимент по переселению удался».

Тем самым очень точно указано на редкое свойство лососей после многих лет путешествий, составляющих тысячи миль, возвращаться точно на свою родину, в ручей своего детства. Отделаться от этой способности словом «инстинкт» было бы просто фразой. Наследование также не играет при этом никакой роли; можно предположить, что здесь действует другой принцип. «Искать» путь рыбы не могут; у них нет для этого ни подходящих чувств, ни возможности суждения. Единственное, что можно себе представить, — это что они путешествуют «вслепую», но «вслепую» в смысле возможностей, с помощью которых «слепо» летят птицы, как бы ведомые издали. Только придя к представлению, что каждый отдельный лосось остается связанным с особенным светом своего ручейка, что через все странствия его ведет нежная световая линия, невидимая для человеческого глаза, но воспринимаемая лососем, начинаешь приближаться к пониманию его загадочного поведения. Каждый лосось несет с собою в море нежное «световое пламя». И так же, как хлебные крошки в сказке вели детей, чтобы они смогли снова найти путь домой, так же и маленькая «световая нить» ведет лосося в море, и по ней он через годы сможет снова нащупать дорогу на родину. *(Примечание издателя: сегодня известно, что родную реку лососи находят по запаху).*

Это происходит, по-моему, почти так, что миллионы лососей, каждый год спускающихся из рек в темноту морей, как будто несут с собой эти световые языки и нити, тем самым тихо освещая тьму, а возвращаясь снова, «смаывают» их и с их помощью раскрашивают свое свадебное платье. Это представление сильно выиграет, если вспомнить о разных глубоководных рыбах, которые снабжены во всевозможных местах абсурднейшими лампами и фонарями. Их фонарики видимы и для человеческого глаза, так как они мечут икру не в горных ручьях и не получают поэтому как бы в подарок к рождению эфирный свет, в виле светового эфира. Глубоководные рыбы должны сделать свои светильники из собственного тела, поэтому получается цветной свет — он силен, но не светит.

Похожую загадку предлагают и угри, которые в странствиях отыскивают реки, а, возвращаясь на нерест, не теряют Саргассово море. И здесь единственно приемлемое объяснение может дать лишь «слепое» плавание, как оно было описано выше. Они приходят из темноты, прозрачными мальками поднимаются на поверхность моря и направляются к берегам Америки и Европы. При этом в детском возрасте нет никакой разницы между мальками европейских и американских угрей, и те, и другие вырастают вместе, и тем не менее каждый малек «знает», чей он. Так одни двигаются на Запад, другие — на Восток.

Если говорить в этой связи об инстинкте, то проблема бы только затемнилась. Но можно себе представить, что и европейские, и американские реки посылают в морскую тьму нежный свет, и что качества света с Востока и с Запада различны. Почти единственное отличие маленьких американских угрей от европейских — это разное число позвонков: у первых — 107, у вторых — 114. Может быть, позвоночник действует, как чуткая антенна, и ведет одну группу на запад, а другую — на восток.

В таких вопросах ни в коем случае нельзя игнорировать окружающий мир с его невероятной дифференцированностью. Многообразие его сил действует на животное.

возникшее из них и для них. Малек угря — это орган чувств, и лишь когда он округляется в стеклянного угря, дополнительно появляется организм пищеварения и обмена веществ. «Световая антенна» направлена туда, откуда сияет воспринимаемый ей свет. Но как только световой след достигает реки, свечение увеличивается настолько, что шкура окрашивается, а животное превращается в «обжору». Только когда через несколько лет угорь снова возвращается из реки в море, его глаза начинают расти; ведь он возвращается на свою темную родину и снова превращается в орган чувств; теперь он прекращает есть и стремится во тьму, откуда он однажды появился. В постоянной игре света и тьмы проводят свою жизнь угри и лососи.

Теперь становится совершенно ясным то, что однажды сказал Р. Штейнер в докладе 28.10.1923 г. о природе рыб: «Рыба вся наполнена водой, но ощущает она себя не как воду. Она чувствует себя как нечто, что замыкает воду, как окружение воды, она чувствует себя как бы сверкающей оболочкой воды. А воду она ощущает, как чуждый себе элемент, который входит и выходит, но при этом приносит необходимый ей воздух. Но и воду, и воздух она ощущает как нечто чуждое. Как физическая рыба, она ощущает это чуждым себе, но рыба имеет также эфирное и астральное тело. И это является как раз особенностью рыбы; благодаря тому, что она чувствует себя оболочкой, и что вода остается связанной с остальным водным элементом, благодаря этому она ощущает эфир как то, в чем она, собственно, живет. Рыба — это особенное животное, совершенно эфирное животное. Для самой себя она — физическая оболочка воды; воду, которая в ней, она чувствует принадлежащей ко всей воде в мире. До некоторой степени влага для нее пронизывает все, и в этой влаге она воспринимает эфир. Рыбы, конечно, немые для земной жизни, но если бы они могли говорить, они сказали бы: „Я — оболочка, но такая, которая несет всюду распространяющийся водный элемент — носитель эфирного элемента. Я плаваю, собственно, в эфире“. — Итак, рыба ощущает свою жизнь, как жизнь Земли. Поэтому она внутренне соучаст-

вует во всем том, что совершается Землей в кругообороте года: в летнем выхождении и возвращении эфирных сил. Рыба ощущает эфир, как дыхание Земли.»

Но тем самым Р. Штейнер описывает невероятно чувствительный мир ощущений рыб, которые, как антенны, слышат игру эфирного мира Земли. Угри и лососи всей своей организацией живут в эфирном царстве; в воде они плавают, но их бытие — в эфирных потоках света и тьмы, тепла и холода, звучащего и химического, жизни и смерти. Поэтому лососи так же подчиняются кругообороту года, как солнечные часы — ритму дня. Осенью, когда «вдыхается» земной эфир, они поднимаются к своим ручьям, чтобы в середине зимы начать нерест. Весной, вместе с потоком «выдыхаемого» земного эфира, они спускаются к морю.

Так же угри осенью возвращаются в океан, чтобы в середине лета отнереститься и умереть в Саргассовом море.

Но оба отряда живут в игре света и тьмы, все вновь и вновь совершающейся между морем и реками, между пресной и соленой водой, между небесными силами и земными глубинами.

IV

С тех пор как Иоганн Шмидт сделал грандиозное открытие, что европейские и американские угри нерестятся в Саргассовом море, самые разные ученые ломали себе голову над тем, почему это происходит там и ни в каком-нибудь другом месте. Все больше и больше это связывается с теорией Вегенера о движении континентов, и сегодня существует группа ученых, которые считают, что угри были когда-то пресноводными рыбами, но, из-за постепенного расхождения материков, «упали», так сказать, в море; как если бы они сидели между двумя стульями, которые под ними раздвинулись.

Мьюр Эванс, например, описывает, как африкано-европейский блок отделился от американского, и затем прибавляет: «Если это верно, то легко можно себе

представить, как мальки европейских угрей поднимались в восточные реки, находившиеся тогда совсем близко, и как потом, когда континенты разделились, путешествия к пресной воде становились все длиннее, пока наконец не выросли до 3000 миль. Конечно, трудно мыслить в геологических масштабах, но эта теория — единственная, дающая разумное объяснение странствиям европейских угрей».

Огейн Крауз в работе «Проблема угря» также много занимался этим вопросом и попытался развить духовно-научные представления об этом. Он первым смог указать на то, что путешествия угрей, по-видимому, связаны с Гольфстримом, и он полагал, что указание Р. Штейнера о том, что некогда Гольфстрим омывал атлантический континент, могло бы разрешить одну из существенных загадок в жизни угря.

Но если взять это указание Р. Штейнера в точном смысле, то бывший атлантический континент никогда не касался района теперешнего Саргассова моря. Ибо там сказано: «Оно движется с юга, через Баффинов пролив, приближаясь к северной Гренландии, и омывает ее, затем течет на Восток, постепенно охлаждается, затем проходит через район Урала — это было задолго до того, как Сибирь и Россия поднялись на поверхность, — затем поворачивает, касается восточных Карпат, втекает в местность, где сегодня находится Сахара и, наконец, через Бискайский залив добирается до Атлантического океана. Это течение, которое некогда огибало атлантический континент, — Гольфстрим» («Миссия отдельных народных душ». 10 доклад).

Это движение вокруг побережья древней Атлантиды, центр которой находился где-то в районе современной Ирландии, происходит далеко от Саргассова моря. Да и расселение угрей лишь частично осуществляется параллельно этим береговым линиям. Крауз сам пишет: «Итак, европейский угорь встречается: на всем побережье Европы, от Скандинавии до Белого моря, в Балтийском, Средиземном морях, на побережье северной Африки, в Мраморном, Черном, Азовском морях и, наконец, — в Исландии (исключая восточное и северо-восточное побережья).

Американский угорь населяет восточное побережье Северной Америки до Лабрадора, юго-западную Гренландию, северное побережье Мексиканского залива, острова на востоке Карибского моря, Багамские, Большие и Малые Антильские острова, вплоть до устья Ориноко на северо-восточном побережье Южной Америки».

Тем самым очерчены районы, куда плывут угри. Но они совершенно не совпадают с границей Атлантиды. Вполне могло бы быть и так, что угри когда-то поднимались в реки Атлантиды и при постепенном погружении этого континента шаг за шагом завоевывали другие прибрежные области. Но Саргассово море должно было быть колыбелью угрей задолго до того, как существовала Атлантида. Ведь они — рыбы, и история их возникновения относится к глубокой древности Земли.

И до сих пор они сохранили это превращение из рыбы в змею, подобное метаморфозе у лягушки и других амфибий. Ведь те, родившись головастиками, и до сего дня обнаруживают свое происхождение. Превращение личинки угря в змееподобную форму — без сомнения указание на древнейшее превращение, сквозь которое прошли когда-то эти животные.

Кто знаком с развитием Земли по книге Р. Штейнера «Очерк тайноведения», едва ли усомнится в том, что превращение угрей совершалось в те времена, когда произошло грехопадение человеческого рода, в то самое время, когда Луна выделилась из Земли и благодаря этому стала возможной дальнейшая эволюция.

Происхождение угря, как и всех рыб, относится к эпохе Гипербореи: к той эпохе, когда Солнце и Земля составляли еще единое мировое тело, пронизанное светом и теплом. А когда из Земли родилось Солнце, рыба возникла, как животное существо. Р. Штейнер указывает на это, говоря:

«Когда Земля и Солнце были еще едины, человек уже существовал в очень духовном, утонченно-эфирном виде. Когда Земля и Солнце разделились, он оставил позади себя животных. Животные остановились на той ступени развития, которая соответствует состоянию, когда Солнце еще находилось внутри Земли. Из тех существ,

которые, как животные, развивались, пока Солнце еще было связано с Землей, в ходе эволюции возникли, естественно, совершенно другие формы, ибо с того времени пройдено долгое развитие. Но если мы возьмем характерную форму, существующую сегодня, которую мы могли бы сравнить с тем, что отстало при отделении Земли от Солнца, то мы должны будем взять рыбу. Это то, что, если так можно выразиться, несет в себе последний отзвук солнечных сил». (Р. Штейнер. «Мир, Земля и человек». 7 доклад).

Тем самым впервые брошен свет на историю возникновения рыб: весь этот огромный класс можно причислить к древнейшим росткам в мире земных организмов. Из этого давно минувшего периода неизменной дождала до наших дней уже упомянутая латимерия.

Большинство других рыб прошли некоторое «послеразвитие», и метаморфоза угря из рыбы в змею — одна из форм такого превращения. Но к этому в том же докладе, из которого взята предыдущая цитата, Р. Штейнер добавляет следующее:

«Когда вышло Солнце, Земля покатила в своем развитии назад; лишь когда выделилась Луна вместе со всем самым плохим, снова наступило некоторое улучшение, некоторый подъем. Таким образом, на какой-то период времени, до выделения Солнца, мы имеем в эволюции восходящее развитие; затем — нисходящее, когда все становилось хуже, уродливее; а затем, после выхода Луны, начался новый подъем. И от этой ступени развития осталась форма, которая, правда, дегенерировала и выглядит теперь не так, как раньше. Но она есть; это та форма, которую имел человек, прежде чем выделилась Луна, прежде чем человек получил „Я“. Та животная форма, которая, так сказать, напоминает человека в самом низшем состоянии змеевидного развития, когда мы глубже всего низвергались в страсти, когда астральное тело человека было доступно самым худшим внешним воздействиям; — та сущность, в которой закреплено состояние нашего развития на Земле, видима сегодня, хотя и в вырождении, в змее».

Эту змеевидную форму получил угорь, и еще ясно про-

слеживаются шаги, ведущие от рыбы к змее, минуя стеклянного угря, через желтого угря к черному. Весь отряд угрей — словно сохранившийся памятник того периода в истории Земли, когда получила развитие змеевидная форма, превратившаяся позднее в современных рептилий.

С тех же самых пор угри сохранили и яд. Их кровь и соки действуют парализующе и умертвляюще на другие организмы; это остаток того «животного состояния», о котором нам сообщает духовный исследователь.

Угри играют заметную роль в сказаниях и мифах народов, населяющих Мадагаскар, Австралию, Филиппины и острова Южного моря. В них живут души умерших; но угрей также называют и прародителями. Там находится область, где живет большое семейство угрей. Крауз пишет об этом:

«Существует 19 видов, 3 из которых населяют умеренные широты, остальные принадлежат к теплой зоне. В северных умеренных широтах обитает японский угорь, который удивительно похож на атлантические виды и поэтому явно выделяется из числа угрей, населяющих район Индии и Тихого океана».

Итак, там, где некогда Луна покинула Землю, и где находилась Лемурия, сегодня расположена еще одна, может быть, столь же важная, область обитания угрей. Еще неизвестно, в Индийском или Тихом океане находятся подобные Саргассовому морю места нереста лемурийских угрей. Но замечательно, что их можно найти там же, где некогда произошло превращение из рыбы в угря. Первым уверенно указал на это Крауз.

Лосось остался незатронутым этим миром грехопадения. Он живет в свете родников, там проходит его детство, и оттуда он — носитель света — плывет к морю. Это настоящая рыба, которая как бы указывает на Гиперборею, когда Солнце и Земля были еще вместе. Остаток того сияния, которое наполняло этот период, еще и сегодня живет в лососе. Область его обитания совершенно отлична от области обитания угря.

Брем пишет: «Родину лосося мы должны искать в реках Средней Европы, севернее 43 градуса с. ш., а в Новом

Свете — севернее 41 градуса с. ш. Его нет в реках, впадающих в Средиземное море. В Германии он заходит в основном в Рейн и его притоки, Одер и Вислу, попадаясь, однако, в Эльбе и в Везере. Чаще он встречается в реках Великобритании, России, Скандинавии, Исландии, Гренландии и Северной Америки, реже в Западной Франции и Северной Испании».

Но тогда получается пояс, почти полностью окружающий Арктику. Как бы охватившим Северный полюс союзом живут лососи Старого и Нового Света. Но тем самым они остались верны той области, в которой однажды возникли. Там, где сегодня плавают лососи, была когда-то Гиперборея: на севере, где на поверхность Земли непосредственно воздействует свет и холод.

Лосось — это рыба, которая осталась верной Солнцу. Когда оно покинуло Землю, он последовал за ним и сделал это так: из моря он поднялся в северные реки, вверх, к Солнцу, чтобы в высшей точке, у родников, — «глаз Земли», — быть ближе всего к своей матери. Там они исполняют свой родительский долг, и молодые лососи больше чем на год отданы царству света.

А угорь пошел путем Земли. Он нырнул в глубины Атлантического и Индийского океанов и, оставив свет, стал сыном тьмы. Так он должен был испытать превращение в змею и так он стал носителем земной тьмы. Он попал во власть Луны. Сегодня она по-прежнему управляет им. Его цвета — как и у прибывающей Луны — желтый и зеленый. Подобно невидимой молодой Луне, поднимается он, прозрачно-неразличимый, из глубин, набирается сил и плывет в реки. Но и там он, заклятый Луной, остается ночным животным.

Оба — и лосось, и угорь — рыбы. Но один из них остался рыбой и тем самым сохранил верность Солнцу. Другой пошел дальше, стал отпрыском Луны и принял судьбу змеи. Но они братья; они знают друг о друге и однажды, когда развитие Земли подойдет к концу, они снова вместе вернутся в божественное лоно.

В конце Нагорной Проповеди (Матф. VII — 9,10) стоит: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и

когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» В этих словах Евангелия живет свидетельство, показывающее родство рыбы и змеи, лосося и угря.

Р. Штейнер собрал все воедино, сказав:

«Символы рыбы и змеи извлечены из загадок нашего развития. Так же как нормальному человеку по сердцу смотреть на сияющее в чистом, целомудренном водном элементе тело рыбы, — и у него становится спокойно, мирно на душе, — так же неиспорченного человека охватывает ужас, когда он видит подползающую змею. Такие чувства — это не совсем беспочвенное воспоминание о фактах, пережитых нами однажды в процессе эволюции.»

Свидетели этого — угри и лососи. Живые свидетели уже прошедшего, но все же существующего мира, едва ли воспринимаемого чувствами, но все снова и снова открывающегося понимающему наблюдателю. Это мир, из которого возникает все живое, то царство, где веют и струятся силы света и тьмы, где родина организмов. Год за годом в Индийском океане и в Саргассовом море словно некий родник поднимает из глубины миллиарды личинок угрей, превращает свои творения из рыб в змей и снова требует их назад.

Противоположность этому — многотысячная сеть истоков всех северных рек Европы, Америки и Азии. Там, как на краю некоего гигантского круга, созревают под действием света икринки лосося, и мальки спешат от периферии к центру Ледовитого океана.

Здесь противостоят друг другу два круговорота: один из них начинается в центре, другой — на периферии, один несет свет, другой — тьму. А их движение и взаимодействие поддерживает круговорот воды, просвеченной и затемненной.

«И в природе нет ничего, рожденного или сотворенного, что не открывало бы свой внутренний облик также и внешне.» (Яков Бёме)

[Штутгарт, 1956 г.]

Публикация Е. П. Арманд



Маргарита САБАШНИКОВА (ВОЛОШИНА)

Из книги «ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ»

Перевод с немецкого М. Н. Жемчужниковой

ДЕТСТВО В СТАРОЙ РОССИИ

В Москве, там, где Большая и Малая Никитские улицы клинообразно сходятся перед входом в церковь Вознесения, стоял наш дом — массивное, двухэтажное кубическое здание светлорозового цвета, с садом и обширным двором, окруженным множеством служебных построек.

Я родилась в воскресенье, в полдень, как раз когда колокола нашей старой колокольни, вместе с колоколами всех сорока сороков московских церквей, звонили, извещая об окончании обедни. Был морозный солнечный день 1882 года.

В такие зимние дни снег на улицах и крышах Москвы искрился так, как будто он состоял из одних только звезд. На солнце сверкали золотые, серебряные и усеянные золотыми звездами синие купола церквей, их кресты

и пестрые керамические орнаменты. Блестели сине-зеленые глазурованные кирпичи древних башен, и большие золотые буквы на густосинем фоне вывесок, и золото калачей над дверями булочных, и солома, и свежий конский навоз на московских улицах. Морозный, пронизанный солнцем воздух дрожал от знаменитого московского колокольного звона: медленный, глубокий гул больших колоколов и на этом фоне разнообразные тона и ритмы меньших колоколов всех сорока сококов московских колоколен.

Колокольный звон считался в России большим искусством, и по праздникам, кроме пономарей, постоянно являлись любители и мастера колокольного звона из простого народа и благочестиво православных слоев купечества, усердно занимавшихся этим искусством. Санки легко скользили, снег скрипел под копытами, и крики «Эй-эй!» или «Право держи!» то и дело раздавались в морозной дымке. Над печными трубами на крышах неподвижно стояли облачка дыма, так что город казался усыпанным белыми азалиями. Нарастающий колокольный звон достигал такой силы, что от него в груди что-то вздрагивало. Весь город как бы омывался свыше потоком ликующих ангельских вестников, свет и звук сливались в этом ликовании.

Подобно тому, как под действием звуковых колебаний песок, рассыпанный на пластинке, складывается в фигуры, так и впечатления, с которыми человек постоянно встречается, формируют его существо — особенно же еще полностью пластичное существо ребенка.

Из двух больших окон верхней залы была видна наша церковь. Она замыкала вид, открывавшийся из наших окон на восток; большая, белая, в стройных греческих формах, увенчанная сферическим серебряным куполом, она как будто вдвигалась к нам из вечности. Мне она представлялась продолжением нашего дома в другой мир. Церковь эта была так изначально родственна душе, как будто она служила для земли залогом соучастия в небесном. Вид ее внушал ребенку чувство покоя и уверенности: здесь твоя родина. Колокольня, непосредственно примыкавшая к нашему двору и от старости

покривившаяся, принадлежала к древнейшим памятникам ярославского зодчества в Москве. Два куба — один побольше, другой поменьше, — на них восьмиугольная башенка; высокая восьмискатная кровля опиралась на арочки и витые колоколенки и прорезывалась отверстиями, защищенными навесами; весь вид ее навевал чувство сердечной теплоты и благочестия. Если колокольня представлялась органически вырастающей из земли и устремляющейся к небу, то сама церковь, в своих простых формах — сферический блистающий купол на белом кубе стен — победно соединяла то и другое: небо и землю.

Голуби и воробьи, сновавшие вокруг церковной паперти, весной купались в воде, скапливавшейся на железной кровле под нашими окнами (это была крыша подъезда), и отряхивались, греясь на солнышке.

Достаточно было пройти вдоль деревянного забора и мимо коричневого деревянного домика священника. чтобы очутиться в ином мире: хоры подхватывали и уносили душу, как будто это звучали голоса небожителей. С купола вниз смотрели гигантские очи шестикрылых красных серафимов и синих херувимов; крылатые животные — лев, орел, телец — держали священные книги. Светлые красочные чудеса с явлениями ангелов Благовещенья и Христова Воскресенья совершались на стенах, а в золоте иконостаса, в мерцании множества свечей, просвечивали лики святых, Богоматери и Христа. Этот мир входил в наш дом. По большим праздникам, в суматохе приема множества гостей, в зале появлялись священники и дьяконы в золотых и серебряных парчевых ризах, обратившись к иконе в углу, начинали петь удивительные слова. На Рождество пели:

*Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит,
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы же со звездою путешествуют.*

Всем присутствующим они давали приложиться ко кресту и кропили святой водой как нарядные туалеты дам, так

и шелковую мебель, и все вокруг.

Страстную неделю я в раннем детстве переживала так непосредственно в настоящем, что никак не могла понять — почему же мы все не едем в Вербное воскресенье в Иерусалим, где происходят чудеса? Я никак не могла понять, что все это произошло один единственный раз и очень давно. Пока мы с братом были еще малы, нас не брали в Страстной четверг на «12 Евангелий» — очень длинную всенощную службу, когда читаются по три главы из четырех Евангелий о Страстях Господних, и все стоят с зажженными свечами в руках. Из окна залы мы смотрели, как по окончании службы народ с горящими свечами выходил из церкви — текла река огоньков — и каждый старался защитить пламя от весеннего ветерка, чтобы донести свечку до дома и зажечь от нее свою лампадку на весь год. Вокруг свечки устраивали бумажные ограждения. Люди останавливались, чтобы дать зажечь свечку тем, у кого она потухла. Так же и нам кто-нибудь из домашних приносил горящую свечку в дом.

Таков был вид из наших окон на восток.

С южной стороны, за красивой решеткой сада, где росли китайские яблочки, рябина, сирень и большой вяз, лежала просторная, элегантная улица — Большая Никитская. Отсюда через широкие ворота подъезжали к парадному portalу нашего дома. Барские особняки очень различной архитектуры составляли эту красивую улицу. А прямо против нас располагалась пожарная часть со старинной каланчой. Часто я устраивалась на мягкой подстилке, устилавшей мраморные подоконники в нашей детской комнате, и смотрела на двух маленьких человечков: высоко-высоко в небе, на самой верхушке каланчи они ходили вокруг башенки друг другу навстречу — пожарные сторожа. Когда вечером где-либо в городе начинался пожар, — а горела Москва часто, так как большинство домов были деревянные, а в то время еще не было электричества, а часто и водопровода, — тогда в небе над каланчой появлялись разноцветные огненные шары. Это были сигналы для других пожарных частей. Три шара — то желтый, красный и синий, то два красных

и один зеленый и т. д. «Сбор всех частей» называлась одна из таких комбинаций, на нее наши девушки смотрели с ужасом. Мне же они казались знаменьями чудес, явлениями, предостережениями небес.

С нашего наблюдательного пункта было хорошо видно, что делается за желтой стенкой пожарного двора. Из сараев выкатывали пожарные дроги, запрягали горячих коней; из ворот первым выскакивал всадник с горящим факелом в руке — курьер — галопом мчался по направлению к пожару, чтобы поскорей узнать все на месте. За ним с невероятным грохотом неслись тяжелые повозки, мчались пожарные в золотых касках, стоя среди лестниц, насосов и бочек с водой. Грохот получался из-за крупных булыжников, которыми в те времена мостились московские улины. Зрелище было жутко красиво, и я понимала моего маленького брата, который непременно хотел стать пожарным.

Весной, рано утром, на Большой Никитской раздавались звуки рожка. С каждого двора выпускали одну — две коровы, и пастух гнал свое стадо из города на пастбище. По той же Большой Никитской проводили и наших красивых коней. Однажды — конечно, это было во сне — я видела ангела; в красивой одежде и развевающимся синем плаще он медленно летел по Большой Никитской улице. Я позвала других, чтобы они его тоже смотрели, но когда они пришли, ангел уже улетел.

С северной стороны наши окна выходили на Малую Никитскую — с низенькими белыми домиками. Прямо напротив стоял знаменитый дом графа Бобринского с двумя флигелями, расположенными полукругом. Ни травы, ни деревьев там не было — только громадная площадь двора, усыпанная желтым песком. Раз в месяц на этом дворе собирались нищие со всей Москвы. Лакей с большой сумой выходил из главного подъезда и бросал в толпу деньги. Люди падали на землю, хватая монеты, начиналась потасовка, драки, ругань. Калеки били друг друга костылями. Я с ужасом смотрела на сцены, которые позднее находила на картинах Брейгеля. Малая Никитская всегда представлялась мне безжалостно ослепительной, белой и печальной.

На запад в нашем доме не было окон. Серая глухая стена большого соседнего дома затемняла наш сад. Я знала, что в этом доме жил врач. У него была дочка моего возраста, и я слышала, что он «кутает ее в вату». Я понимала это буквально и очень жалела девочку. Я надеялась как-нибудь встретить ее на улице, но никогда ее не видела.

Главный подъезд нашего дома защищался крышей, у входа стоял высокий фонарь. Тяжелая резная дверь открывалась в обширный вестибюль. Широкие ступени вели в «египетский храм»; на колоннах с капителями в виде цветков лотоса и с черными цоколями были вырезаны барельефные изображения и иероглифы. В глубине виднелись две двери, над каждой — изображение крылатого солнца; правая дверь была, собственно, рамой огромного зеркала, призрачно удвоившего размеры помещения и число колонн; за левой дверью начинался длинный коридор, велший внутрь дома. Черная египетская скульптура на высоком постаменте стояла между дверями — Строгий Страж Порога.

Позднее в этом же вестибюле появилось чучело большого волка, убитого в наших лесах.

В нижнем этаже находились парадные комнаты-гостиные, в которых мы, дети, редко бывали. Столовая была выдержана в так называемом «русском стиле». Хорошо сочетались краски: сине-зеленые стены, пестро раскрашенные резные стулья и угловые шкафчики, вышитые занавески и накидки, пестрая посуда, расписанная русскими пословицами. Особенно при свете свечей в серебряных старорусских светильниках нежные пестрые краски мерцали сказочно. Но весь этот «русский» стиль родился из чистой фантазии немецкого архитектора Шмидта и не имел ничего общего с настоящим древнерусским стилем, который наши искусствоведы заново открыли лишь много позднее, в пору моей юности.

Из египетского храма направо дверь вела в деловой кабинет, обитый темными панелями и выдержанный, как полагается, в темно-зеленых тонах. У тяжелого дубового письменного стола, на мольберте стоял в широкой золотой раме овальный портрет моей матери. Бело-

курые, слегка волнистые волосы, очень большие серые глаза на узком милом личике смотрят печально. В этом лице еще никак нельзя было угадать энергичную общественную деятельницу позднего времени.

На нижней открытой полке резного дубового шкафа лежало нечто, очень для меня таинственное: большой кожаный мешок с песком. Это был не простой песок: в нем таилось золото. Это был золотой песок из сибирских золотых приисков моего отца.

Широкая светлая лестница вела на второй этаж, где находились наши жилые комнаты. Спальня родителей всегда настраивала меня на торжественный лад. Балдахин оливково-зеленого шелка на розовой подкладке увенчивал двухспальную кровать. Но с особым благоговением смотрела я на золотую фигурку, помещавшуюся между ножками швейного столика черного дерева с перламутровыми инкрустациями: сосуд, в нем пламя. Так я представляла себе душу в человеческой груди.

В нашей детской комнате висели занавески на толстой подкладке. Закутываясь в нижнюю их часть, собранную тяжелыми складками, я среди бела дня попадала в темную ночь. Однажды в этой темноте мои пальцы нащупали что-то чужое, бесформенное. Это был, верно, кусок войлока, или ваты, высунувшийся из порванной подкладки. Но мне он казался каким-то противным существом, проникшим из своего страшного мира в наш. И все же я снова возвращалась в этот темный шатер, чтобы встретиться с жутким и безымянным пришельцем.

Я думаю, что все эти впечатления от предметов — резные флорентийские лари и стулья с их животно-растительными и человечески-животными формами, которые ребенок ощупывал, узоры ковров, которые его глаз постоянно прослеживал, глубже формировали душу, чем любые обращенные к нему слова. Позднее, пускаясь с моими куклами в долгое путешествие, я открывала за бахромой дивана таинственные полуосвещенные гроты, ковры и звериные шкуры — удивительными ландшафтами, а паркетные полы, в которых, как в воде, отражались все предметы, — морями.

Никакие паркетные полы теперь не могут блеснуть так,

как они блестели тогда, потому что ремесло полотеров исчезло. Раз в неделю появлялись в нашем доме 5—6 человек, босые, в широких черных бархатных штанах и красных рубахах, доходящих до колен и слегка придерживаемых на бедрах поясом. Перед ними все отступало: ковры свертывались, мебель отодвигалась. Уроки прерывались, когда появлялась эта компания. Каждый привязывал себе на правую ногу сандалию с прикрепленной к ее подошве навощенной щеткой. И затем, выстроившись в ряд, они двигались через всю комнату, скрестив руки за спиной, правой ногой описывая перед собой полукруг справа налево, слева направо, а левой проталкиваясь вперед. Волосы свисали на лицо и мотались в такт движениям. Время от времени то тот, то другой останавливался и усердно тер ногой вперед и назад. Все это происходило со стихийной силой и в бешеном темпе. Так они протанцовывали залу за залой, комнату за комнатой. И когда они уходили, оставляя за собой запах пота, смешанный с ароматом воска и скипидара, наши полы блестели как зеркало. Цех полотеров исчез сам собой, когда дома были социализированы и паркетные полы по воле народа стали неузнаваемы.

НАШИ ЛЮДИ

Я была первым ребенком в семье; через год родился брат. Две племянницы моего отца — сироты — воспитывались вместе с нами, но тогда мы мало с ними общались, так как разница лет была слишком велика. Своих родителей в те времена я вспоминаю неясно, как бы в некоем величественном отдалении. Заботились же собственно о нас слуги. Они были нам ближе. Когда я родилась, прошло всего 20 лет после отмены крепостного права, и в состоятельных семьях сохранялись еще традиции многочисленной «дворни». Нашу небольшую семью обслуживали: четыре горничные, камердинер, «белая кухарка», готовившая на господ, «черная кухарка», готовившая для слуг, «кухонный мужик», судомойка, кухар, конюх, две прачки, два дворника, дворовые работ-

ники, истопник. Две девушки, поступившие еще до моего пождения, прожили у нас сорок лет. Мы видели от них столько любви и преданности, столько терпения, что если бы я не верила в перевоплощение на земле, мне была бы невыносима мысль, что я никогда и ничем не смогу их отблагодарить. Заботы о нас были для них чем-то само собой разумеющимся, равно как и для нас было чем-то само собой разумеющимся пользоваться их трудом, их услугами. Когда мой брат, которого они обожали, вел себя с ними по-мальчишески грубо, они называли его ласково «наш строгий папаша».

В двух солнечных детских комнатах и прилегающей к ним зале с видом на церковь вся наша жизнь проходила вместе с ними. Они шили и пели, порознь или хором, заунывные печальные народные песни, и слова этих песен слагали в моей душе целый мир первообразов, из которых я в течение всей моей жизни черпала настрой своей художественной работы.

Моя кормилица Феклуша, крестьянка из Тульской губернии, жила у нас три с половиной года. Я хорошо помню ее красивое лицо. Низкий лоб, обрамленный темными пышными волосами, гладко причесанными на прямой пробор. Миндалевидные сероголубые глаза, затененные черными ресницами, казались очень светлыми на загорелом лице. Узкий прямой нос, чистый правильный овал лица. Ее здоровое крепкое тело, казалось, излучало силы жизни. В выражении лица — смирение и доброта. Кто знает, что пришлось ей пережить прежде, чем она стала моей кормилицей. Мне было, вероятно, два с половиной года, когда я видела ее однажды в поле — как она жала рожь. Я до сих пор помню ее движения: как она наклонялась и срезала рожь серпом у земли, как, держа срезанный пучок левой рукой, а правой подерживая серпом колосья, описывала высокую дугу, кладя его на землю к прежде срезанным колосьям; потом связывала стебли и несла сноп над головой, опять подерживая серпом шелестящие колосья; и она улыбалась мне из золотой ржи, как с небес, потому что я видела ее лицо высоко-высоко над собой в небе.

В том же году однажды на станции железной дороги мы

видели вагон с окнами, закрытыми решеткой, за ними — бледные лица. Это перевозили арестантов, «Кто это?» — спросила я в испуге. — «Несчастные», — ответила Феклуша.

Есть русская пословица: «Питай, как земля питает, учи, как земля учит, люби, как земля любит». Когда я позднее слышала: «Мать-Земля», я видела перед собой лицо, похожее на лицо моей кормилицы Феклуши.

И еще одно милое лицо склоняется надо мной в самом раннем детстве — Маша; совсем молоденькой девушкой она была обучена моей бабушкой шить, стряпать, варить варенье и делать прически. чтобы затем последовать за моей матерью в виде некоего приданого при ее замужестве. Она была всегда с нами, спала с нами, шила все для нас. А когда мы болели, она особенно нежно за нами ухаживала. Я до сих пор вижу ее круглое лицо, широко расставленные глаза с белесыми бровями и всегда как будто слегка удивленные, маленький нос и полные, крупные, добрые губы; вижу, как она у моей кровати согревает в ложечке глицерин на свечке, горящей на стене в серебряном подсвечнике, и смазывает мне и брату ноздри, лоб и за ушами, потому что у нас насморк. Как охотно подчинялись мы этой торжественной процедуре! У нее была легкая рука, как говорят в народе, — она все делала хорошо. Она рассказывала нам всякие истории, чтобы при примерке платья мы стояли смирно. Ее чувствительная душа легко приходила в волнение. Когда она слышала какую-нибудь печальную или трогательную историю, у нее как будто озноб пробежал по спине. С нами она была бесконечно нежна. У нее было очень много родственников — сестер, племянниц и племянников, — и они часто ее навещали; боюсь, что она оказывалась слаба перед этими родственниками, которые ее эксплуатировали. В ее распоряжении были все сундуки в кладовой с тканями, мехами, серебром, фарфором и проч. Моя мать обо всех этих вещах нисколько не заботилась. «Куда девались ковры бабушки Татьяны? Где голубой чайный сервиз? Где рулон розового китайского шелка?» — восклицала через сорок лет наша другая девушка. Когда Маша умерла, я видела

сон, как будто она плакала, о чем-то прося прощения. Ах! Разве сорок лет прилежнейшего самоотверженного труда не стоят какого-то сервиза, о котором никто и не вспомнил и не думал? И разве кусок шелка не стоит множества платьев, сшитых ею для моей матери — а моя мать была элегантная дама и занимала видное положение в обществе. Маша сорок лет вела домашнее хозяйство, так моя мать очень мало этим интересовалась. Летом, когда мы уезжали из Москвы, Маша оставалась одна и заготавливала не только для нас, но и для всей нашей родни сотни банок варенья — и какого варенья! А ее ромбиками нарезанные и посыпанные сахарной пудрой смоквы! И ее «тянучки»! Все эти домашние сладости поедались тогда в России в огромном количестве. И за весь этот труд у нее не было ни свободных дней, ни отдыха, и получала она девять рублей в месяц. Все принималось даже без благодарности, как нечто само собой разумеющееся. Она жила с нами до самой революции, голодала, как мы, но продолжала работать до тех пор, пока уже не в силах была стоять на ногах; тогда ее взяли к себе родственники, которым в то время жилось лучше, чем нам. Я не люблю, когда славянофилы называют русский народ «народ-Богоносец»: это звучит высокопарно. Но вспоминая о наших слугах, я не могу не признать, что любовь, преданность, терпение, жившие у них в крови и излучаемые ими наподобие некоей живой силы, оправдывают это название. Это была живая Христова сила. И как мы были окутаны этим теплом, в нем укрыты как в лоне Божьем!

О горничной Поле я позднее расскажу больше. Она поступила к нам еще до моего рождения и жила у нас сорок лет до самой своей смерти во время революции. Когда она появилась у нас, ей было 17 лет, цветущая, стройная, с правильными чертами лица, с черными пышными волосами, которые она заплетала в тугие косы, укладывая на затылке. У нее были темные умные глаза, строгий, красиво очерченный рот и волевой подбородок, шея круглая, как колонна. В то время она не умела ни читать, ни писать, да и позднее у нее никогда не хватало времени выучиться грамоте по-настоящему; хорошая па-

мять возмещала этот недостаток. Она была фанатически усердна в исполнении своих обязанностей и всеми силами старалась удержать уклад нашего дома на прежнем уровне, когда никто уже этого от нее не требовал и не ждал. Она была одарена таким организаторским талантом и энергией, что, наверное, могла бы стать министром или военачальником. Страстный темперамент соединялся у нее с чувством справедливости. Она могла сражаться за правду. Судьба отвела ей в этой жизни положение прислуги, в котором она не была по-настоящему оценена даже моей матерью, которая сама была властной натурой. Родные Поля были очень бедны, и она всю жизнь ради них постоянно себе в чем-нибудь отказывала.

В числе наших друзей состоял также кучер Терентий. Он оставался в доме, пока у нас были лошади. Это был краснощекий красавец с черными густыми бровями и широкой красивой бородой. Синяя бархатная боярская шапка с бобровой опушкой, которую он носил зимой, шла ему великолепно. Закутанный в длинный кафтан (вероятно, даже не один, так как он казался очень толстым), он сидел на козлах неподвижно, как изваяние. Два конюха помогали ему одеваться: они держали его пестрый узкий шелковый кушак, а он поворачивался перед ними кругом, чтобы кушак, уложенный слоями, сидел на нем правильно. При выезде два конюха держали великолепную запряжку храпящих коней под уздцы, пока господа садились в экипаж или в сани, и тогда отпускали. И что это были за кони, наши рысаки! Мифические животные из конюшни графа Воронцова, удивлявшие ростом, красотой и дикостью. Кучеру надо было обладать большой силой рук, вытянутых вперед в белых перчатках. На московских улицах нередко были несчастные случаи, когда проносилась подобная запряжка. Каждый наш выезд сопровождался чувством некоторой напряженности. У нас было восемь таких коней, и мы часто заходили в конюшню, где я не без священного трепета рассматривала сквозь деревянную решетку их огненные глаза и слушала перестук подков по доскам. Позднее Терентий каждый день отвозил нас в школу,

а еще позднее — в театр или на бал. В морозную ночь, нередко часами, он ждал нас на улице. Впоследствии он совсем спился.

В раннем детстве мы были «объектами» ухода и, как мне теперь кажется, очень удобными «объектами». Мы всему подчинились без сопротивления. Во всем, что касается внешних процедур, я чувствовала себя чем-то вроде маленького божка, над которым совершаются всевозможные торжественные церемонии. Все происходило медленно, вдумчиво — кормили ли нас, одевали или вели гулять. Уже процедура одевания на прогулку зимой -- а нас водили гулять два раза в день — длилась очень долго. Прежде всего надевали теплые фланелевые панталоны, за ними следовали теплые меховые сапожки, доходившие до колен и застегнутые целым рядом пуговиц. На плечи надевался шелковый платок, а ча него — ватное пальто, у меня еще и с пелеринкой, такое толстое, что рукава так и оставались растопыренными. На руки надевались варежки. Меховая шапочка покрывалась еще башлыком — вроде капюшона из тонкой белой или палевой шерсти, как носят на Кавказе черкесы. Капюшон обшивался серебряным или золотым галуном, а верхушка украшалась кисточкой. Его длинные концы перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на спине. Так закутанные, мы едва могли двигаться и поневоле шагали медленно, торжественно; утром — большей частью по ослепительной от снега и белых домов безлюдной Малой Никитской. На вечерней прогулке мы шли на запад мимо нашего сада по Большой Никитской до Кудринской площади. Нормальным шагом это расстояние можно пройти самое большее за семь минут, но нам требовалось для этого бесконечно много времени. Я думала, что все на этой улице, вместе с церковью, принадлежит нам. Все дворники и кучера, сидевшие у ворот, здоровались с нами почтительно, даже городской, стоявший на углу, который в своем форменном мундире и с четырехугольной бородой выглядел почти как царь Александр III. В конце улицы помещалось красильное заведение Бавастро, на вывеске был изображен великолепный каскад лент всех цветов.

Дальше этого угла мы никогда не ходили. Здесь была граница нашего мира. На другой стороне площади, через Садовую улицу, за большими оранжевыми зданиями Вдовьего Дома и Кадетского корпуса, между черными стволами старых лип в парке Вдовьего Дома было видно золотое и красное закатное небо. Эти краски пробуждали в моей душе чувства, не выразимые словами. Это было «по ту сторону» — там простирались пылающие поля закатного неба.

Возвращаясь в сумерках домой, я заглядывала в окна подвального этажа обычно столь недоступного дома доктора Сергеевского. Там в большой, освещенной керосиновыми лампами кухне, в дыму, белые повара орудовали медными кастрюлями.

С ТЕРЕНТИЕМ ПО МОСКВЕ

До дома Авенариусов надо было ехать через весь город. От нашей патриархально аристократической Пречистенки, мимо храма Христа Спасителя и нескольких старых, ценных в архитектурном отношении особняков выезжаем к великолепному зданию Румянцевского музея, этой святыне, сияющей на поросшем кустами холме подобно Акрополю. Я называю его святыней, имея в виду не только удивительную гармоничность архитектурных форм, но и то, что это здание в себе хранило и духовно излучало. Ибо здесь находилась богатейшая, с любовью собираемая и с любовью хранимая государственная библиотека. В большом читальном зале с двумя рядами окон я испытывала всегда чувство благоговения, как бы священнодействия. Позднее в вестибюле висел портрет умершего сотрудника Музея Николая Федоровича Федорова. На своей скромной должности библиотекаря он, благодаря своим обширным и разнообразным познаниям, бесконечно много сделал для обогащения этого книжного сокровища. Заметив в читальном зале серьезно работающего посетителя, он подходил к нему и всячески старался помочь. Он подыскивал ему нужные книги, вводил в курс своих занятий и постепенно становился

его духовным советчиком. Заметив, что его подопечный нуждается, — а много студентов тогда в России жили впроголодь, — он помогал ему из своего небольшого заработка. Он написал книгу «Общее дело». Основная его идея в том, что все мысли людей, стремящихся к познанию истины, дополняя друг друга, создают мистическое тело Христово, строят невидимую Церковь. Он был душой этого дома. Однажды в Библиотеку пришел Толстой (это было позднее, в дни моей юности, когда Толстой был уже очень стар). Позвали Николая Федоровича, потому что он лучше всех мог дать нужные сведения. Осмотрев библиотеку, Толстой сказал: «Все-таки это только бесполезный хлам». Федоров, оскорбленный в своих священных убеждениях, воскликнул: «Старый дурак!» — и вышел из зала. Толстой, сожалея, что обидел человека, пошел к нему на квартиру просить прощения, но так и не был им принят.

В красивых солнечных залах Музея, кроме этнографических коллекций, хранилось небольшое, но ценнейшее собрание картин старых русских художников. Грандиозная картина Александра Иванова «Явление Христа народу» занимала целую стену первого зала. Я приветствовала это любимое задание снаружи, проезжая в коляске; но я приветствую его также и теперь: духовно, ибо и по сей день его свет озаряет мою жизнь. И если бы даже бомба уничтожила это здание, архитектуру которого можно, следуя Платону, назвать геометризированным божеством, осталось бы в целости духовное здание, субстанция которого соткана светлой волей и вечными идеями множества людей. Никакие силы не могут разрушить то, что раз возникло из самоотверженной любви. Оно войдет в вечную субстанцию духовного строительства нашей Земли.

Но едем дальше, мимо здания государственного Архива, просвечивающего сквозь деревья окружающего его сада. Белое, выстроенное в готическом стиле, оно в России выглядит невероятно романтично. Справа появляется «златоглавый Кремль», а слева нас сопровождает ряд старых и новых оранжевых зданий Университета. Во дворе — памятник основателю Университета — поэту и

ученому Михаилу Ломоносову, крестьянскому сыну, пешком и без гроша в кармане пришедшему некогда с берегов Белого моря в столицу учиться, а впоследствии не только основавшему Университет в Москве, Академию Художеств в Петербурге и ряд других научных учреждений, но и написавшему первую грамматику русского языка. Проезжая мимо этих зданий, невольно вспоминаешь выдающихся людей, здесь учившихся и учивших. В большинстве это были борцы за свободу духа в эпоху страха и всеобщего застоя. Во времена моей юности здесь читали лекции историк Ключевский, геолог Вернадский получивший теперь мировую известность, философ Владимир Соловьев.

В Университете учились и бедняки, зарабатывающие пропитание уроками и не каждый день позволявшие себе роскошь съесть горячий обед. Университет был душой Москвы, а учащаяся молодежь — ее совестью. Для моего времени характерно противоречие между идеалистичными социальными стремлениями молодежи, которые она вносила в университетскую жизнь и которые жили в их сердцах как действенная сила, и теми идеями, которые они получили от материалистических наук и социальных учений. Эта молодежь должна была мучительно искать и пролагать свой путь между мертвящими реакционными тенденциями царского самодержавия и служащей ему православной церкви и столь же мертвящими материалистическими тенденциями либералов.

По другую сторону улицы напротив Университета тянулось необычайно длинное здание — Манеж, предназначенный для верховой езды и для народных гуляний. В этот Манеж полиция и казаки загоняли студентов — участников нелегальных собраний (всякие собрания были запрещены). Их там держали под стражей, а затем расстреляли по тюрьмам. Очень удобно, что Манеж находился рядом с Университетом, — символ российской действительности!

Едем дальше, по длинной прямоугольной площади, так называемому Охотному Ряду, где в маленьких лавочках продавали мясо, дичь, рыбу, овощи. Владельцы этих

лавочек, богатые и совершенно необразованные люди, составляли партию сторонников царского самодержавия — так называемую «черную сотню». Эти «истинно русские люди», как они себя называли, инстинктивно чувствовали, что душе русского народа угрожает опасность от политического масонства, материалистической науки и западных социальных учений. Но в своем темном сознании они не находили иных способов борьбы, кроме ненависти и преследования интеллигенции, еврейских погромов и фанатического утверждения политизированной православной церкви. Я и теперь еще вижу перед собой этих могучих людей — толстые животы, дремучие бороды, потные красные лица; во время крестного хода они несут тяжелейшие блистающие хоругви, шатаясь под их многопудовой тяжестью. В Охотном Ряду стояла небольшая церковка, и я помню жуткое чувство, охватившее меня, когда я как-то поздно вечером ехала из театра домой и видела этих людей, собравшихся у церкви для ночного молебна. Это означало политическую демонстрацию. И в те же дни где-нибудь в провинции разражался погром.

В конце Охотного Ряда на углу Большой Дмитровки стояло красивое здание Благородного Собрания в стиле ампир. Там же давались и симфонические концерты. Я не знаю концертного зала красивее этого белого Колонного зала Московского Благородного Собрания. Особенно памятно мне настроение утренних генеральных репетиций, когда слабый дневной свет, проникающий через окна на хорах, вместе со светом свечей, горевших в люстре, казался совсем голубым. Белизна залы и колонн в этом двойном свете мерцала таинственно. Эта белизна в двойном освещении — всюду, где она мне встречалась, — на снегу или в цветущих белых азиях — давала мне чувство присутствия духовных существ. Не называются ли ангелы «Духами Сумерек?» Не раз в этом зале я слушала концерты дирижера Артура Никиша. Я любила генеральные репетиции больше самих концертов, куда люди приходят не только ради музыки, но и для того, чтобы самим блеснуть. И действительно, упоительно было зрелище знаменитых

московских красавиц, занимавших первые ряды в сопровождении своих тяжеловесных мужей и роя поклонников. Эти красавицы, действительно, выглядели сказочно в своих бриллиантовых и жемчужных уборах. А пока господа наслаждались музыкой, внизу в вестибюле ждали слуги, охранявшие драгоценные меховые шубы, запряганные в полотняные мешки, на которых они нередко и засыпали. Кучера же, терпя зимнюю стужу, плясали, хлопая в ладони, вокруг огромных костров, горевших по углам обширной Театральной площади.

Справа, между двумя краснокирпичными зданиями в русском стиле — Историческим Музеем и Городской Думой, — находилась маленькая часовня чудотворной иконы Иверской Божьей Матери; здесь весь день толпились богомольцы. По ночам же святую икону возили из дома в дом в закрытой карете, запряженной четверкой лошадей, в сопровождении священнослужителей. Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на козлах сидели без шапок и в сильный мороз обвязывали головы платками. Моя бабушка тоже раз в год принимала у себя святую икону ночью.

Далее наш путь ведет через Театральную площадь с импозантным зданием Большого оперного театра и Малым театром, где давались классические пьесы. Здесь проходит так называемая «Китайская стена» и начинается собственно настоящий пестро оживленный деловой квартал Москвы. Здесь же помещались и знаменитые Сандуновские бани, по пышности убранства и по величине превосходящие римские бани Карякаллы. В громадном мраморном зале, в клубах пара, видны голые фигуры, усердно растирающие себя сами или с помощью банщиц, на которых тоже нет ничего, кроме маленьких фартучков. В русских народных банях люди хлещутся березовыми вениками; их заготавливают летом, а под действием горячего пара сухие листочки разбухают. Моя мать находила, что дома в ванне невозможно вымыться так, как в бане, и требовала, чтобы мы туда ездили; для меня это было мукой. Я не знала, до сих пор, что человеческое тело может быть таким безобразным — тощие и толстые ведьмы! Эту картину действительно

можно сравнить с картиной ада. Приходит ли для нас после смерти время, когда человеческие души предстают друг другу без покровов? Тогда лишь узнаем мы самих себя во всем своем безобразии, чтобы с этого потрясения перейти к просветлению. В российской жизни нередко попадаются картины, как будто вынутые из будущего. И не видим ли мы в романах Достоевского такие сферы души, где люди предстают друг другу обнаженными? Но едем дальше, через толкучку и хаос собственно торгового центра города. Древняя «Китайская стена», маленькие часовенки, небоскребы американского стиля, внушительные ампирные дома, изуродованные деловыми вывесками и объявлениями, — все это, сливаясь, образует удивительный пестрый мир. Летом здесь царит неопиcуемый грохот окованных железом колес по булыжной мостовой, путаница телег и экипажей, в которых, благодаря никак не регулируемому движению, постоянно происходили столкновения и раздавалась неимоверная ругань; бесконечные вереницы «ломовиков» — грузовых телег, запряженных огромными бытjюгами, сопровождаемые дико орущими скифами, простые извозчицьи пролетки с мохнатыми лошадками, крестьянские телеги, легкие элегантные господские экипажи. И между людьми такие же контрасты: толстые самодовольные купцы, изысканно элегантные господа и оборванный, ожесточенный, униженный народ в нужде. Как часто приходилось видеть на улице безобразные сцены! Пьяница валился на тротуар, полицейский свистел, подзывая извозчика, чтобы отвезти его в участок, а извозчики — все в одинаковых длинных синих кафтанях — нахлестывали своих лошадок, спеша скрыться в переулок, избегая повинности, которую им никто не оплачивал. Вмиг они исчезали с улицы. И часто меня охватывало жуткое чувство, что весь этот сумасшедший мир несется в бездну.

Больше порядка было на широкой Мясницкой улице, где находились внушительные здания Почтамта и Художественного училища, а напротив — маленькая церковка Флора и Лавра — покровителей лошадей. В день празднования этих святых здесь можно было видеть мно-

жество нарядно убранных лошадей, приведенных для освящения. Около этой церковки была чайная, где по утрам в воскресенье собирались крестьяне и мастеровые различных духовных направлений — члены разнообразных сект, староверы, атеисты, толстовцы и православные — любители поспорить по духовным вопросам. Позднее я вместе с братом посещала эти интересные сборища, пока полиция не запретила их.

Бесконечно длинная улица приводила на площадь у Красных Ворот. У знаменитой в русской истории церкви Трех Святителей наша коляска сворачивала в маленький тупичок, где в саду стояло тихое жилище Авенариусов. Здесь все упорядочено, по-буржуазному уютно: традиционные картины на стенах, коричневый кофейник на столе — душа чувствовала себя защищенной от хаоса. Скажу заранее, что эта домовитость и после революции долго сохраняла свою буржуазную упорядоченность, но позднее и этих милых людей настиг террор.

[Штутгарт, 1940-е годы]
Публикация Г. А. Вомпе





LATERNA MAGICA

— ALMANAC —

Editor in Chief, Vladimir Erokhin

English Summary

Ol'ga Sedakova. *Old Songs.* Deeply religious, spiritual poems in the tradition of Rilke by an author whose work is more widely available abroad than in the Soviet Union. A Candidate of Philology, Sedakova teaches Russian and European Literature at the Herzen Literary Institute.

Vasilii Moksiakov. *A Part of the Soul* (from the trilogy **Russian Nights**). When a graveyard worker hears the muffled voice of someone buried by mistake, he calls his friends over to help dig the poor fellow out. The man has lost his memory, but his soul remains. When it is divided up among the four gravediggers, they all become better people, and even give up drinking. Now a teacher of the History of Theater at a Special School, Moksiakov uses an expressive language reminiscent

of Leskov to examine typical problems of the average Russian man.

George Orwell. *Literature and Totalitarianism*. N. I. Budaeva's translation of Orwell's well-known speech first aired by the BBC on April 30, 1941, and published in *The Listener* later that year.

Sergei Grazhdankin. *Borbikrena (or Dreams of an Old Rat)*. In the allegorical, fantastic dreams of a dying rat, Grazhdankin explores the last journey of the soul, and speculates as to the nature of different strata of existence.

Anna Bernshtein. *Strolls around Town*. Humorous stories about alienation and Soviet reality. In "Wall" and "Oranges" Bernshtein carries the "logic" of certain conditions of Soviet life to the border of the absurd, depicting a surreal, even grotesque Orwellian anti-utopia.

Marianna Vekhova. *Paper Poppies* (excerpts from an autobiography). Vekhova's exactly-crafted, simple prose describes the ruminations on death of a young girl hospitalized with tuberculosis during World War II. But despite the horror of her surroundings she sees only the goodness in the people around her.

Elena Ogneva. *Our Lord's Passion* (with an afterword by Olga Erokhina). A futuristic cycle of poems by the deceased iconographer and art historian, Elena Ogneva, depicts the events of the Passion in an ascetic, sincere poetic fresco.

Venedikt Erofeev. *Vasilii Rozanov Through the Eyes of an Eccentric*. A Soviet man's conversation with a "reactionary" idealist Russian philosopher explores the dimensions of spiritual struggle and the experience of living in a world without moral foundations.

Lilit Kozlova. *A Roman Seminarian and a Fairy Tale Teddybear* (in the poetic footsteps of Marina Tsvetaeva's second book of poetry). A professor of Biology pursuing independent research on Tsvetaeva, Kozlova examines the psycho-analytic aspects of the poet's personal relationships.

Mira Pliushch. *Evacuation*. Nostalgic reminiscences about

the fate of Ukrainian scholars in Central Asia during World War II. Pliushch's clear, simple prose describes how people preserved their dignity and culture in the face of famine and apathy from the general population.

Liia Vladimirova. *Connection of Times*. Two poem cycles by the Russian poet now living in Israel depict a fractured, contradictory world and a longing for culture.

Vladimir Erokhin. *Return to Tambov* (from the novel **Longing for the Fatherland**). A journalist's nostalgic recollections of childhood in provincial Russia. Impressionistic, lyrical fragments yield a sympathetic, at times paradoxical, literary mosaic.

Vera Khalizeva. *Still Lives*. A poetic review of the work of two modern Russian artists. A Candidate of Philology, Khalizeva uses the free rhythmic technique of an old Russian syllabic form ("virshi") to craft fragile verses possessing a quivering hidden energy.

Genrikh Routsii. *Russian Hamlet* (from the book **An Expectant Culture**). An historical essay on the personality and actions of Emperor Paul I. Traditionally considered a madman, Paul is depicted here as the sane victim of intriguers and a difficult historical situation.

Sergei Averintsev. *Translations of German and Latin Poetry*. Distinguished philologue, professor and Corresponding Member of the Academy of Sciences, Averintsev here offers his interpretations of poetry by Rilke, Benn and an anonymous medieval author.

Ol'ga Sedakova. *Heady Look*. Glittering, fine word plays by a poet looking at everyday life and existence.

Archpriest Aleksandr Men'. *A Magical Contemplation of the World* (from the book **Magic and Monotheism**). A priest and theologian's analysis of the thinking of primitive peoples as a stage in humanity's search for God.

Andrei Belyi. *The Selfconscious Soul* (from the book **The History of the Selfconscious Soul**). First publication of a chapter from Belyi's philosophical manuscript written in Moscow, 1923-1929.

Karl Koenig. *The Wanderings of Eels and Salmon* (from the book **Brother Beast**, translated from the German by M. Sluch). A follower of Rudolph Steiner examines the spiritual and creative purpose of the animal kingdom.

Margarita Sabashnikova (Voloshina). *Three chapters from the book The Green Snake* (translated from the German by M. N. Zhemchuzhnikova). First publication in Russian of selections from the reminiscences of poet Maksimillian Voloshin's first wife. Through Sabashnikova's recollections emerges a nostalgic picture of old Russia—glimpses of everyday life in the cultural circles of pre-revolutionary Moscow, the magical passages of the old city, the ringing of church bells...

Amy Nelson
University of Michigan
USA



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ольга Седакова. Старые песни</i>	7
<i>Василий Моксяков. Часть души. (Из книги «Русские ночи»)</i>	29
<i>Джордж Оруэлл. Литература и тоталитаризм. Перевод с английского. Публикация Н. И. Будаевой</i>	53
<i>Сергей Гражданкин. Борбикрена. (Сны старой крысы)</i>	58
<i>Анна Бернштейн. Городские прогулки</i> . . .	73
<i>Марианна Вехова. Бумажные маки. (Отрывок из автобиографической повести)</i>	81
<i>Елена Огнева. Страсти Господни. Публикация и послесловие О. Ерохиной</i>	91
<i>Венедикт Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика</i>	102
<i>Лилит Козлова. Римский семинарист и сказочный медведюшка. (По поэтическим следам второй книги стихов Марины Цветаевой)</i>	121
<i>Мира Плющ. Эвакуация</i>	160
<i>Лия Владимировна. Связь времен</i>	173
<i>Владимир Ерохин. Возвращение в Тамбов. (Из романа «Вождьеленное отечество»)</i>	202
<i>Вера Хализева. Натюрморты</i>	219
<i>Генрих Роутси. Российский Гамлет. (Из книги «Ожидающая культура»)</i>	226
<i>Сергей Аверинцев. Стихотворные переводы с немецкого и латыни</i>	251

<i>Ольга Седакова. Хэдди Лук</i>	261
<i>Протоиерей Александр Мень. Магическое миро- созерцание. (Из книги «Магизм и единобожие»)</i>	267
<i>Андрей Белый. Душа самосознающая. (Из книги «История самосознающей души»). Публикация Г. Ф. Пархоменко</i>	278
<i>Карл Кениг. Странствия угрей и лососей. (Из кни- ги «Брат зверь»). Перевод с немецкого М. Случа. Публикация Е. Д. Арманд</i>	311
<i>Мargarита Сабашникова (Волошина). Из книги «Зеленая змея». Перевод с немецкого М. Н. Жем- чужниковой. Публикация Г. А. Вомпе</i>	333
<i>Аннотация на английском языке</i>	353

LATERNA MAGICA

Литературно-художественный,
историко-культурный альманах

Художник *Е. Р. Соколов*

Художественный редактор *Р. Б. Геризон.*
Технический редактор *А. И. Жагорникова.*
Корректор *И. Б. Лучанская.*

Издано при участии Центра ПРИМ объединения
«Культура-здоровье»

Сдано в набор 26.10.89. Подписано в печать Л 13508 9.01.90.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура тип. таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,9. Усл. кр.-отт. 19,1. Уч.-изд. л. 11,0.
Тираж 50 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 01051.

Издательство «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина
119048, Москва, ул. Усачева, 64.

Ордена Трудового Красного Знамени Московская
типография № 7 "Искра революции"
Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103001, Москва, Трехпрудный пер., 9.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
ИСКУССТВ «ЛАТЕРНА МАГИКА»
О СОЗДАНИИ ОГНЕВСКОГО АВТОРСКОГО
ФОНДА**

Москва

5 апреля 1989 г.

1. Учредить авторский фонд для печатания книг авторов — членов Союза искусств «Латерна Магика» и изданий из культурного наследия.
2. Назвать авторский фонд именем поэта и искусствоведа Елены Александровны ОГНЕВОЙ (1925—1985) — одного из основателей Союза искусств «Латерна Магика».
3. Утвердить Положение об Огневском авторском фонде.
4. Директорами-фаундаторами Огневского фонда назначены:
В. Н. Букреев — директор издательства «Прометей»,
В. П. Ерохин — председатель правления Союза искусств «Латерна Магика»,
А. В. Мень — член редколлегии альманаха «Латерна Магика».

Зам. председателя правления Союза искусств
«Латерна Магика»

М. П. Плющ

Ответственный секретарь правления

Р. Б. Гершзон

